

Dr. Manoj Kola



- [Владимир Фёдорович Топорков](#)

- [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвёртая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)
  - [Глава десятая](#)
  - [Глава одиннадцатая](#)
  - [Глава двенадцатая](#)
  - [Глава тринадцатая](#)
  - [Глава четырнадцатая](#)
  - [Вместо эпилога](#)
-

**Владимир Фёдорович Топорков**

**Засуха**

# Глава первая

Мать умерла через три дня после Пасхи, умерла тихо, как дерево в лесу. А началось со злополучной рыбы, которая вроде бы должна вселить в неё силы, вернуть к жизни.

Ледоход сорок шестого года начался необычно рано, и Андрей Глухов половину дня провёл на речке – разлившейся, ставшей многоводной, будто это не Лулавка, которую летом легко можно перескочить с разбега, а какой-нибудь широченный Воронеж. Летом Лулавку наполняют родники, вода кажется хрустальной, хоть в бутылки разливай – не мутнеет и не теряет своей исключительной вкусоности.

Андрей вырубил в огородных вётвах длинный шест, из старого бредня смастерил снасть. Делается это просто – прямоугольный конец сетки крепится проволокой с четырёх углов к шесту. Кое-где эту снасть называют «пауком», а в Парамзине исстари – намёткой, хотя попроси Андрея объяснить смысл названия – не сможет. Наверное, так же, как не могут объяснить люди название топора или пилы.

Лёнька, семнадцатилетний брат Андрея, которого в такую теплынь трудно загнать в дом, – уже давно на очистившемся от снега выгоне ребятня играла в лапту, и там не умолкали возгласы радости или разочарования, – сегодня ходил за Андреем точно привязанный, так верный пёсик вьётся перед хозяином, работает, что называется, на подхвате.

Намётку они сделали к обеду, и Лёнька полез на чердак, нашёл старые охотничьи сапоги – такие огромные бахилы до паха. Эти сапоги были гордостью покойного отца, он любил лазить в них по осенним болотам за утками и хвастался, что вовсе не промокают.

Теперь сапоги сжались, потрескались, Андрей с трудом натянул их на галифе. В сапогах старший брат вызвал неопиcуемый восторг Лёньки.

– Да ты так всю речку перейдёшь!

Рыбачить начали от Круглого озера, на изгибе реки, где мощный вал воды, ударяясь в крутой берег, образовывал какие-то причудливые воронки, пенился. Андрей запустил намётку, постоял несколько секунд и крикнул Лёньке:

– Помогай!

Вместе они стремительно выхватили снасть, на дне её серебрилась рыбная мелочь. Впрочем, кажется, и что-то крупное попало. Глухов быстро выбросил намётку на берег, и на пожухлой траве затрепетала большая щука.

– Ура! – закричал Лёнька и бросился ловить подпрыгивающую рыбку. Через секунду он уже бежал к Андрею, тащил за розовые оголившиеся жабры огромную щуку. Он скакал вприпрыжку, подплясывал и казался Андрею каким-то индейцем из довоенного кино. Интересно, наверное, также радовались они удаче? У Лёньки сейчас рот не закрывался от блаженной улыбки.

На тёмной голове щуки Андрей рассмотрел пять тёмных пятнышек-углублений (так его учили определять возраст рыбы) и тоже улыбнулся: вишь, какая матёрая попалась!

– Ты вот что, Лёнька, – сказал Глухов, – гони в деревню, передай её щас же матери, пусть уху сварит. Будет у нас сегодня праздник.

– А ты? – спросил Лёнька.

– Буду дальше ловить...

– Эге, да ты хитрец, братка, – глаза задёргались в обиде у Лёньки. – Значит, ты ловить будешь, а я и не увижу. Так не пойдёт. Лучше я буду с собой щуку таскать...

– Ты понимаешь, дурья голова, что испортится рыба?

– Ну хорошо, – проканючил Лёнька, – только давай договоримся – без меня больше ловить

не будешь?

– Ладно, беги... Да не всем показывай, а то сейчас вся деревня сбежится.

– Я под фуфайку спрячу, – блаженно засмеялся Лёнька и рванул в гору, ссутулившись, высоко выбрасывая ноги.

Охотничий восторг вселился и в Андрея, он сплюнул через левое плечо: не сглазить бы удачу, не переторопиться. Он сел на высокую кочку около воды, долго глядел, как в водовороте возникают причудливые бурунчики. Он думал, что, может быть, их сегодняшняя добыча с Лёнькой немного подкрепит мать – что-то сдала она за последнее время, похудела, осунулась, стала раздражительной. А давно ли – мягкий взгляд поблекших глаз будто незримо гладил человека, вселял в него радость и надежду. Как-то не вязалось её сегодняшнее состояние с обычным, повседневным, привычным. Это, скорее всего, от голодухи. У них ещё в марте кончился хлеб, а картошек осталось мешка два вместе с семенной, и мать, наверное, десятки раз за день думала, как прожить дальше, но выхода не видела, мрачнела лицом.

Она сушила на сковороде картофельную шелуху, толкла в ступе, а потом, обвалывая в остатках муки, пекла оладьи – тёмно-коричневые, буракового цвета, отдающие запахом гнили. Андрей ещё мог их есть с молоком, и это, наверное, спасало его. У матери же была повышенная кислотность, она не переносила молока, а оладьи ела с большим трудом, будто с силой проталкивала в горло.

Врачи ещё до войны находили у матери гастрит, какое-то сужение пищевода, но в трудное время она словно забыла про свои болячки, упрятала их в потайной сундук. Андрей иногда задумывался: почему он, часто страдавший до армии от простудных заболеваний, – ему достаточно было постоять мгновение на сквозняке, и температура подскакивала до тридцати девяти, – на фронте ни разу не болел, словно заговорённый. А может быть, правду говорят, что в экстремальных условиях человек сжимается, как пружина, мобилизует все свои природные качества, в кулак собирает и не поддаётся хворобе?

Вот и мать, наверное, все эти годы словно невидимым поршнем выталкивала из себя хворь и горести. А сейчас расклеилась. Ослабла та пружина – болячки впиваются в ослабевшее тело, как клещ. Но ничего, надо немного потерпеть, а там скоро зелень появится, вырастет свёкла на огороде, пойдёт картошка, станет легче!

С горы катился Лёнька, скользя по невысохшему косогору, как на лыжах, летел, радостный, сверкающий.

– Ну, как мать? – спросил Андрей.

– Обрадовалась, – ответил, задыхаясь, Лёнька – чистить принялась. Сказала, что к вечеру ухи наварит.

От предвкушения вкусной, дымящейся ухи у Андрея засосало в желудке, побежала слюна. И когда он поднялся, почувствовал, как тугим звоном наполнилась голова, закружилась, как от хмельной чарки.

– Ну что, пошли дальше, Лёнька? – спросил он, справившись с собой.

– Пойдём...

По-прежнему бурлила на перекате крупными волнами вода, прибывала к берегу ольховые пенки, старый поломанный камыш, корни водорослей. В стремительном потоке искрилось солнце. Отдых и удача прибавили силы Андрею, добавили восторга Лёньке, и они бросали наметку в воду почти беспрестанно. Но удача словно подразнила и отвернулась от них. Даже мелочь не всегда попадалась. У Андрея уже заныла раненая нога, начало сводить лопатки, да и Лёнька растратил пыл, предлагал:

– Может, братка, место сменим?

– Не торопись, Лёня, – Андрей отвечал сосредоточенно, не отводя взгляда от реки.

Словно за терпенье наградила их удача: сначала вытащили широкого, округлого, похожего на сковороду леща, потом щуку – пожалуй, побольше первой, с позеленевшей головой. Снова ликовал Лёнька, обнажая крупные зубы в улыбке.

– Ай да Андрюха, ай да молодец! – восхищался Лёнька, и на глазах у него выступали слёзы радости. – Что теперь делать-то будем, с рыбой-то? – Андрей засмеялся про себя – всё-таки интересный человек его младший брат, добрый и бесхитростный.

Была бы удача, а распорядиться как – уж они решат. День уже свернул к вечеру – от Загородского сада легли на пойму длинные тени деревьев, и воды в речке, кажется, прибавилось. На противоположном бугре затеплились, забагровели окна домов. Андрей ещё несколько раз бросал намётку в воду, но счастье снова отвернулось.

Надо было уходить, кажется, и так получилось неплохо, и он предложил Лёньке тащить улов, а сам в последний раз запустил намётку и резво, так что дугой выгнуло шест, выхватил её. И снова удача – щука килограмма на два билась на сверкающей от воды сетке!

– Ты счастливый, Андрюха, – искренне позавидовал ему Лёнька.

– Топай, топай давай, – подтолкнул брата Андрей, а сам начал закатывать сапоги. Видимо, от долгого лежания испортилась резина, в правом хлюпала вода, но в пылу рыбалки Андрей этого не заметил, а сейчас чувствовал, как неприятный холод сводит пальцы. Он стащил сапог, вылил воду, отжал шерстяные носки. Лёнька отдал ему свои портянки – ноги от сухой тёплой байки блаженно заныли.

Они шли по деревенской улице, прозванной Криушей, и Лёнька подмигнул Андрею:

– Слышь, братка, может, загоним одну щуку деду Кузьме?

В доме Кузьмы светились окна, видимо, уже зажжена лампа, и Андрей представил, как дед сейчас засуетится, полезет в ларь, извлечёт бутылку самогона. Конечно, не мешало бы выпить, согреться до конца, предостеречь простуду, но старший брат махнул рукой – рыба эта как находка для их скудного стола, и как знать, может быть, мать окрепнет, вернутся к ней силы и бодрость.

Дома они почистили рыбу, протёрли бока суперфосфатом – соли в деревне не было. Лёнька опустил улов в подвал. Мать разлила по алюминиевым мискам дымящуюся уху, в которой большими кусками плавала щука, и Андрея даже подташнивать начало от запаха хлеба – отвык за много лет.

Лёнька тоже орудовал ложкой, у него выступил пот на переносье от усердия. Только мать ела вяло, ей словно не лезла еда в горло. И, заметив это, Андрей спросил:

– А ты чего, мама?

– Да неохота что-то...

– Ну ты даёшь! – засмеялся Лёнька. – Не еда, а объеденье, у кого рот большой, а ты губы жмёшь...

– Нездоровится мне что-то, ребята, – тихо проговорила мать. Первый раз услышал такие слова Андрей и испугался. Мать ему казалась закалённой бедами и невзгодами, умеющей справляться с любой бедой. Мужа и среднего сына отобрала и не вернула ей война, но мать и в пору беды не теряла присутствия духа, не впадала в покорность, – словно кончиками пальцев держалась над пропастью, стала вроде выше и прямее.

– Что у тебя, мама? – спросил Андрей.

– Да так, – мать смущённо махнула рукой, – живот разболелся. Как у тебя недавно...

Неделю назад он единственным патроном сразил красавца-селезня с ядовито-зелёной головой. Патрон у Андрея заваялся ещё от зимы, когда ходил по зайцам, с крупной дробью-нулёвкой, самодельно накатанной из свинцовой пластины. Теперь не осталось ни капсюлей, ни пороха, ни дробы. Чтоб найти эти охотничьи припасы, надо ехать в город, потолкаться на

базаре, а кто тебя отпустит в горячую весеннюю пору?

Но дело не только в этом. Наверное, с голодухи тот наваристый кондёр из жирного селезня оказался хуже отравы, и даже Андрей, желудок которого, как ему казалось, мог перетереть гвозди, не выдержал, и он два дня не сходил со двора. Андрею было страшно стыдно вырываться по-угорелому из дома, стремительно бежать за сараи, поддерживая штаны.

Мать сходила в низы огородов, где уже начинала распускаться черёмуха, надрала коричневой с белыми пупырышками коры, оттопила её и давала по полстакана Андрею. От этой горьковато-противной жидкости бурчало в животе, словно там раскатывались на трескучей колеснице, но резь стихала, и через два дня Андрей почувствовал, что, наконец, здоровье восстановилось, можно было идти на работу.

– Так чего же ты молчишь, – спросил он сейчас у матери, – может быть, в больницу надо?

– А что больница даст?

– Ну как что – там врачи, фельдшера...

– Ничего, Андрюша, вот ушицы съем – и отпустит. Уха – она вещь полезная, так дед Фёдор говорил.

Мать говорила, как читала заклинание, и у Андрея крепла вера в её слова. Не может судьба быть такой безжалостной к их семье, такой жестокой и несправедливой...

Но наутро мать не поднялась, не встала и через два дня, и Андрей, выпросив лошадь у председателя Степана Кузьмича Бабкина, поехал в Ивановку за фельдшером. До Ивановки было недалеко, пять километров, но дорога основательно разбилась ещё осенью, сейчас же и вовсе залита водой, а в некоторых лужах ещё не растаял лёд, и тележка гремела, как орудийный лафет.

Фельдшера Наташу Андрей дома не застал – ушла пешком в райцентр. И оборвалось сердце в груди, стало жарко внутри.

Он вернулся домой к двенадцати, не отпрягая лошадь, заскочил в комнату. В мыслях была дума: сейчас посажу мать и повезу в Коробовку, в единственную больницу в округе.

Мать лежала на кровати с закрытыми глазами. В лице её, запрокинутом, морщинистом, жило какое-то умиротворение, и Андрей обрадовался: может быть, полегчало за это время, исчезла боль, и мать просто уснула, сломленная болезнью. У него у самого так было на фронте – сначала, как ожог, болит рана, а потом боль опускается вглубь, будто ввинчивается в тело, и там в глубине рождается ощущение тяжести, но жить становится легче.

Он подошёл к кровати, позвал тихо, стараясь не разбудить: если услышит, значит, не спит, просто от усталости прикрыла глаза. Мать зашевелилась, и Андрей понял: нет, не сон, а видать, боль заставила закрыть глаза. Теперь уже в полный голос Андрей сказал:

– Надо в Коробовку ехать, мама...

– Зачем?

– Там больница... врачи. Пусть тебя полечат...

Мать ответила не сразу, подняла безвольную руку, и тут же та скользнула по подушке.

– Ты... Лёньку... не обижай...

Понял Андрей, что слова эти как крик опасности, как завещание. Он присел на край кровати, опять громко сказал:

– В Коробовку, мама, собирайся...

Мать вздрогнула, словно её толкнул какой-то внутренний страх, опять махнула вялой рукой.

– Не трогай меня... Андрюша... Я тут умру...

Она попыталась ещё что-то сказать или улыбнуться, но губы будто стянуло тугим швом. Андрей попытался поднять мать, но тело её превратилось в тяжёлый камень, и руки, ноги ощутимо коченели, не гнулись. Земля под ним пьяно раскачивалась, и Андрей снова опустил

мать на кровать, попросил взволнованным голосом:

– Мама, не умирай! Мама, не умирай!

Он выскочил на улицу, истошным криком начал звать Лёньку или ещё кого-нибудь, кто откликнется, поможет ему уложить мать на тележку. Ему казалось, сделай он это сейчас, и мать будет жить долго-долго и не будет таким угольно-чёрным небо над ним...

Но улица словно вымерла, и он опять вбежал в дом. На лице матери как будто шевельнулись морщины, значит, ещё жива, борется со смертью, не желает сдаваться. Эх, сколько насмотрелся Андрей на смерть там, на фронте, под разрывы мин, автоматную трескотню, глухую канонаду, но тогда это воспринималось как что-то далёкое, потустороннее, жила надежда, что его обойдёт смерть, надо только вжаться, вдавить тело в землю.

Тяжёлый стон сорвался с посиневших губ матери, и Андрей вздрогнул всем телом – страшное открытие сделал он для себя. Наверное, со стоном этим выпорхнула, как испуганная птица, материнская душа, свет исчез в закрывшихся глазах. Он прижал свою голову к груди матери, притаил дыхание, но не услышал сердца. Тишина, раздирающая душу, сердце на куски, наполняла дом, ощутимой темнотой окутывала углы.

Вбежал Лёнька, о чём-то спрашивал Андрея, – звуки словно глушились, до него не доходили. Только гнетущая тишина давила и давила на уши. Лёнька упал у ног матери, крутил своей кучерявой головой, в которой, кажется, на глазах появились седые прожилки.

Через два дня, когда хоронили мать, Андрей стоял у гроба и думал, что это он виноват в смерти любимого человека. Он не сумел её защитить, хоть умел защищать родину, не терял присутствия духа даже в самые трудные минуты боя, когда даже небо кажется в рукавичку. До звона в висках сдавив руки, он глядел на посеревшее, с синими нитями сосудов лицо матери и качался, качался, как маятник, проклиная себя и судьбу...

\* \* \*

Степь плыла в голубой дымке, прохваченная весенним солнцем. Причудливые, гигантские, похожие на сказочных Гулливеров силуэты деревьев вдоль края болота истаивали в искристых лучах. В вышине, кажется, у самых облаков, трепыхались жаворонки, их пение несло спокойствие и тишину. От вспаханной земли поднимался редкий пар, медленно таял в высоте, оставляя приятный запах созревшей, разомлевшей, как творог, почвы.

Андрей пахал босиком, и ноги ощущали хранящую холодок землю. Ему казалось, что кто-то покалывал пятки мелкими приятными иголочками, словно щекотал их, делал шаг скользящим, как на коньках.

Поле лежало вокруг большого камышового болота, залитого сейчас водой, сверкающей под солнцем. Над болотом с тугим звуком, похожим на протяжный звон, носились утки-матерки, стремительные, как стрижи. Видимо, они нисколько не боялись человека и этих двух круторогих существ, что волокли плуг по полю, привыкли к поскрипыванию колёс, зычному голосу погонщика.

Иногда Андрей, отцепив от вальков плуг, гнал быков к берегу болота, и они припадали к искрящейся воде, шумно пили. Этого времени Андрею хватало, чтобы блаженно вытянуть ноги, посидеть на тёплой, только что пробившейся, мягкой, как пух, траве, окаймляющей болото. Напившись, быки набрасывались на траву, и в это время тоже можно блаженно отдохнуть. Уж такие настёрные существа эти быки, что их хоть заклинай крестом, хоть звездой, но они после водопоя не сделают и шагу, чтобы не набить свою утробу сочной травой.

Андрей лежал на берегу, смотрел, как резвятся утки, и горевал, что нет ружья.



А с другой стороны, кому из живущих на земле не дорога жизнь? И какой бы она трудной ни была, какие бы тяжести ни наваливала на плечи, как бы ни сжимала, ни спрессовывала горем и невзгодами, человек всё равно живёт надеждой, каждое утро просыпаясь с верой в благополучие и удачу. Даже на фронте, где смерть стерегла каждую секунду, где один крошечный, как букашка, случайный осколок мог распластать безжизненное тело на стылой земле – даже там постоянно шла борьба в душе: не может быть, чтобы меня...

Андрей попал на фронт в июле сорок второго, пожалуй, в самую отчаянную годину, когда, прорвав фронт в районе Харькова, немцы лавиной теснили и теснили разгромленные, плохо вооружённые части. Задыхаясь в суховейных бурях, в едком песке, который, кажется, проникал даже во внутренности, они, солдаты-новобранцы, плелись, как спутанные, по голой выжженной придонской степи, качались и падали от страха и голода, но всё равно дышали одним: жить и бороться. Наконец добрались до линии обороны, подготовленной под Сталинградом, словно втиснулись в землю, скрылись в свежевыкопанных окопах. И равнодушие, глухое к чужой боли, отступило. Они вновь пропитались интересом к жизни, и не только к собственной, но всех, с кем стояли рядом. И не пафос был в этом, не предначертание судьбы, говоря высоким слогом, а простые человеческие понятия – товарищество, людское сострадание, дружба.

Почему сейчас Андрей вспомнил об этом? Наверное, потому, что в жизни всё цепляется друг за друга, её не разорвёшь на плохое и хорошее. Вот вспомнил сейчас про охоту, убитую утку, а в сознание обжигающей волной вошла война, грохот, стрельба, страх, да-да, обычный человеческий страх за жизнь. Стало сыро и неуютно на душе, как бывает в ноябрьский дождь.

Быки мирно паслись рядом с водой на зазеленевшей полянке, и Андрей подумал, что не мешало бы подкрепиться и ему, вон и солнце прямо над головой. Значит, полдень. Он дошёл до пахоты, туда, где ещё на первом круге сбросил сапоги и шинель, из кармана вытащил небольшой свёрток. В светлую тряпицу были завернуты две картофелины в мундире, щепотка соли и кусок чёрствой пышки.

Он развернул тряпицу, выложил картофелины и грустно улыбнулся: щадит его Лёнька, жалеет, как маленького, от себя отрывает, а припасает ему... А может быть, потому, что Андрей – единственный теперь, после смерти матери, кормилец в доме? Он поморщился болезненно, криво усмехнулся – опять полезли в голову тягостные думы... Но куда от этого денешься? Это теперь будет сопровождать всю его жизнь.

Коварно и зло распоряжается иногда судьба людьми. В семье Андрея Глухова до войны было всё в порядке, ладилось и клеилось, как в отлаженном часовом механизме. И жизнь неторопливо отсчитывала время для отца, первого колхозного тракториста, и для матери, тихой, не по возрасту моложавой, и для братьев Мишки и Леонида. Братья были моложе Андрея, беспрекословно слушались старшего, был он для них бог, царь и воинский начальник. Даже в праздники, когда родители отпускали их на гулянье в Загородский сад (так заросший дичками сад называли в честь бывшего помещика, поляка Загородского, прижившегося на русской земле), слово и замечание старшего брата для них было законом.

Вспомнил сейчас о Загородском саде Андрей, и словно кровью облилось сердце. Какое счастливое и прекрасное время! На Троицу, самый радостный и длинный летний праздник (день-то часов шестнадцать-семнадцать длится), собирались люди со всех окрестных деревень – Тужиловки, Закустовки, Веселовки, Архисвятки, Богохранимого. И уж, конечно, непременно из Верхней Лукавки – форсистые ребята в хромовых, гармошкой сапогах, красных атласных рубашках, в фуражках-шестиклинках.

У обитателей каждой деревни есть своя манера поведения, свой характер. У лукавских характер был задиристый, колючий, и нередко только из-за них вспыхивали драки, в которых не щадили лбов под курчавыми чубами и атласных рубашек. Одну такую стычку перед войной

особенно запомнил Андрей.

На Троицу, в конце мая, когда всё благоухало от сирени и жасмина, распустившегося рядом с развалинами помещичьего дома, лукавский Алёша Курков, парень вихлявый, тонкий и прямой, как свеча, бесцеремонно подошёл к веселовскому Витьке Долгову, положил руки на рояльную гармонь:

– Ты бы струмент зря не мучил! Не можешь – не берись...

Конечно, в какой-то степени Алексей был прав – гармонист из Долгова никудышный, чаще всего у него получалось то, что остряки называли пляской «гони кур со двора». Но, с другой стороны, Витьку любили за мягкий, покладистый характер, хотя был он словно налит необычайной силой. Сегодня наверняка Алёшку пустили лукавские на разведку, и если сдержится Витька, не бросится в драку – можно быть уверенным: авторитет лукавских непоколебим, и они смогут диктовать свою волю.

Витька же сдвинул мехи гармошки, скинул ремень с плеча и начал оттирать Куркова от толпы. Вся гулянка притихла, только одна из лукавских девок испуганно взвизгнула, но примолкла под косыми взглядами подруг. Курков пятился назад, подмаргивал своим союзникам, а те шли вслед за Витькой, готовые броситься на него. Надо было проучить лукавских, и Андрей тоже двинулся вслед вместе с другими ребятами.

Первыми не выдержали нервы у Куркова, и он прыгнул, ударив Витьку кулаком в голову. Тот крикнул, глаза его стали фиолетовыми:

– Ну, берегись! – и ударил левой рукой в грудь Куркова. Курков не предугадал момент, оторвался от земли, повалился вверх тормашками в кустарник. Витька был левша, об этом наверняка знал и Курков, да вот не сориентировался, пропустил удар. Толпа лукавских бросилась на Витьку. У Андрея словно сердце переключилось на повышенные обороты, погнало быстрее кровь, и он врезался в толпу, начал неистово работать кулаками. Наверное, то же самое делали и другие парни – возбуждённая толпа лукавских словно растворилась в ореховых зарослях, рассыпалась как горох.

Вместе с девчатами Андрей поднял Витьку. Его кремовая атласная рубашка была в грязи, в кровавых пятнах. Кровь капала из разбитого носа, и Андрей приказал девкам:

– Платочком зажмите!

Тогда с Витькой и в самом деле всё обошлось благополучно. Но стал он нервный, вспыльчивый, горячий – казалось, плесни водой, зашипит как металл в кузнице.

Живот был у Витьки ободран, из царапины сочилась сукровица. Вот тогда первый раз появилась противная тошнота у Андрея от вида крови; это и на фронте, – когда с кровью, человеческими страданиями, приходилось сталкиваться каждый день и час, – не исчезло, хоть и говорят, что страдания – преходящее, и даже где-то он прочитал, что импульс к выработке стойкого иммунитета. Учёным, может быть, так и кажется, а ему, деревенскому человеку, это было видеть страшно и нестерпимо больно.

...Андрей усмехнулся – надо было кончать воспоминания, приниматься за пахоту. Вон она, степь, лежит нетронутая плугом, подёрнутая сизым, как голубиное крыло, пырьём. Запустили за годы войны поля, а пырей этот, как саранча заполонил всё вокруг. Эх, сколько вреда он наносит, гад ползучий, впитывает в себя соки земли!

Жгучий удар по плечу подбросил Андрея, и он, зажмурившись от боли, вскочил на ноги, вцепился в плечо, словно туда чмокнул случайный осколок. Андрей открыл глаза – перед ним стоял с ремённой плёткой в руке председатель Бабкин, угрюмый, в недобром взоре полыхали зарницы.

– Ты что, с ума сошёл? – крикнул опешивший Глухов.

– А ты что делаешь, изверг полосатый? Быки твои где? Крик этот заставил Андрея посмотреть на луговину вокруг болота, куда пустил он быков, но ничего не увидел. Он повернул голову, посмотрел на соседнее поле зеленеющих озимых и оцепенел – его быки спокойно паслись на посевах. Андрея словно ещё раз огрели плёткой, наверное, он побагровел от боли, от злости на самого себя, что увлёкся, погрузился, как в сон, в воспоминания.

Машинально подтянул брюки и прыжками побежал к быкам. «Ну всё, – рассуждал он про себя, – теперь его Бабкин с земли сживёт, как пить дать, а ещё хуже – сделает посмешищем всей деревни».

Он настиг быков, с трудом, повиснув на ярме, развернул, потащил к плугу. Бабкин дожидался, пока Андрей впряжёт их в плуг, а сам, щёлкая ремённой плёткой по яловым сапогам, извергал ругательства.

И Глухов не выдержал, в едином прыжке подскочил к Бабкину, рванул плётку из рук. Но Бабкин словно готовился к этому прыжку, потянул плётку на себя с полной силой, и Андрей от этого рывка оказался на земле. Теперь он ждал нового удара, торопливо поднимаясь, но Бабкин только ехидно улыбался, говорил сквозь зубы:

– А ты слабак, Глухов! Выходит, мало каши ел... Другой раз кинешься – заporю, как бездомную собаку.

Голос у Бабкина скрипучий, нудный, сейчас будто ощутимо царапал душу. Наверное, в положении Глухова надо промолчать, проглотить эту пилюлю, смиренно отнестись к случившемуся, но ему словно вовнутрь плеснули бензина, и он вспыхнул, оплавился этим огнём.

– Не прощу я тебе этот случай, Бабкин, просить будешь – не прощу.

– Да ты, видать, и не понял ничего, – голос Бабкина сделался громким до звона в ушах. – Грозить мне вздумал? Да я тебя в пыль сотру... Вечером попробуем на правлении разобраться...

Немного остынув, Андрей подумал: «А что? И вправду в пыль сотрёт! А главное – с кем Лёнька останется?» Нет, в его положении лучше не рыпаться.

Бабкин уходил прямо по пахоте, проваливаясь в рыхлую поспевшую почву, шёл не оглядываясь.

Андрей поставил быков в борозду, дёрнул вожжами, и плуг снова с хрустом вгрызся в залежь. Перевернутый пласт цвета грачиного крыла замелькал перед глазами, опять пахнуло в лицо неповторимым запахом свежей пахоты. И сразу на задний план отступила злоба на Бабкина, словно растворилась в этом особенном, неповторимом запахе пашни.

Эх, сколько мечталось на фронте об этой вот мирной работе, когда запахи не пожарищ, войны, а весенней прели, парной почвы, свежего степного ветра будоражат кровь и тело!

## Глава вторая

В контору Андрея вызвали к вечеру, когда он вернулся с поля. Размещалась она в брошенном доме на молоканском хуторе и идти туда – с добрый километр наберётся. Сейчас на хуторе только и остался этот дом да скотный двор, а в начале двадцатых годов здесь были и паровая мельница, и несколько домов из красного кирпича, и просорушка, и конная молотилка под крышей, и много других построек.

Молокане жили основательно, зажиточно, чем, наверное, вызывали зависть не только у сельчан, но и у властей. Они не пили вина, не ходили в церковь. Жили тихо и работяще. Андрей помнил, как росли на косогоре, круто сбегаящем к реке, огромные, похожие на зелёные шары, арбузы, восковые дыни, до первых сентябрьских морозов розовели помидоры. Конечно, всё это богатство давалось молоканам нелегко, надо было притащить из-под горы десятки, а то и сотни ведер воды, чтобы полить рассаду. А сколько труда уходило на борьбу с сорняками? Молоканские огороды, как сладкий нектар пчёл, притягивали к себе проходящих и проезжающих, и если бы не охранялись, наверняка даже от самого щедрого урожая оставались бы рожки да ножки.

Впрочем, молокане не любили торговаться, ломаться из-за гроша, своим односельчанам продавали овощи по божеской цене.

Хутор стоял на дороге в соседнюю деревню, где была семилетняя школа. Когда сверстники Андрея после занятий возвращались домой, их нередко останавливали молоканские женщины, угощали арбузами, наливными помидорами. Одну из них, тётку Парашу, Андрей запомнил на всю жизнь. Была она высокого роста, суховатая, как жердина, лицо испитое, какое-то восковое, было всегда задумчиво. Наверное, она маялась от болезней, тогда Андрей не мог этого понять, страдала от своей немощности, но на её старческом, испещрённом глубокими морщинами лице при виде детей вспыхивали острые лучики.

Тётя Параша выходила к дороге, в большой, похожей на абажур, глиняной миске выносила груши. Плоды рождались на грушах-дичках жёсткие, вяжущие рот, но стоило им полежать неделю-другую в соломе, и они, побуревшие, таяли во рту, как сладкие карамельки. Вот этими грушами или вкусным компотом из сушёных яблок угощала тётя Параша деревенских ребятишек. Выработалось даже негласное правило: в любой молоканский сад можно было залезать, отрясти какую-нибудь яблоню или грушу, но только не к Полуниным (такая фамилия была у тёти Парашы и её сына – длинноногого с клешневатыми руками Ивана Степановича).

В тридцатом, когда пошли в Парамзине почти ежедневные собрания по организации колхоза, молокане затаились, притихли, как воробьи в метельную погоду под соломенной крышей. Но раскулачивание начали именно с них.

Андрей возвращался из школы и стал невольным свидетелем выселения молокан. Несколько розвальней, запряжённых их же рыжемастными битюгами, работающими лошадьми, которыми восхищались крестьяне, были загружены всяческим барахлом, перинами, одеялами, полушубками.

На нескольких санях были установлены окованные железом сундуки, стулья, табуретки, Андрей даже удивлённо подумал про себя: «Неужели и это потащат за тысячи вёрст?»

О переселении в деревне говорили давно, ещё в прошлом году. Молокане успели кое-что продать за бесценок из своего хозяйства, даже мать Андрея купила у них огромный двухведёрный чугунок, в котором варила свёклу для коровы и поросят.

На одной из подвод Андрей заметил своего сверстника, Серёгу Авдонина, в драной шубейке, в подшитых валенках, бледного, взволнованного. Андрей подбежал к нему, спросил

тихо:

– Ты куда, Серёга?

– Нас на Соловки отправляют...

– А где эти Соловки?

Андрей уже не раз слышал слово «Соловки», ему оно казалось страшно далёким краем, где по земле ползает страшные чудовища, способные проглотить добрых людей. Тогда ему стало страшно за Серёгу, он представил, как это чудовище заграбастает в пасть его черноволосого соклассника, и от человека ничего не останется. Ещё ему казалось, что на Соловках нет ничего, кроме стилого фиолетового снега и огромных деревьев, подпирающих небо.

Так уж потом судьба распорядилась, что в саратовском госпитале он неожиданно встретил Серёгу. Есть такая категория людей, которых узнаёшь, как говорят, за сотню вёрст, ни с кем не спутаешь. У Серёги были жгуче-чёрные, с грачиным отливом, волосы, с единственной седой точкой около макушки. Андрей, ковыляя в госпитальном сквере, издали увидел солдата, стоявшего к нему спиной, и не мог ошибиться – только у Серёги такие волосы.

Он окликнул его, и Серёга оглянулся, сверкнул обжигающей черноты глазами. И горло точно ошпарил глоток кипятка – до того неожиданна была эта встреча. Андрей не мог сначала даже слова вымолвить. Он обрадовался Серёге, как можно обрадоваться самому близкому и родному человеку. Хотя после их разлуки прошло много лет, и каких лет!

Тогда они проговорили, наверное, часа три, пока за Андреем не пришла сестра, позвала на перевязку. Они встречались ещё несколько раз, но через неделю Серёга опять ушёл на фронт. Ушёл и затерялся, хотя обещал написать письмо на госпиталь.

Ох, сколько на фронте всяких нелепых случайностей было! Ни на минуту, ни на секунду нельзя было учесть, что произойдёт с твоей жизнью, с друзьями, находящимися вокруг.

Один выстрел, разрыв – и образуется провал, только цепкая память бережёт до поры, до времени облик человека.

Андрею припомнились страшные рассказы Серёги о соловецкой жизни, об этом мрачном, осклизлом, как камень-голыш, острове, щедро политом людской кровушкой, крупным потом, печальными слезами. Серёжкин отец Мирон Васильевич, человек угрюмого взгляда, жёсткий, с колючими глазами, в которых, наверное, охранники всякий раз угадывали неприкрытую озлобленность и грусть, нелепо погиб в первый же год ссылки. Как объяснили охранники, его привалило бревном на нижнем складе, где они грузили лес.

Потом Серёга похоронил мать, которая не перенесла смерти мужа. Только сильных духом людей беда закаляет, делает мужественными и спокойными, а мать у Сергея была человеком мягкой души, полная покорность судьбе жила в ней. Наверное, можно сосчитать людей, которые умирают от болячек, всяких недугов, от нелепой пули на войне. Но сколько гибнет от душевных травм, которое страшнее всяких болезней и недугов берут человека в жёсткие клещи, из которых только один путь – в могилу. Видимо, рассуждал Серёжка, так и произошло с его матерью.

...В конторе колхоза ярко багровели стёкла от вечерней зари, от усталого предзакатного солнца. На деревянном крыльце, переступая с ноги на ногу, стояли деревенские мужики – Илюха Минаев, Василий Андреевич Боровков, Сергей Яковлевич Зуев – «ударная колхозная сила», как любит называть их Бабкин. Мужики курили, сизые полосы дыма тянулись над крыльцом, о чём-то сосредоточенно спорили. Правленцев не было видно, значит, они уже заседали, а эти коротали время за сигаркой в ожидании вызова.

Эх, обмелела деревня на мужиков, проклятая война косой выкосила мужское население, разбросала, как в ветреную погоду кленовые листья. Ещё недавно в деревне было шестьдесят

дворов, и в каждом – мужики молодые и старые, работники и умельцы. Были они разные: добрые и злые, застенчивые и говорливые, весёлые и угрюмые. Без разбора подобрала их война, уравнила и правых, и виноватых, разбросав по белу свету неприметные могилы, затянула травой!

Колхоз до войны славился, недаром имел громкое название «Борец за социализм». Уж кому пришло в голову это название, трудно сказать, а теперь в обезлюдевшей деревне звучало оно, как издёвка над здравым смыслом.

– Не вызывают? – спросил Андрей у Василия Андреевича – самого старшего по возрасту мужика с рыжими, взлохмаченными волосами.

Василий Андреевич кисло улыбнулся, подмигнул:

– Не торопись, ещё своё получишь.

– Было бы за что? – усмехнулся Андрей.

– Ты знаешь, – Боровков хитро прищурился, – случай был у нас в деревне. Касьян Прохоров возвращается домой пьяненький, а баба на пороге ждёт. И не успела слово сказать – Касьян её хрясь по салазкам. «За что?» – спрашивает. Касьян отвечает: «Знал бы за что – убил бы».

Мужики блаженно заулыбались, но Андрей не поддержал этого благодушного настроения, стоял сосредоточенный, сдвинув свои смолистые брови к переносью. Нет, не мог он расплываться сейчас в улыбке, и даже не вызов в правление тому причина. Он хорошо знал биографию Боровкова и не мог спокойно говорить с этим человеком. Нет, напрасно тот сейчас под этакого простачка, добродушного рубаху-парня работает.

Знал Андрей ещё на фронте – ему в подробностях об этом написала мать – как дезертировал Боровков с фронта в сорок втором. Тогда его часть стояла под Воронежем, он и дал дёру. От Воронежа до Парамзина добрая сотня километров наберётся, и Боровков добрался домой на трети сутки, как ночной вор пробрался в дом и девять месяцев скрывался под печкой.

Не мог себе представить Андрей, как этот высокий рыжий детина мог уместиться в тесном подпечье, похожем на склеп, но, видимо, страх так скрутил, сломил этого человека, перегнул пополам, что он целыми днями лежал, будто хорёк в этой дыре, и только по ночам, озираясь, как затравленный зверь, выходил на улицу, наверное, за целый день вбирал в себя свежий воздух.

Выследил Боровкова Мишка, брат Андрея. Мишке было семнадцать, и он гулял последние дни перед отправкой на фронт, словно чувствовал – не доведётся ему больше походить по родной деревне. Была у Мишки любовь – Зинка Ханина, его школьная ровесница, крупная деваха с голубыми округлыми глазами, в которых словно отражалось небо, розовощёкая, брызжущая здоровьем. И было у них любимое место – вал посредине деревни, обсаженный сиренью, в которой находили приют голосистые соловьи.

Наверное, и Боровкова привлекало это место, своего рода деревенская достопримечательность, сотворённая руками односельчан. Когда-то, ещё в начале двадцатых годов, решили они выкопать посреди деревни пруд, и всё лето скрипели подводы, вывозившие грунт. Это был титанический труд, и только закаченным, выдержанным в работе мужикам оказалось такое под силу.

Насыпной вал они обсадили сиренью, которую привезли с барской усадьбы Загородского – махровой, с крупными фиолетовыми гроздьями.

В ту июньскую ночь запах увядающей сирени был особенно душист, словно весь воздух вокруг ночь насытила этим волнующим ароматом. Мишка сидел со своей подругой замороженный, очарованный соловьиными трелями, будоражащим ароматом сирени, когда слышались мягкие шаги. Парень с девушкой притаились, прижались друг к другу, кажется, даже дышать перестали, когда на вершине вала показалась долговязая фигура.

Мишка долго вглядывался в темноту, пригнувшись к кусту сирени. И когда тот таинственный человек сдавленно кашлянул, словно от едкой пыли, Мишка узнал в нём Боровкова.

Боровков недолго постоял на валу. Может быть, он тоже впитывал в себя этот неповторимый запах благоухающей сирени, густую темноту июньской ночи, а потом опять неторопливо, сгорбившись, пошёл в сторону дома.

Мишка толкнул в бок свою подругу, прошептал на ухо:

– Узнала? Васька Боровков!

– Да ты что, Миш, – горячим дыханием обдала Зинка, – он на фронте давно. Говорят, письма пишет, всё нормально.

– А кто говорит?

– Да мать его, Луша...

Бабка Луша в деревне слыла человеком скрытным, молчаливым, болезненным. Она часто по утрам, выгоняя корову на луг, шла с перевязанной грязным платком щекой, и люди знали – опять у Лукерьи дёсны нарывают. Впрочем, последнее время она не стала жаловаться на здоровье, и даже когда в деревню приезжала Наташа-медичка, сельская фельдшерица, Лукерья на вопрос о самочувствии махала руками, бурчала под нос:

– Слава богу, видать, дошла моя молитва, перестали болеть, окаянные...

– Ты не струсил, если я на минутку отлучусь? – прошептал Мишка возбуждённой Зинаиде и, не дожидаясь ответа, почти ползком, пригнувшись, тихо зашуршал по траве.

Он вернулся через несколько минут запыхавшийся, повалился рядом с Зинкой, тихо прошептал:

– В дом зашёл к тётке Луше. – И не сдержавшись, сказал, скрипя зубами: – Ишь, гад ползучий, устроился...

– Тебе-то что? – спросила Зинка. – Нужен он больно...

– Да уж больше некуда. – Мишка приподнялся, подпёр ладонями лицо. – Значит, кто-то воюет, кровь проливает, а этот по погребам сидит. Ты знаешь, сколько наших на фронте?

Из семьи Глуховых на фронте были отец, несколько братьев отца, Андрей и много других родственников. Конечно, у каждого своя судьба, но кто этому позволил прятаться за чужую спину? Выходит, кому война, а кому мать родна? Мишка сжал кулаки, его как будто пронзила острая щемящая тоска: гад!

На другой день Мишка ходил в сельский Совет, рассказал председателю Черникову о своём открытии, а к вечеру в Парамзино нагрянула милиция, окружила дом Лукерьи. Винтовочный выстрел в воздух распорол тишину хлётко, как бичом, потом второй. Через несколько минут на пороге появился Боровков, сам с винтовкой, откинул её, заматерился, крикнул:

– Подходите, не боитесь, сам сдаюсь...

Его окружили милиционеры, выбрали трёхлинейку, скрутили руки за спиной, толкнули к телеге. Боровков скрипел зубами, озирался по сторонам, даже на мать кинул недобрый взгляд, будто она виновата в том, что его схватили.

Видимо, свой отсчёт жизни у каждого человека, и Мишка, попавший на фронт в конце июня, сложил голову под Курском. А Боровков уцелел, гнида паршивая, хоть за дезертирство попал в штрафной батальон, но в первом же бою ему оторвало левую ногу, и через полгода он снова появился в родной деревне. Что ж, по закону он рассчитался за своё дезертирство, но от людского суда не уйдёшь, совесть протезом не закроешь.

О том, что его выследил Мишка, Боровков узнал, возвратившись из госпиталя. И в первый же день пришёл к матери Андрея, стуча костылями. Он бесцеремонно уселся к столу,

осоловелыми пьяными глазами уставился на Надежду Сергеевну, криво усмехнулся:

– Ну, здравствуй, тётка Надежда! Небось, не ждала в гости?

Мать Андрея возилась в чулане, но при виде незваного гостя не смутилась, лицо было обычным, спокойным, только стянулись в пучки морщинки под глазами. Две похоронки на мужа и Михаила давно высушили лицо, натянули кожу, да и саму её словно переломило пополам, осутило, голова подёргивалась, как от переутомления. Надежда Сергеевна ждала, что скажет этот незваный гость, и он не заставил долго ждать, задал главный вопрос:

– Мишка ваш живой? Воюет?

– Нету Миши, – со вздохом сказала Надежда Сергеевна и отвернулась. – Нету больше.

– Выходит, Бог он не микишка, врежет по лбу – будет шишка. Дошли мои молитвы до Бога.

– О чём ты, Василий Андреевич!

– А ты будто не знаешь, дурочкой притворяешься! Разве не через Мишку твоего я на фронт угодил, ногу вот там оставил? А? Выслужился, гадёныш, и сам загнулся...

– Ты вот что, Васька, – Надежда Сергеевна сморщилась, повернулась к загнётке, схватила хват, – ты сына моего покойного при мне не хули. Ещё одно слово скажешь – обломаю рога об голову. На фронте не убили – тут достану. Понял?

– Но-но, не расходишь, старая! Я и до тебя доберусь. Я ещё на фронте клятву себе дал – жив останусь, расквитаюсь с Мишкой звонкой монетой...

Он хотел ещё чего сказать, но не успел – Надежда Сергеевна ударила рогаком по плечу. Удар получился хлёткий, с придыхом. И Боровков взвыл по-собачьи. Он загремел костылями, резво вскочил, попятился к двери.

– Озверела, что ли? С круга сошла? Не все дома, да? – гремел он, но, видимо, хватило ума не наброситься на женщину.

– Я-то пока в своём доме живу! А тебе – вот Бог, а вот порог!

Может быть, этот эпизод утихомирил злость Васьки, больше он не появлялся в доме Глуховых, даже с Андреем держался ровно. Но надо знать его натуру – и Андрей понимал, что наступит момент, и Васька рассчитается, полностью оплатит за прежние обиды.

Сейчас он придавил окурок о перила, сказал, не обращаясь ни к кому:

– Пошли, мужики, а то без нас все вопросы Бабкин решит.

Он первым распахнул дверь, застойный махорочный удушливый чад пахнул в лицо. Правленцы сидели кто где – на широкой лавке-конике, на старом, обтянутом дерматином, диване, оставшемся от прежних хозяев этого дома, на табуретках, а кое-кто, примостившись на корточки, дымил перед дверью.

Степан Кузьмич сидел за столом, когда накалялись страсти, периодически стучал карандашом по стакану. Завидев здешних мужиков, он оголил жёлтые зубы в улыбке и сказал:

– Ну, поскольку у нас практически все собрались, давайте начинать. Я предлагаю рассмотреть три вопроса – о государственном займе, о посылке в школы ФЗО, ну и разное... Как, пойдёт? И давайте перестанем дымить – дышать нечем...

– Да ты что, Степан Кузьмич, – прохрипел самый заядлый курильщик Сима Бычок, – до зари собрал, а без табака. Ведь уши опухнут.

– Ничего, потерпите, – твёрдо сказал Бабкин и, обращаясь к инструктору райкома партии Сундееву, спросил: – Ну что, Дмитрий Ермолаевич, может, ты начнёшь?

У Дмитрия Ермолаевича голова, как шар, острижена под машинку, только на передней части серебристая чёлка. Сейчас он взбил, как намылил, эту чёлку, побряхтел и зачастил про Государственный заём, про постановление правительства, про лично товарища Сталина, про патриотизм, который охватил заводы, фабрики, колхозы, где подписная кампания сорок шестого года, первого послевоенного года, идёт дружно и организованно. Он достал из потёртой



комсоставской сумки истрёпанные газеты, начал читать, а Андрей толкнул Илюху Минаева, попросил:

– Слышь, дай табачку!

– Да ведь сказали не курить! – шёпотом ответил тот.

– Ловко ты придумал, Андрей, – усмехнулся Илюха. – Этот-то – бубнит про заём, как дьячок на клиросе. Ведь каждый год одно и то же.

Илюха вытащил кисет, сам насыпал щепоть табака на газетный лист, подставленный Андреем, потом достал из кармана кремень, трут, ударил несколько раз высекалкой. Вата загорелась быстро, но и Бабкин учуствовал запах табака, заскрипел:

– Это ты, Минай, закурил что-ли?

Илюха осклабился, спрятал сигарку в рукав, ответил скороговоркой:

– Вот всегда так: как что, так Минай. Да не курю я, Степан Кузьмич!

– Он не в себя, – подначил Сергей Яковлевич, и все засмеялись, даже Сундеев оголил свои крупные зубы.

– Ну, продолжай, Дмитрий Ермолаевич, – миролюбиво предложил Бабкин.

И снова инструктор доложил про заём, про то, какие сознательные, истинные патриоты есть в районе, которые не только подписались на крупную сумму, но сразу внесли деньги наличными.

Андрей толкнул Илюху в бок, спросил:

– На сколько будешь подписываться?

– Ты чудак, Андрюха! – зашипел Илюха, – вроде нас с тобой спрашивать будут. Там уже всё чёрным по белому расписано, кому сколько. Каждый год такая катавасия...

– Но ведь, слышь, толкует Сундеев, – дело добровольное.

– Гляжу я на тебя, – Илюха хихикнул, – не человек ты, а хохмач. Как ты только воевал, такой бессобразженный.

– Да уж как мог...

– Мог, мог! – Илюха пахнул табаком в лицо Андрею. – А тут нос по ветру держи. И вперёд батьки в пекло не лезь. Им, – он на президиум кивнул, – надо Кольку Курка уломать.

– А при чём тут Колька?

– Понимаешь, Степан Кузьмич считает, что тот больше его трофеев нахапал, поэтому на Курка давит, а Курок, наоборот, Кузьмичу завидует, что в генеральских холуях числился, пол Австрии свёз...

Илюха говорил с завистью, смолил нещадно, захлёбывался кисловатым дымом, подмигивая Андрею.

– Выходит, они спорить будут, а мы когда спать будем? Ведь завтра опять на работу...

– Чудак-человек, да сейчас спи, кто тебе не велит? Я вот иссмолю сигарку и отключусь часочка на два. И ты не кисни, а прижимайся поплотнее да и... А ты случайно не храпишь?

– Откуда я знаю, – засмеялся Андрей.

– Тогда плохи твои дела. Вот я про себя точно знаю – как тихая мышка сплю – ни визга, ни писка.

Суднеев, кажется, закончил свой доклад, сгрёб бумаги на столе, начал их прятать в сумку.

– Может быть, вопросы какие будут к товарищу Сундееву? – спросил Бабкин.

– Эх, – Илюха толкнул в бок Андрея, – есть у меня до них вопросец, но если задам, точно на Кольму загремлю.

– А какой вопрос?

– По существу. Ты не заметил, что пока он докладывал, целый графин воды вытрескал. Вот и вопросец возникает – он писать не захотел, а?

Андрей еле сдержал себя, чтоб не расхохотаться, вот уж точно вопрос по существу, любит Дмитрий Ермолаевич воду глушить, может быть, от болячки какой? И пока рассуждал про себя Андрей, Минай привалился к его плечу, задышал ровно, тоненький звук, похожий на свист суслика, наполнил комнату.

– Минай опять уснул, – усмехнулся Бабкин. И попросил Андрея: – Толкни ты его, Глухов!

Илюха несколько секунд удивлённо моргал глазами, словно они склеились, пока он спал, потом взвизгнул по-поросячьи, начал быстро стаскивать с себя фуфайку.

– Ну, чего там у тебя, Илюха? – недовольным голосом спросил Бабкин.

– Да, наверное, горю...

В конторе ощутимо запахло палёным, из рукава фуфайки тянулась голубая змейка дыма. Пока Илюха заливал кружкой с водой рукав, вполголоса матерясь, собравшиеся умирали со смеху. Лишь один Бабкин сидел насупленный, кривил рот, и когда Илюха загасил дымящуюся вату, сказал нравоучительно:

– Вот так, Илья, и контору нашу спалишь, и сам обгоришь, как воробей. Ведь предупреждал – не дыми, как паровоз, чадишь.

Правленцы ещё несколько минут прыскали от смеха, и только Степан Кузьмич с тревогой поглядывал на Сундеева, а потом не выдержал, цыкнул:

– Ну, чего вы ржёте, как жеребцы? Решать надо, ведь сами себя держите... У нас Николай Курков присутствует?

Колька громко подал голос от порога, где он тоже, наверное, подрёмывал:

– Присутствует.

– Ну, так как, товарищ Курков, насчёт займа?

Колька задумчиво пригладил ершистые волосы на голове, собрал морщины на лбу, долго молчал. Потом сказал глухо, как будто про себя:

– Займ – дело хорошее, но надо с бабой посоветоваться.

– И затих.

Опять прыснули люди в кулак – началась комель! Жена у Коли Курка – гунявая, маленькая бабёнка, была туговата на ухо, и, как все глухие люди, говорила громко и редко, а уж о таких делах, как займ, от неё и слова не добьёшься. Не её это морока, на то Колька есть, который зорко, как коршун, следит за своим богатством. Даже с фронта писал домой матери: «Дорогая мама, если Дана (жену Кольки звали Дашей) продала мои кальсоны, пусть катится назад в Лукавку».

Эту весёлую историю знали в округе все, смеялись беззлобно, но когда Колька вернулся в июле сорок пятого с войны – ахнули и уже не считали Курка наивным простачком, который из-за простых подштанников готов отправить жену в родную деревню к престарелой матери, одиноко и голодно доживающей свой век.

Колька с Байгоровского полустанка прикатил на телеге и долго таскал огромные, похожие на деревянные лари, чемоданы, набитые разным трофейным барахлом. Даже блестящий, как зеркало, велосипед умудрился Колька засунуть по частям в чемодан, чтобы он, не приведи господь, не поцарапался или погнулся, обложил его парашютным шёлком. Всему нашлось место во вместительных чемоданах Кольки: и десятку карманных часов-штамповок, и карманным фонарикам «Диамант» – мечте каждого деревенского парня, и кожаными перчаткам, которые на деревне отродясь никто в глаза и не видел, огромному количеству опасных бритв и даже презервативам. Матери Колька подарил цветастую косынку, а жене – кусок парашютного шёлка на платье, но всё остальное уложил опять в чемоданы, закрыл их на ключи и приказал жене:

– К вещам не подходи, убью! Пусть лежат на чёрный день!

Колькина жена, ленивая, неповоротливая, в последнее время много голодавшая, гнусно

попросила:

– А может быть, Коля, хоть одни часы на базаре продадим? За них вон сколько буханок хлеба дают. Ноги-то у меня, видишь, как стеклянные стали, опухли от лебеды.

– Не госпожа, переживёшь... Ты чеснока побольше ешь, он пухлоту разгонит. Знаешь, где чеснок растёт?

Знала, знала Дашка, где растёт дикий чеснок – за Голой Окладней, на озимом поле, и она туда не раз ходила по весне, когда он только пробился из земли, был мягким и вкусным. Этот чеснок Дашка жарила на сковороде, и в доме шёл какой-то приятный запах, напоминающий колбасу. Но теперь чеснок застарел, выбросил коричневый шар-семенник, листья усохли, да и стебель стал походить на проволоку.

– Сам жри свой чеснок! – растягивая слова, сказала Дашка.

Колька, как петух, подскочил к ней, ударил кулаком в грудь. Жена повалилась на старую деревянную кровать, которая противно закрипела. Несколько минут Дашка лежала без движения, кажется, не дышала, и Курок испугался, взмок, как от тяжёлой работы. Он носился по дому, не зная, что делать, словно потерял рассудок, в груди было щемяще пусто, боязно – а вдруг прикончил жену своим ударом. Сознание вернулось к нему только тогда, когда Дашка заворочалась, болезненно застонала, и Колька ошалело плеснул ей на грудь кружкой ледяной воды.

Она заворочалась, её бить озноб начал, такой колотун, как будто она голая стояла на морозе, и у Кольки тоже возник озноб до слёз, до дрожи в скулах. Мысленно он клял себя, костерил на чём свет стоит – вот не сдержался и может поплатиться тюрьмой за эту дуру.

Когда Дашка начала приходить в себя, Курок тоскливо осмотрелся, полез в чемодан, достал одни часы, раскрыл их, покрутил заводную головку. Часы мелодично зазвенели, и этот мягкий звон начал его успокаивать. Может быть, мелодичный звон долетел до уха Дашки, она приподнялась на локти, невидящими глазами обвела дом.

– Даша, тебе, может быть, водицы подать? – услужливо спросил Колька, но в ответ не услышал ни стона, ни вздоха. Колька был бы рад, если бы она разразилась бранью или, наконец, ударила его – ему было бы легче.

Дашка поднялась на второй день, ноги у неё затекли ещё сильнее, стали и точно как стеклянные, и Колька, опустив те вчерашние часы в карман, по-тихому исчез из дома, растворился, как утренний туман. На ногу Курок был лёгок, в его вихляющей, переваливающейся походке не чувствовалось ни напряжения, ни усталости – за полдня смотался в Грязи, на рынке продал часы, купил три буханки тяжёлого, точно прессованного хлеба, и явился домой.

Пожалуй, впервые понял Колька, что миром правит любовь – Дашка не притронулась к хлебу, глядела на него осовело, выцветшими за одну ночь глазами, словно они выгорели от яркого солнца до неузнаваемости.

Курок вдруг ударил себя в грудь кулаком, крикнул со взрыдом:

– Будешь жрать или выбросить?

Опять ничего не ответила Дашка, будто отнялся язык, присох к нёбу. Не переживал до этого такой худой минуты Курок. Хотел упасть на колени, покаяться в своей глупости, в этой страшной жадности, похожей на плюшкинскую, как читал в школьном учебнике, но и это было ему не под силу, нельзя признать свою капитуляцию перед Дашкой, дать повод этой бабе помыкать собой...

Он присел к столу, острым ножом-кинжалом распахал пополам буханку хлеба, аппетитно заработал челюстями. Съеденная краюха словно добавила силы, смелости, презрения к жене, и он уже без раскаяния сказал Дашке:

– Ничего, жрать будешь! – поднялся из-за стола, ушёл на улицу.

Не всем хватает честолюбия остаться напористым и непоколебимым, твёрдым, не каждому это дано. Жизнь – штука дорогая, за неё человек держится, как чёрт за грешную душу. Вот и Дашка сдалась, краюха хлеба переборолла обиду, притянула к себе голодной силой. И вечером, когда Коля Курок приплёлся домой, Дашка хоть и односложно, но отвечала на его слова.

Нет, не спрячешься и не спрячешь что-либо в деревне, и об этой семейной истории Коли Курка многие знали, выражали сочувствие Дашке. Сейчас Курок стоял задумчивый и старался не обращать внимания на едкие смешки людей.

– Опять чудить начинаешь, товарищ Курков? – Сундеев лучисто улыбался.

Курков снова встряхнул головой, заговорил, не прибавляя тона:

– Интересный разговор у нас получается. Вроде, пожар где. Повторяю, что займ этот – дело хоть и непонятное, но сурьёзное. А в доме кто хозяин? Жена. Вот и должен я с ней посоветоваться.

– Ну, хорошо, – Сундеев достал из кармана галифе блестящие часики, щёлкнул крышкой, – вот сейчас двадцать два часа, а к двадцати трём ждём вас с предложениями.

Сундеев на фронте командовал ротой, и привычка быть точным, как его трофейный хронометр, была известна многим. О своей боевой жизни Дмитрий Ермолаевич вспоминал часто, и даже в разговоре проскальзывало: «моя рота», «в моей роте», если говорил о подшефных колхозах. Сейчас он готов был крикнуть «шагом марш», заметив, что Коля Курок замешкался, цепко впивался взглядом в председателя.

– Можно вопросец, Степан Кузьмич? – Коля тянул руку, как школьник.

– Ну давай, что там у тебя?

– Вопросец один, – снова ухмыльнулся Коля. – А председатель наш подписался?

– А как же, – вместо Бабкина ответил Сундеев, – первым, как и полагается, половину суммы наличными внёс.

– А на сколько, можно узнать?

– На тысячу рублей...

– Для начальника, поди, и маловато, – вздёрнул головой Курок и пошёл к выходу.

– Ну, что, товарищи, – Бабкин обратился к сидевшим правленцам, – дальше по займу пойдём или Куркова ждать будем?

– Давай дальше иди...

По очереди вызывал Бабкин колхозников, и когда дошла очередь до Андрея Глухова, как будто между прочим сказал:

– Хороший работник у нас Глухов, да вот придётся наказывать сегодня...

– За что? – удивлённо спросил бригадир Филатов.

– Быков в озимые допустил!

– Они сами туда заскочили, вместе с плужком рванули, – сипло сказал Андрей. – Их, быков-то, кормить нужно, а сейчас они голодные, как собаки...

– Но-но, – вскочил конюх Мишка Дегтярёв, – ты говори да не заговаривайся. Весь рацион, что правление определило на весенний сев, всё до грамма животные получают.

– Заткнулся бы об этом, – не сдержался Сергей Яковлевич, – тогда на какие же шиши конюх каждый день зенки заливают? Не фураж ли в Лукавку на самогон отправляет?

– А то клевета! – Мишка Дегтярёв передёрнулся, осмотрел присутствующих неподдельно искренним взглядом. – Ты сам-то почему не пошёл работать на ферму, когда тебе предлагали?

– Мне и в поле неплохо!

– Нет-нет, ты скажи! – наседали Мишка. – Молчишь, да? А сказать бы стоило. Привык ты захребетной жизнью жить, налегке.

– Это я-то налегке? А те, кто в немецком плену отсиживался, тот спину себе сломал?

В самую точку попал Сергей Яковлевич. Как клеймо этот плен для Мишки. А разве он сам туда попал? Разве один там находился? Рассказать – не поверят, какие колонны в сорок втором гнали под Харьковом, будто реки людские по дорогам текли, а там и офицеры шли, и, говорят, даже несколько генералов попало... Выходит, всех их надо клеймить презрением всю жизнь, до последнего вздоха?

Степан Кузьмич стукнул костяшками пальцев по столу, призывая к порядку. Если сейчас дать волю страстям, то недалеко и до кулаков, а это при Сундееве – дело последнее. Как говорится, свои собаки дерутся, а чужие не встривай.

Лицо его скривилось, как от кислого яблока, и он, желая утихомирить спор, сказал:

– Предложения давайте!

Вскочил Василий Андреевич:

– Оштрафовать надо Андрюху – и дело с концом.

Бабкин, кажется, словно ждал этого предложения, моментально подхватил:

– Ну что, голосовать будем? Как считаете, на пять трудодней достаточно?

Не выдержал бригадир Филатов, выпрямился во весь свой богатырский рост и ехидно посмотрел на Боровкова, своего соседа, которого он недолго любил из-за сварливого характера, сказал, растягивая слова:

– Это что ж происходит, товарищи! Можно сказать, лучшего пахаря оштрафовать! А тот, кто предложение такое вносит, – он как работает? Ты, Василь Андреич, в стёганных портках всю весну ходишь, и ни разу, наверное, не пропотел. Не боишься – в портках вся снасть сопреет?

Грохнули мужики и бабы раскатистым смехом – что верно, то верно подметил бригадир – носил Боровков ватные штаны круглый год и даже на протезе затягивал их тесёмкой.

Надо было опять возвращать заседание в нужное русло, и Степан Кузьмич, подмигнув Филатову, – дескать, хватит, угаси свой пыл, не распыляйся по пустякам, – попросил голосовать за предложение о штрафе.

Андрей сидел, не поднимая головы, звуки до него почти не доходили, просто жгло в груди, как будто туда плескнули крутым кипятком, и даже облегчённо вздохнул, когда проголосовали за председательское предложение. Ну и хрен с ними, с пятью трудоднями, не велика потеря. Трудодень – не рубль, его не пропьёшь, в магазине не истратишь. А может быть, и к лучшему, плюнуть на всё и податься в город? На тракторный завод, куда недавно уехал Кирилл Беседин, его школьный товарищ! Встретил недавно того – ничего, не загнулся парень. А здесь что за жизнь? Обмелела деревня, как ручей в засушливую погоду, всё, мужское население – вот оно, всё налицо в этой конторе, восемнадцать человек. А если чины выбросить – Бабкина, Филатова, колхозного бухгалтера Семёна Степановича да инвалида Боровкова – активные штыки по пальцам пересчитаешь. Но и из них-то в борозде только трое – Сергей Яковлевич, Илюха Минай да он, бедолага.

– Ну, а с займом как Глухов будет? – спросила Дунька Коростелёва, звеньевая, вечная колхозная активистка. Она поймала глазами взгляд Глухова, улыбнулась краешком губ. До этого разговора Дунька сидела, как влипла в лавку, а сейчас закрутилась, замотала головой. Неужели и эта на него? Ей-то он что плохого сделал? Живут по соседству, на гулянки вместе бегали... А может быть, завидует? Тоже надо понять – в двадцать один год овдовела, мыкается сейчас одна, как былинка в поле на семи ветрах, и завидует – вот он, Андрюха, живой вернулся, за годы войны даже вытянулся, построил, красивым стал. Осчастливит какую-нибудь, не век же бобылём ходить будет.

Мысли эти прервал Бабкин, обратился к Андрею:

– Ну, давай, Глухов, а то всё вокруг да около балачки ведём.

– После Курка подпишусь! – вдруг зло откликнулся Андрей. Пусть тоже вокруг него ходят, попрыгают.

– Да ты что, обиделся что ль? – вдруг севшим голосом сказал Бабкин.

– А что мне делать – бьют по щеке – подставляй другую? – ответил Андрей и сел.

– Ты анекдот знаешь, – Сергей Яковлевич зашептал на ухо Андрею, – как Фроська Просянкина дочь замуж выдавала? Нет?

Андрей отрицательно кивнул головой. Да и не до анекдотов ему сейчас было. Но Сергей Яковлевич зашептал на ухо, и Глухов напрягся в слухе.

– Так вот, Фроська дочь свою Клавку просватала за Серёгу Ярыгина. Ну, а Клавка к матери за советом: дескать, скажи, мамака, как мне в первую ночь спать ложиться: на бок или на спину, или вообще мордой в подушку? А Фроська ей отвечает: «А ты, милая, как не ложись, всё равно под мужиком окажешься». Вот и я тебе говорю – давай подписывайся, да домой пойдём. Ведь нам опять завтра плужить. Никто ж из этих за плужок не встанет.

Сергей Яковлевич слыл в деревне мужиком основательным, вдумчивым. И работал он на совесть, не жалел сил, не выглядывал. Вон и сейчас на его руках мясом розовели ладони. Значит, намял плугом-то за день.

Глухов засмеялся, поднялся, пошёл к столу:

– Ну, где расписаться?

Колхозный бухгалтер Семён Степанович опустил очки, зашелестел бумагами:

– Давно бы так, товарищ Глухов! А то развели волюнку на всю ночь.

За окном, и правда, немного посветлело, видимо, скоро рассвет. Из деревни в раскрытые окна доносился петушиный крик. Андрей расписался, провёл ладонью по лицу, точно разгоняя сон, спросил у Бабкина:

– Ну что, можно уходить?

– Нет, Андрей, ещё один вопрос. Разнарядка к нам пришла по посылке в школу ФЗО. Как ты смотришь, если мы Лёньку твоего пошлём, а?

Всё ожидал Андрей, только не этого.

– Нет, – твёрдо и громко сказал, – никуда Лёнька не поедет. Уж лучше меня пошлите!

– Когда нужно будет – и тебя пошлём! – взгляд у Бабкина стал холодным, даже каким-то страшным. – А вот на сисяшешный момент Лёнька...

Любимое председателево выражение «на сисяшешный момент» в другое время вызвало бы улыбку, но сейчас Глухов чувствовал, как гулко стукнуло сердце, будто в пустоте. Он казался себе человеком, у которого отбирают надежду, рушат такой шаткий неустойчивый мир и лад в их семье, и он выкрикнул пронзительно:

– И не думайте, Степан Кузьмич, и не мечтайте! Лёнька учиться будет, он в среднюю школу поступит.

– Ну и силён ты, Глухов, совсем от рук отбился! Непонятно разве – разнарядка есть...

– А я на эту разнарядку... с прибором кладу, – и пошёл, покачиваясь, к двери. Ему послышалось слабое тарахтенье сердца, словно в машине, а тело, будто обожжённое сухим огнём, натянулось до треска.

\* \* \*

...Глуховы, кажется, испокон веков жили в Парамзине. Их деревянный маленький домик, рубленный из ольхи, похилившийся за последнее время, стоял почти в центре деревни. Рядом сверкал и искрился пруд, выкопанный мужиками, и когда весной он принимал в себя ручьи со

всех прилегающих полей, вода плескалась почти рядом с домом.

Наверное, в каждом человеке однажды просыпается стремление узнать о своих предках, заглянуть туда, в далёкую, уже покрытую толстым пластом забвения жизнь, осмыслить вопрос: кто ты, откуда? У Андрея этот вопрос возник однажды, когда он учился в школе, а дед его, Фёдор Петрович, небольшого роста, сутуловатый старик с бородкой клинышком (дед чтит власть, никогда с ней не вступал в противоречие, поэтому бородку носил под Калинина и очень гордился, что был с ним, как он говорил «годком», то есть родился в один год) начал рассказывать их родословную.

Конечно, многое забылось, истёрлось временем, как стирается даже камень-голыш около дома, на котором дед часто точил топор или нож, но главное сохранилось, отложилось надолго.

По рассказам деда, парамзинский барин, охотник и картёжник, на охоте так расхвалил своих борзых, которые в несколько минут догоняли зайцев, такими были они резвыми, «прогонистыми», как говорил дед, подминали косых под себя, что один из гостей не выдержал, предложил любую замену за этих породистых сук.

Имение Парамзино приходило в упадок, вспыхнувшая, как пламя, холера за два года покосила много мужиков, и чернозёмные земли, оставленные без пахарей, начали затягиваться серым ковылём. Поэтому барин и запросил за собак две надёжные крестьянские семьи, работающие и смиренные.

Дед не знал, как проходили дальше торги, но через год Глуховы и ещё семья Касьяновых оказались в этой деревне. Отец Фёдора Петровича, Пётр Макарович, с одинаковой сноровкой управлявшийся с любым инструментом, за поллета навалил в прибрежном ольшанике сотни две лесин, выволок их на сухой выгон и принялся рубить дом.

Парамзинские жители, чаще всего лепившие дома из самана – глины, перемешанной с соломой, нередко приходили на выгон полюбоваться этой работой, чистой, любовной, при которой дерево словно становилось блестящим. Кажется, ни одного лишнего удара не было у Петра Макаровича, и топор, как по отметине, гнал щепу. Впрочем, и сыновья его, молодые, сильные Илларион и Степан (дед родился позже) не уступали отцу, ловко орудовали плотницким инструментом.

Сруб получился гладкобокий, с аккуратно подогнанными пазами, будто простроганный рубанком. И когда венцы сажали на сухой мох, брёвна, точно клеем, приклеивались, ложились паз в паз без подгонки.

В июле Пётр Макарович перевёз сруб на облюбованное место, попросил соседей помочь собрать его на фундамент из кирпича, заложенный предварительно.

Сруб установили к вечеру, когда багровая туча вспенилась на юго-западе, а молнии раскраивали небо на части. Но несмотря на приближающуюся грозу, не забыли земляки исполнить вековую традицию – стащили с Петра ситцевую новую рубаху, располосовали на клочья, а потом на высоком шесте водрузили над срубом.

Дед не мог объяснить Андрею смысл этого ритуала, но даже Андрей застал эту традицию, когда над новым срубом трепыхалась как знамя порванная сорочка хозяина, не тряпье какое-нибудь, а новейшая, может быть, даже ни разу не надёванная!

В течение лета Пётр Макарович сделал верх, покрыл его соломой, застелил полы из широких сосновых досок, а к Козьме и Демьяну – престольному деревенскому празднику – затопили печь, и ещё одно подворье появилось на парамзинской земле.

Когда-то дом напоминал тесный улей – у прадеда, а потом и у деда Фёдора семьи были большие, дружные, спокойные. Только у Андреева деда Фёдора Петровича было три дочери и четыре сына. Перед революцией дед построил новый дом, опять ольховый, тёплый, как баня.

Так сложилась судьба, что бабка Андрея умерла рано, когда Фёдору Петровичу было сорок

шесть лет и, наверное, дед мог бы почать новую семью. Сейчас даже кажется странным – молодой, ещё в силе мужик, один, как бобыль. Но, может, не было у деда Фёдора никого на свете милее и дороже, чем его Настасья – невысокая, смуглая крестьянка, впрочем, не по-крестьянски любившая кошек и собак, которых она чуть ли не специально собирала, да игру в карты «на спички».

Андрей бабу не помнил, она умерла за год до его рождения. Да вообще жизнь выдавила имена близких родственников из головы; когда умерла мать, Андрей с трудом вспоминал дядьёв и тёток, их адреса, чтоб послать телеграммы. Приехали немногие – тётки Вера и Настасья да дядя Илларион, самый грамотный из Глуховых.

Дядя Илларион работал главным агрономом МТС, у него была пролётка с резвой лошастью. Вот на ней он и приехал вместе с женой Надеждой Антоновной, про которую в семье говорили, что она беженка, то есть в годы гражданской войны, отступая от немецких войск, чудом оказалась с матерью и ещё двумя сёстрами в станционном городке Грязи. Дядя Илларион служил после срочной службы в железнодорожной охране и подсмотрел красивую хохлушку, а она «закохала» молодого охранника на всю жизнь, нарожав ему троих детей – сына-красавца под два метра и двух дочерей.

Но самое главное, на похороны приехал дед Фёдор Петрович, который жил у Иллариона – как-никак «харч», по выражению деда, у главного агронома был повольней. Дед приехал мрачный, весь какой-то стал тщедушный. Наверное, правду говорят, что на свете ничего нет дороже родины и матери. Дед долго бродил по деревне, а потом перед домом опустился на колени, заплакал. Трудно было наблюдать всё это, будто каялся в каком грехе старик. Дядя Илларион с трудом оторвал старика от земли, счистил грязь с колен, потащил в дом.

Дед умер через неделю, ночью. Последний, выходит, поклон отдавал дед родной земле, в мыслях прося прощения за всё плохое и хорошее, что успел совершить в жизни. Так она устроена, что чем дальше живёшь, тем всё сильнее тяга к родной земле, даже сравнить не с чем эту тягу – особое чувство возникает в груди, мягкое, как воск, даже у самых крепких наворачиваются слёзы на глаза. Наверное, каждому вспоминаются самые близкие люди, детство, беззаботная молодецкая удаль, когда сила плещет через край.

Андрей вспомнил сейчас, как перед войной ловили они с дедом карасей в пруду. Ещё белели плешины снега на полях, в лощинах резвилась мутная вода, а дед не выдержал, ушёл в Песковатку. Он вернулся к вечеру с мешком за плечами, присел к столу, чтоб закурить. Дед был лёгок на ногу, говорят, в молодости за день доходил до Тамбова, а это не ближний край – добрых сто километров наберётся, и на другой день возвращался пропылённый, загорелый, пил кружку студёной воды и принимался за работу.

В тот вечер, когда вернулся из Песковатки, он не утерпел, достал из мешка вентери, похвастался Андрею:

– Видал, Андрюха, какие подарки кум Прохор мне отвалил.

Дед Прохор был женат на одной из сестёр Фёдора Петровича. Видать, угодил подарком дед Прохор; целый вечер дед разглядывал вентери-двухкрылки, кое-где заделал дратвой дыры. Подмигнув, сказал Андрею:

– Ну, Андрюха, жди тепла! Вся рыба будет наша.

И сейчас вспоминается Андрею, как выходили они с дедом на дымную от утреннего холода плотину, спускались к пруду, где на сонной воде только иногда вздувались круги от большой рыбины, а потом опять всё застывало, точно покрывалось серой плёнкой. Дед сбрасывал с себя всё и, барахтаясь, увязая в прибрежном иле, лез в воду всё глубже, ойкал и кряхтел от холода. Наконец, он находил колья от вентеря, тащил его на берег. В нём телестела рыба – губастые караси, которых дед укладывал в просторный картуз. Если улов был большой, то Андрей бегал



домой за ведром или кастрюлей, и тогда рыбы хватало и на уху, и на «жарёшку».

Эх, счастливое было время, кажущееся сейчас каким-то далёким сном... Дед лез в погреб, с горшков снимал в стакан загустевшие сливки. Получалась царская еда, эти караси со сливками, розовобокие рыбины, кажется, испускали такой аппетитный запах, что невозможно было удержаться, не отломить корочку от жарёшки.

Дед за годы своего вдовства, кажется, всему научился – доил корову, стирал бельё, гладил его рубелем, штопал носки. Да мало ли чисто женских забот легло на его плечи!

Из своего детства Андрей хорошо помнил, как он, шестилетний карапуз, сидел на завалинке и канючил:

– Хочу молока парного, хочу молока парного!..

– Сычас, сычас, – дед гладит внука по голове, ершит его жёсткие волосы. – Вот Маруська сычас придёт!

Андрей скулит, как маленький щенок на привязи, до тех пор, пока на плотине деревенского пруда не появляется ревущее, блеющее деревенское стадо. Маруська, рыжемастная, с крутыми рогами, всегда идёт впереди стада, как признанный командир и, словно понимая, что её ждут – не дождутся, убыстряет шаг – и почти бегом во двор. Даже своим детским сознанием Андрей понимает, как умна их кормилица. Она идёт напрямиком к столбу с цепью, на которую её привязывает дед, и тот, награждая за послушание, суёт ей в рот большой кусок густо, до белого налёта, посоленного хлеба. Маруська в блаженстве глотаёт гостинец и замирает, зная, что сейчас её хозяин прямо в кружку надоит пенистого, белоснежного молока и угостит внука.

Андрей, покачиваясь, растирая кулачками слипающиеся от сна глаза, терпеливо ждёт этого мгновения, когда тёплая кружка окажется в его руках. Он со сладким причмокиванием начинает пить чуть отдающее полынной горечью молоко, опустившись на землю.

Дед гремит подойником, тугие строи молока трезвонят по днищу, и у Андрея под этот монотонный звон окончательно слипаются глаза, и он проваливается в какую-то глубокую тёплую яму. Последнее, что улавливает его слух, ласковые слова деда:

– Эх, опять уснул, домовой любезный!

«Домовой любезный» – в это слово дед вкладывал любовь к внуку, какое-то умиление, и даже сейчас непонятно Андрею: как мог тот при его обездоленной, необласканной жизни, в которой как трескучей колесницей всё поломано и перехрустано, находила место доброта, мягкое сердце, открытая душа.

Перед войной дед уехал «на жительство», как он выражался, к дяде Иллариону, но, видно, долго была пустота в душе по родной деревне, и он всегда неожиданно появлялся в Парамзино, усаживался на порог родного дома, сбрасывал сапоги, обнажая крупные с застаревшими мозолями ноги, давал им остынуть от быстрой ходьбы. Потом дед лез в погреб, доставал горшок с молоком, блаженно тянул леденящую благодать.

До города, где он жил, было километров двадцать пять, и по жаре, от которой прилипала к телу рубашка, быстро не раскachaешься, но дед умудрялся за четыре часа дойти до деревни. Кажется, он пьянел от родного, очищенного, настоящего на травах воздуха, у него моментально возникала жажда деятельности.

– Давай-ка, сынок, обувь починим, – говорил он Андрею. – Ведь и правду говорят – готовь летом сани, а зимой телегу.

Он из ларя, что стоял в сенцах, извлекал старые башмаки Андрея и его братьев, сбитые валенки, протёртые до дыр, и принимался готовить дратву. Когда-то давно ездил он на базар с соседом Мишкой Балалайкой. Мишка тогда, пустая голова, за мешок ржи купил большой кусок гудрона. Он приволок его в телеге, завёрнутый в холщовой мешок.

Дед ругал Мишку за тупоумие и безголовость, но Мишка не унывал, рисовал картинку:

– Вот зима подойдёт, и ко мне все побегут. Как кому валенки потребуется починить, так про вар и вспомнят. Ты первый прибежишь...

– Нужен мне твой вар, – подначил дед...

– Не нужен сейчас, потом потребуется.

Дед возвращался с базара в хорошем настроении, он выгодно продал овцу и не как-нибудь стоя за прилавком (там одним рубчиком мяса червонец плати, да ещё за работу лучший кусок заграбастают), а всю тушу одному покупателю, за сто тридцать рублей. На радостях Фёдор Петрович купил бутылку очищенной и, проехав Перовский мост, предложил Мишке:

– Ну что, обмоем базар?

Мишка любил горькую, в его чистых голубых глазах весело заискрились-заиграли таинственные бесенята, и он натянул вожжи, пустил мерина на придорожную луговину. Они осушили посуду до дна, и Мишка раздобыл, ножом отхватил кусок гудрона в добрый кулак, передал деду:

– Это тебе, дядя Фёдор, за угощенье!

Он прав оказался, Мишка! Потребовался-таки вар деду, он смолил им дратву, а потом сел подшивать валенки.

О, оказывается это целая наука – валенки подшить. Надо и подошву прошить в несколько рядов, а потом укрепить деревянными гвоздями, а запятник так наложить, чтоб не сбивалась пятка назад.

...Андрей дошёл до дома, опёрся на ствол берёзы, росшей у дома, и словно почувствовал тепло её белоснежного расписного сарафана. Почему не могли уйти от него эти воспоминания? Может быть, так бывает у каждого в час обиды, в час одиночества. А сейчас как раз такое время у Андрея. Осиротила его судьба, всё взвалила на одни плечи. И воспоминания о прадеде, о деде, ощущение болезненной горечи за мать, – вот, брат, за старшего остался ты из Глуховых на этой земле. Лёнька не в счёт, молодой ещё, ветер в голове гуляет, а вот он – как самый крепкий побег из посёкшейся поросли. Так уж судьба распорядилась: за одних война, за других: мать, деда – тоска, горе, лихая година.

– Главное – что с Лёнькой делать? Ну хорошо, поедет брат в школу ФЗО, а что станет с ним, Андреем? В одиночестве жить? На фронте он много пережил, хватит на всю жизнь, но только одного не испытал – одиночества. Там почти всегда были люди, разные – добрые и злые, надёжные и ловкачи, трусы и смельчаки, но всё равно Андрей как-будто чувствовал за плечом живое дыхание, и это наполняло страстью к жизни, мозг изобретал решения, диктовал поступки. А теперь?

На память пришла Аня. Что ж? И здесь испохабила судьба, растрясла надежды, как грушу в осеннем саду.

Как понимать всё, что с ней произошло? Злым роком, женской слабостью, минутной страстью объяснить? Можно, конечно, и на войну списать.

Анюту он знал со школьных лет и, уходя на фронт, они поклялись – если хорошо будет у них, не прогневаются Бог, даст встречу на этой земле, значит, будут вместе, навсегда. Она писала на фронт душевные письма, и когда он читал их, становилось тепло.

Попав в госпиталь (выдрало осколком снаряда из икры большой кусок мяса, словно кто острым ножом прохватил до кости мякоть), он написал письмо и долго ждал ответа, но писем всё не было. И в письмах матери, которая непременно спешила сообщить ему об Аняте хоть одной строкой, не было ни слова – будто был человек, и как звезда скатился с неба, не оставив даже маленькой светящейся чёрточки...

Андрей зашёл в дом, не раздеваясь повалился кровать. Спать оставалось от силы час-

полтора. А там надо доить корову, кормить завтраком Лёньку и отправляться на работу, как говорится, в новый кон.

Дом казался ему пустым, хоть на печке похрапывал Лёнька. В теле было холодно, словно из него стылый ветер выдул всю кровь, плечи закаменели, стала тяжёлой, неподъёмной голова. Но заснуть не мог.

\* \* \*

Анюта жила на краю Парамзина. Прямо за домом начиналось поле, в котором по вечерам и на заре перекликались перепела, и этот звук «пить-полоть», кажется, вошёл в неё на всю жизнь. Она ждала, когда заколосится рожь и с полей потянет хлебным запахом, тонким и неповторимым. Анюта росла худенькой, чуть раскосой, её волосы тоже, кажется, впитали ржаной цвет.

Её дед, Иван Тихонович, известный плотник на всю округу, иногда шутил:

– Рыжие, рябые на базаре дорогие!

Отца у Анюты не было, он бирюковатый, молчаливый, наверное, за это прозванный странным именем Батюрок, хоть крестили его Василием, перед самой коллективизацией ушёл из дома в Грязи, пристроился на железной дороге. Анюта помнила, как он уходил на работу: в чёрной фуражке, светло-зелёном плаще-накидке, в крупных кирзовых сапогах. Батюрок сопровождал поезда, болтался на задней платформе и терпеть не мог, как его дразнили ребятишки, зажав козырёк картуза в зубах и мотая головами в разные стороны. Так дразнили всех охранников, намекая на то, как последняя платформа раскачивается из стороны в сторону.

Батюрок страшно нервничал, если ему показывали этот «номер», он, гулко бухая своими кирзачами, суровый, насупленный, пускался вслед за проказниками, но попробуй догони их, лёгких и резвых, как стремительные кони. Андрюше тоже нравилось дразнить дядю Васю, но однажды он сплоховал, поскользнулся и оказался, дрожащий от страха, в руках Батюрка. Горечь и страх поселились в нём, кажется, даже зубы заклацали, он ждал, как сейчас хватит Батюрок его за ухо, поднимет над землёй, и он забьётся как карась, подсечённый на крючок.

Но дядя Вася почему-то не вцепился в ухо, а только зажал в коленях хрупкое тело, спросил, заглядывая в лицо:

– Ты, Андрюха, хулиганом хочешь быть?

– Не-ет, – пропищал Андрей.

– Ну, тогда Аньку за тебя замуж отдадим, – он засмеялся, оголяя крупные жёлтые прокуренные зубы.

Гулко билось сердце у Андрея, заложило уши, наверное, от страха, а Батюрок оттолкнул его с силой и пошёл, покачиваясь, к дому.

Наверное, человеческая память так устроена, что многое она вытрясает из себя, как из дырявого мешка, а вот этот случай не забылся, как и не забылось происшествие на пруду, когда Андрей, ещё не умеющий плавать, погнался за длинноногой Анютой, и неожиданно ноги перестали касаться дна, в раскрытый рот плеснула волна, и он понял, что начал тонуть. Кто-то неведомый схватил его за волосы, потянул в сторону, и когда он открыл глаза, над ним склонилась Анюта. Оказывается, это она вцепилась в волосы (Анюта умела плавать), выволокла его на мель.

Потом его долго рвало зелёной водой, а Анюта стояла рядом, он ощущал её горячее дыхание, и что-то нежное, благородное возникло в его душе.

Перед войной дядя Вася построил в Грязях дом, забрал семью, а вскоре и пришла на родину

горькая весть. В перестрелке, возникшей на Байгорском полустанке, когда группа молодых оболтусов начала срывать пломбы в товарняке, какое-то поветрие началось с этими ограблениями – выстрелом в упор был убит парамзинский земляк.

Его хоронили на лукавском кладбище. Гроб плыл над головами его сослуживцев в багровых отсветах тюльпанов. Анюта вместе с матерью, зарёванная, с впавшими потускневшими глазами шла вслед за гробом, бессильная и раздавленная горем.

Именно в этот день вспыхнуло в груди Андрея сострадание к Анюте, да такое сосущее, от которого, кажется, возникла даже одышка.

Через неделю Анютка приехала в деревню в гости к деду, ходила пасмурная, подавленная, и только при виде Андрея у неё на лице обозначилось что-то вроде улыбки. Андрей не понимал, что с ним происходит, он при встрече чувствовал, как начинало багроветь лицо, мелко дрожать руки, и однажды он не утерпел, подошёл к Анюте, тихо поздоровался.

– А-а, Андрюша-а, – сказала, растягивая слова, Анюта, как поживаешь?

Не хотелось, зная её несчастье, говорить бодро, хотя жизнь Андрею тогда казалась безоблачной, он хорошо закончил восьмой класс, работал сейчас вместе с мужиками на сенокосе, и это тоже добавляло радости. Даже потом, на фронте, он вспоминал это лето, дымное от тумана, с тяжёлыми росами, с удивительным благоухающим ветром. Деревенские мужики собирались на покос затемно, торопливо выкуривали по сигарке самосада, приготовленного Илюхой Минаем, а потом становились на ряды, и только тонкий посвист острых кос нарушал тишину летнего утра.

Косили часов до десяти. В лопатках появлялась усталость, их точно сводило тугим обручем, но стоило посидеть на траве, а потом искупаться в реке – и усталость проходила. Днём косцы отдыхали, отлёживались в тёмных сенях, а к вечеру снова выходили на луга, и опять до ночи звенели косы, слышался неторопливый разговор.

Андрею очень хотелось рассказать Анюте об этих своих праздничных ощущениях, но ему показалось, что девушка может обидеться его весёлому настроению, не поймёт его ликования, если у самой в груди тяжкий камень, траурная мрачность. Поэтому он неопределённо махнул головой, буркнул невнятно: «Нормально» – любимое своё слово. И замолк, полагая что Анюта пройдёт мимо, погружённая в свои заботы.

Но Анюта, кажется, не собиралась уходить, снова спросила:

– Говорят, ты заправским косцом стал, Андрей?

– Стараюсь...

– Там, вижу, весело?

– Да, с нашими мужиками не соскучишься.

– Ну вот, в среду и меня девчата приглашают сено копнить.

– Приходи, будем рады... Только после купаться придётся – работа у нас потная, грязная.

– Ничего, отмоемся... – Анюта опять улыбнулась через силу.

В среду радостным стал луг от ярких платьев и сарафанов, словно от цветущих васильков. И Анюта в своём тёмно-синем сарафане была похожа на василёк, даже в глазах, кажется, отражался этот васильковый цвет. Обычно в Парамзине после сенокоса женщины купались на Фонтанке – широком плёсе с песчаным дном, а мужики – в Круглом озере. И в этот день женщины первыми убежали к плёсу. Андрей не стал ждать мужиков, окунулся в студёную воду, выскочил, быстро оделся и пошёл на выгон. Даже себе не мог он объяснить, почему ему так хотелось сейчас увидеть Анюту, будто от этого зависела его судьба.

Девчонки высыпали на луг гурьбой, проскочили, не глянув, мимо него – даже до обидного равнодушны. Анюта шла сзади, глаза у неё были тоскливыми, в них как будто застыли боль и плач. Но увидев Андрея, она словно сбросила с себя что-то, натянуто улыбаясь, спросила:

– Устал, Андрюша?

– Да ты что, – Глухов даже зашевелил плечами, – какая усталость? Так, разминка! Это для вас, городских, наша работа тягость...

– С чего ты взял?

– Да видел я, как ты работала, – Андрей говорил эти слова специально, в расчёте оживить Анюту, помочь сбросить печаль.

Кажется, это удалось, и Анюта заинтересованно поглядела на него.

– Ну и что ты увидел?

– Сноровки нет. Вроде корова на левый бок жвачку жуёт.

Неожиданно эти слова обожгли Анюту, словно пламя полыхнуло в лице, и Андрей даже испугался: не обидится ли, не заплачет сейчас? Но Анюта собрала, кажется, в себе силы, сказала горделиво:

– Ничего, посмотрим, как после обеда будешь работать. Посоревнуемся...

– А ты придёшь после обеда? – с тревогой спросил Андрей.

– Обязательно...

И неожиданно даже для самого себя Андрей предложил:

– А потом погуляем? В Загородский сад пойдём?

– Посмотрим, – неопределённо сказала Анюта и прибавила шагу, а Андрею стало хорошо и приятно, радость вошла в него, как порыв прохладного ветра.

После обеда Анюта ловко шуровала вилами, стараясь побольше набрать навильник, искоса бросала незаметные взгляды на Андрея. Тот всё время натёкался на этот взгляд. Он работал яростно, стараясь раскатать себя, и бесшабашная удаля словно прокалила его, добавила воздуха.

Вечером после купания Андрей снова ждал Анюту. Уже темнота спускалась на луг, над торфяными болотами закрутился туман, и только на западе ещё багровела узкая, как лента, розовая заря, обещающая и на завтра хорошую, солнечную погоду, теплынь.

Анюта будто случайно приотсталла от подруг, крутила головой, точно искала кого-то, а он, спрятавшись за свежую копну сена, прикусил зубами нижнюю губу – то ли от холодной воды после купания, то ли от волнения.

Он вышел из укрытия, когда Анюта почти поравнялась с ним, и она, испугавшись, ойкнула, встрепенулась, как испуганная птица, а потом улыбнулась.

– Испугал меня, Андрюша! – она тихо засмеялась. – Показалось – медведь из берлоги вылез.

– Сочинила, Анюта, – Андрей заговорил тоже приглушённо, – какие у нас медведи?

– А вдруг завелись, а?

Усталая, с мокрыми волосами Анюта показалась ему какой-то настороженной, и Андрей засмеялся необычно громко:

– Вот смеха будет, если завтра ребятам расскажу. Со смеха помрут... В нашей местности, да медведи...

Он смеялся, а на лицо Анюты вдруг легла печаль, и она тихо спросила:

– А ты что, всё ребятам рассказываешь? Всё-всё?

Поначалу не понял Андрей, усмехнулся: почему такой вопрос задала Анюта? А потом точно осенило, кольнуло в груди: да не хочет она, чтоб их разговор стал достоянием других, он – как секрет для двоих, своего рода вексель доверия. Надо было успокоить Анюту, и он легко сказал:

– Да нет, всё не расскажешь...

А про себя подумал, что есть, наверное, в каждом человеке такие ставни, которые плотно закрывают самые сокровенные мечты.

Они пошли по мокрому от росы лугу, и Андрей чувствовал, что всё в мире затихло, только

им внимает, гасит их негромкие шаги, обдаёт туман.

– Я уеду скоро, – неожиданно сказала Анюта и внимательно посмотрела на Андрея.

– Как уедешь? Ведь каникулы – целое лето.

– А я решила в медицинское училище поступать.

– Ха, – усмехнулся Андрей, – значит, лягушек будешь резать.

Анюта вздрогнула, но сказала без чувств брезгливости:

– Ну и что? Надо и этим кому-то заниматься! Вон, мама моя уже сколько лет в больнице работает санитаркой и не боится. Кто-то должен человеку помогать в его болячках. Знаешь, медики – это солдаты, которые всегда на боевом посту.

– А сколько там учиться?

– С практикой почти четыре года!

– Значит, и к нам в Парамзино бросишь ездить?

– Ну, что ты, Андрюша, мне деревня нравится. Люди тут хорошие, открытые. Вон и дедушка мой...

– Скряга он, твой дед, – невольно вырвалось, – над каждым яблоком трясётся...

Андрей не любил Ивана Тихоновича, деда Анюты. Был он человеком замкнутым, вечно с ехидной улыбкой на лице, его долговязая фигура напоминала огородное пугало. Он и в самом деле целыми днями торчал в саду – обнесённом плетневой оградой, а сверху ещё ржавая колючая проволока в три ряда. Эх, сколько ребячьих штанишек тут порвано – не пересчитать, а сколько порки за это было! Иван Тихонович, как коршун, караулил свою добычу, набрасывался сверху и из его клешней не вырвешься. Единственная сила, которая помогала в борьбе с дедом Иваном, – пронзительный крик. Он был глуховат, и когда ребяташки начинали визжать, у него словно прорезывался слух, он расслаблял пальцы и тут уж не зевай – держи ноги.

Анюта, кажется, обиделась за деда, сказала примиряюще:

– Не скряга он, просто у него жизнь тяжёлая. Он четырёх сыновей вырастил, и их судьба не пощадила.

Мой отец вот недавно погиб, дядя Гриша в гражданскую, дядю Володю в тюрьму за драку посадили, а с дядей Мишей сам знаешь, что случилось.

О трагедии с Мишкой говорила вся деревня. Нередко любовь и предательство существуют рядом, идут бок о бок, как две сестры. Мишка влюбился в Дашу из соседней Верхней Лукавки. Это была какая-то необычная для деревенских любовь, испепеляющая и страстная. Дашка сама приходила в Парамзино, до рассвета они гуляли с Мишкой на лугу, а потом шли через всю деревню в соседний посёлок.

Люди уже просыпались, выходили полюбоваться красивой парой. Мишка был кучерявый, с округлым розовым лицом, а Дашка – тонкая, как стрекоза, высокая, подтянутая, со светлыми волосами.

Люди ждали свадьбу, и она состоялась. Только не с Мишкой. А неожиданно быстро выскочила Дашка за Костю-гармониста, лукавского парня. И тогда Мишка, как говорят, сошёл с круга, стал пить, куролесить. В коллективизацию Мишка вступил в комсомол, немного стал сдерживаться, но иногда давал себе волю, и тогда пьяная брань и похабные песни долго не давали заснуть людям.

Из этого времени запомнился ещё один эпизод. В далёком тридцать третьем году было. Маялось в голоде Парамзино, жители с трудом выползали за калитку, глядели на мир сузившимися от пухлоты, точно прищуренными глазами.

Слух о том, что сегодня Мишка Тишкин будет с колокольни крест снимать, разнёсся утром. И сельчане, хоть и одолевали дорогу с трудом, приблизились к колокольне, замерли в ожидании. День был солнечный, на куполе играли серебристые блики. В Загородском саду пели

малиновки, видимо, одурманенные хлынувшей на землю теплынью, пряным запахом весны, струившимся через молодую клейкую зелень.

Мишка появился у колокольни часам к десяти вместе с бригадиром Гавриловым. Был Гаврилов маленького роста, толстый, но непомерно суетливый, хоть и годами уже немолодой. Мишка же – прямая ему противоположность: жиглявый, скуластый, вихры на голове разворочены, пришёл к колокольне босиком, дерзко, вызывающе поглядывал на мир из-под мохнатых густых бровей.

Вдвоём с Гавриловым они молча распутали несколько вожжей, связали их накрепко, потянули в разные стороны, прикрепили к концу острую «кошку», специально в кузнице сделанную. Люди наблюдали за этими приготовлениями молча. Церковь давно не работала, поп сбежал из деревни, а лестницу внутри колокольни обжили крикливые вороны и галки. А идея – сбросить крест – пришла в голову кому-то из сельсоветчиков. Говорили, что крест серебряный.

– Да за него вагон хлеба можно купить, – утром говорили между собой мужики и не спеша обсуждали, не продешевил ли Мишка, согласившись за полпуда ржаной муки провести эту операцию.

Мишка, покончив с вожжами, пожал Гаврилову руку и юркнул внутрь колокольни. Через несколько минут его худая, несуразная фигура уже маячила в проёмах окон. Мишка ловко зацепился «кошкой» за купол, с размаху врубив острые когти в крышу. Теперь задача была на закреплённых вожжах подтянуться вверх, усесться на самый купол, а потом попробовать сбросить крест. Видели сельчане, как ящерицей извивалось молодое гибкое тело и, когда Мишка уселся на куполе, привязав себя верёвкой к основанию креста, – это вызвало раздражение.

– Всё-таки влез, гад, – бурчали мужики в толпе, а бабы охали, тягостно вздыхали, переживая за Мишку, и не понять было, что больше жалели бабы – крест, отчаянного Мишку или его мать.

Меланье показалось странным – почему это с утра народ толкается на церковной площади? Неужели батюшка вернулся, молебен служит? И она, будучи богомольной, заспешила на улицу, хоть и чувствовала себя плохо, нездоровилось с голодухи, а отёкшие ноги переставляла с трудом, словно передвигала тяжёлые чурбаки.

Шаркающей походкой засеменила она по луговине, подошла к толпе, наострила слух. Но странное дело, никакого пения не было слышно, а люди глядели вверх, на колокольню, где кружились испуганные вороны. Меланья стала смотреть тоже вверх, и, наверное, минут пять потребовалось её слезящимся старческим глазам, чтоб разглядела она тощую фигурку на куполе колокольни.

– Свят, свят, – осенила она себя крестом и вдруг закричала резко, пронзительно: – Слезь оттуда, богохульник!

Люди с удивлением глядели на Меланью, улыбались, и это, казалось, придало ей силы. Она кричала, как всполошившаяся ворона, не умолкая, посылала проклятия неизвестному богохульнику.

Толпа оживилась. Теперь она уже глядела не вверх, а, посмеиваясь, повернулась к Меланье, наблюдая, как распалась женщина, кляня своего родного сына: «Чтоб ты и с места не сошёл, на землю не спустился, чёртов ирод». Наконец кто-то шепнул Меланье на ухо, что это же её Мишка по колокольне шастает, и толпа грохнула со смеха, когда та закрестилась неистово.

– Господи, спаси раба твоего, спаси и помилуй, – причитала Меланья, уставившись в одну точку – на купол.

Не всё можно было рассмотреть в действиях Мишки отсюда, снизу. Проржавевший крест, закреплённый расторопными мужиками навечно, наверное, не поддавался, но, наконец, громкое

«берегись!» накрыло толпу, и она испуганно попятилась к домам. И только Меланья, сгорбленная, вся какая-то жалкая, застыла на площади с поднятой головой. Казалось, великая скорбь жила на её лице, даже вопли свои она прекратила. К её ногам грохнулся тяжёлый крест, основанием войдя в землю. Охнула толпа, шарахнулась назад.

Оцепеневшая Меланья по-прежнему стояла на своём месте, наверное, не отдавая себе отчёта в том, какая опасность грозила ей всего несколько мгновений назад. Великий страх за сына владел ею безраздельно, и у неё, наверное, в мыслях не было, что сама она могла бы погибнуть под тяжёлым крестом.

Осталась на своём месте она и тогда, когда, успокоившись, мужики бегом рванули к кресту, с гиком подняли от земли, как покойника, на руках бережно понесли к зданию школы. Теперь о Мишке забыли. Вслед за мужиками к школе двинулись сгрудившимся стадом овец бабы, побежали ребятишки. Но по-прежнему стояла на площади Меланья, и, наверное, только она видела, как ловко перекинул своё гибкое тело за купол Мишка и начал медленно, обхватив руками и ногами верёвки, спускаться на площадку. Мать терпеливо проводила его исчезающую в тёмном проёме звонницы фигуру, закрестилась, с отрешённым видом поспешила к колокольне встречать своего отчаянного сына.

Впрочем, парамзинцам теперь до этого не было дела. На школьном пороге огромно покоился крест, и мужики, обступившие его, теперь обсуждали, не надули ли их, действительно ли крест серебряный и сколько денег отвалит казна за это, и вообще, не будет ли этот лихой поступок со снятием креста расценён как воровство казённого имущества. Откуда-то появились напильники, и самые нетерпеливые мужики, вооружившись ими, начали яростно полосовать металл. Но чем быстрее они это делали, тем отчаяннее становилось их разочарование – крест был железным. Серебряными брызгами разлетались острые опилки. Кому-то пришло в голову попробовать их на зуб, это лишний раз подтвердило обидный вывод.

Потихоньку толпа начала расходиться, на все лады обсуждая случившееся. Многие, наверное, и не заметили, как выскочившего из тёмного проёма колокольни Мишку радостно встретила мать, поблекшими старческими руками обняла его за шею, притянула к себе. Тот нетерпеливо потоптался на месте, потом оттолкнул мать, направился к кресту. Гаврилов пошёл к нему навстречу, закричал:

– Пропало дело. Мишка! Обманули нас, как воробьёв на гумне. Крест-то железным оказался!

– Ну и чёрт с ним, с крестом! – Тишкин замахал руками. – Начальство, небось, не обманет, а полпуда муки дороже этого креста сейчас стоит.

И они подались к конторе.

А через два часа встретил Андрей Мишку уже на улице. Шли они с Гавриловым в стельку пьяные, держась друг за друга. Маленький Гаврилов совсем ослаб от выпитой водки, повисал на руке Мишки. Зато Мишке выпивка, казалось, добавила силы, он орал похабные песни, пытался пуститься в пляс, размахивая руками. От загулявших сельчан шарахались в сторону, и только мелкота, такие, как Андрей, десятилетние, молча сопровождали Мишку и Гаврилова за околицу. Там пьяненькие долго возились на лугу, пытались бороться друг с другом, но окончательно окосевший Гаврилов мешком свалился на землю и захрапел, подложив свой маленький кулачок под голову. Мишка покурил, а потом тоже улёгся рядом, и скоро могучий храп огласил луг. А через три дня исчез из деревни Мишка. Навсегда исчез, как в бездну канул...

В общем, тяжёлый разговор произошёл у Андрея с Анютой; кажется, ещё мгновение – и она расплачется, опять погрузится в свои воспоминания. Андрей долго придумывал, чем бы развеселить Анюту, согреть её душу. Он взял её потную горячую руку, сказал с усмешкой:

– Хочешь, я тебе погадаю?



– Как это сделаешь?

– А у меня талант судьбу угадывать...

– Брось ты, Андрюха, заливать. Ты не цыган...

– Не цыган, а судьбу твою угадаю... Хочешь или не хочешь, говори сразу.

– Ладно, ворожи, знаешь, как девчата поют: «Соломон – верный гадатель, отгадай, кто мой страдатель!»

Андрей начал водить пальцами по её потной ладони, и Анюта вскрикнула: «Ой, болит!»

– Ты что? – удивился Андрей, и сам понял причину – на ладонях Анюты он нащупал две водяные подушечки...

– Перестаралась ты, Анюта, – усмехнулся Андрей. – Кто же так работает?

– Да было б ещё больней, если бы я плохо сено сгребала. Сам бы надо мной и смеялся...

Какое-то сладостное предчувствие кольнулось в груди – выходит, он для Анюты что-то значит, если его слова подействовали на неё, на самолюбие, на желание показаться ему лучше, работающей и сноровистой. Он погладил её ладонь, мягкую, как пух, неожиданно предложил:

– Пойдём, на вышку сходим.

– Да ты что? – Анюта засмеялась легко, открыто – кажется, впервые за весь вечер. Чего там ночью делать?

– Выходит, боишься?

– С тобой мне не страшно, только какой смысл?

– А ты просто так, без смысла...

Деревянную вышку из могучих брёвен построили год назад солдаты на Артюхином поле, как раз почти на дороге из Парамзина в Закустовку. Они связали из сосновых столбов четыре длинных опоры, скрепили толстыми поперечинами, посадив их на болты. На этих поперечинах были настелены полы – получалось что-то вроде смотровой площадки. Вышка была метров под двадцать высотой, и когда в ясный день смотришь с самой высокой точки – все окрестные деревни, как на ладони, домики торчат вроде скворечников, утопая в зелени ветел и садов.

Говорили, что вышку построили на тот случай, что если возникнет война, – с неё можно хорошо корректировать артиллерийский огонь, так объяснял деревенским ребятам лейтенант, командир сапёрного взвода. Правда, тогда его подняли на смех ребята: какая уж тут у них, среди этих ровных, как скатёрка, полей, война, и без этой вышки всё видно.

До вышки от деревни было километра два, и Андрей, подхватив под руку упирающуюся Анюту, потащил к дороге. Она немного посопротивлялась, возможно, чувство здравого смысла подсказывало ей – зачем тащиться по пыльной дороге, но потом и сама рассмеялась:

– Ладно, пойдём, только когда ж ты гадать будешь?

– А вот там, на вышке!

Округа синела всё гуще и гуще, уже первые звёзды задрожали в небе, тишь установилась над миром. Андрею казалось, что в густеющей темноте умерла жизнь. Не было ничего, только стылые звёзды да вот они, разгребающие эту темноту, как при плавании. Он прижался к горячему локтю Анюты – гулко стукнуло сердце, облилось горячей кровью.

Эх, сколько раз потом на фронте, даже, пожалуй, в самой жуткой обстановке, когда султаном вздымалась перед окопом земля, выворачивали наизнанку душу противные поросычьи взвизгивания мин, когда пули визжали над окопом, – вспоминалась эта ночь, этот миг, и на долю мгновения возвращалось в душу радостное, яркое, как те июльские звёзды. Оно таяло быстро, но искорка теплоты оставалась в душе, словно утверждала – ты жив, тебя хранит судьба, как хранит жизнь холодный морозный снег под своей толщей. Придёт время, и эта теплота растопит злость, тяжесть оттолкнёт от души.

Они добрались до вышки, и Анюта приказала:

– Ты первым лезь.

– А ты что, трусишь?

Она засмеялась, но ничего не сказала, но и этого хватило, чтоб понять: дурила ты, Андрей, вперёд женщину пускаешь, чтоб она подолом своим твою голову накрыла, элементарной этики не понимаешь.

Они поднялись на верхнюю площадку. Тихая степь с запахом поспевающих хлебов, цветущего цикория таяла в темноте. Андрей почувствовал, как промокла, прилипла к телу рубашка. Может быть, это от усилий – как-никак поднимался наверх, а может быть, оттого, что рядом была Аня. Потом он часто на фронте будет вспоминать эту ночь, тихую, счастливую, загадочную, с искрящимся от звёзд небом. Он прижался к Ане, и она не оттолкнула, тоже склонила голову ему на грудь, пахнущую сухим сеном и ещё каким-то неповторимым степным запахом.

Они долго молчали, вглядываясь в тихую темноту, сквозь которую еле пробивались дрожащие огоньки окрестных деревень, потом Аня спросила шёпотом:

– Послушай, Андрюша, а зачем эту вышку сделали?

– Ну, как тебе объяснить, наверное, – Андрей наморщил лоб, – для военных целей. Геодезические вышки, они и в мирное, и в военное время нужны.

– Неужели война будет? – голос у Ани осёкся, – неужели будет?..

– Вряд ли. Сталин-то на что?

– Эх, хорошо было бы, – и она теснее прижалась к Андрею, засмеялась, – а сердце у тебя как стучит... Как...

Она не нашла, наверное, слова, с которым можно было сравнить его сердце, или он не дал, припав губами к её губам. Она отшатнулась, испуганно спросила:

– Тебе не стыдно целоваться, Андрюша?

– Почему?

– Мне так кажется.

– Чудная ты, – засмеялся Андрей, – а если человек нравится?

– Всё равно стыдно. Мне кажется, что на меня сейчас мама смотрит...

Андрей ещё раз усмехнулся, притянул Аню к себе, счастливо прошептал:

– Никто тебя не видит сейчас, Аннушка. Даже при всём желании не разглядишь...

– А вот с других планет, как думаешь, видно нас? Небошь, смотрят люди или какие-нибудь существа, смотрят и смеются над нами – посмотрите, дескать, целуются дураки...

– Смешная ты, Аннушка, – засмеялся Андрей. – А ещё в медики собираешься. А ведь там не мечтать, а людей лечить надо.

– А ты куда пойдёшь учиться после школы?

– Я? В офицерское училище.

– Тебе что, нравится быть военным?

– Да.

– И мне тоже.

– Значит, будешь моей женой! – засмеялся Андрей.

Она промолчала, только плотней прижалась к нему, взяв потную руку, вдруг вспомнила:

– А ты вроде мне гадать собрался?

– Поздно уже – я тебе всё отгадал. И как ты медиком станешь, и как за меня замуж выйдешь, и будем мы жить вот на такой верхотуре, чтоб свежий воздух всегда...

– Я высоты боюсь, – засмеялась Аня, – это я вот только с тобой такая смелая.

Он нашёл в темноте её губы, поцеловал, и у него, кажется, закружилась голова, ещё мгновение – и он полетит вверх тормашками с этой вышки. Странное дело – никогда с ним

подобного не было. Он мог забраться на любое дерево, даже грачиные гнёзда на тонких берёзах разорял, а сейчас ему словно перехватило дыхание, свело тело, огонь полыхал внутри.

Анюта, наверное, поняв его состояние, попросила:

– Давай вниз спускаться. Уже поздно, а?

Площадка перестала под ним пьяно раскачиваться, в тело вернулись упругость и сила, он подтолкнул Анюту к лестнице:

– Теперь твой черёд первой сходить.

Та ночь вся без остатка врезалась в память, стала какой-то путеводной звездой на самое страшное время.

Ведь не знали они, не могли предвидеть, что в их судьбу, так счастливо начавшуюся, ворвётся война, наполнит мир смертью, грязью, страхом, пошлостью.

Пока жила Анюта в деревне, они были вместе. И уже в открытую называли Анюту и Андрея женихом и невестой. Мелкота деревенская, завидев на улице, надрывала горло:

– Тили-тили тесто, жених и невеста!..

В зимние каникулы Андрей поехал в Грязи к дяде Матвею, который жил недалеко от дома Анюты, и они опять, как летом, всё время встречались. Анюта рассказывала о своём училище с восторгом, а Андрей глядел на неё, не мог насмотреться, и появился страх: а вдруг Анюта разлюбит его, увлечётся каким-нибудь городским парнем и поставит крест на их взаимоотношениях. Может быть, поэтому он каждый день писал ей письма, короткие, но, как ему казалось, наполненные любовью.

Война точно вьюгой дохнула на их любовь, пала как осенний заморозок на цветущие георгины, но письма стали ещё более нежными.

Перед отправкой на фронт Андрей поехал в Грязи и пошёл на Заводскую, где жила Анюта. Он не рассчитывал увидеть Анюту дома – она теперь работала медсестрой в той же больнице, где и мать. Больницу развернули в госпиталь, заполнив ранеными не только лечебные корпуса, но и здание семьдесят третьей средней школы, где когда-то училась Анюта. Фронт гремел под Воронежем, Грязями, узловой станции на этом направлении тоже доставалось. Как правило, перед вечером над городом кружили немецкие бомбардировщики, сеяли из своей проклятой пасти бомбы, и одна, как раз во время дежурства Анюты, попала в школу, отвалила тыльную кирпичную стену. Слава Богу, что обошлось без жертв.

Наверное, в счастливой рубашке рождён был Андрей – Анюта была дома, отдыхала после ночного дежурства. Она прижалась к Андрею, как прилипла. Наверное, так бывает с каждым, кто познаёт боль, опасность, он словно по-другому воспринимает жизнь, более страстно и осознанно, борется за каждое мгновение.

С трудом оторвалась от Андрея, угасшим голосом, скорее даже шёпотом, попросила раздеться, усадила к столу, начала хлопотать насчёт чая, счастливо сверкая чёрными округлыми глазами, легко, как пушинка, передвигалась по комнатам. Громко гремела посудой на кухне, даже о бомбёжках рассказывала со смехом.

– Понимаешь, я теперь понимаю лермонтовские слова «и к свисту пули можно привыкнуть». Я эти бомбы раньше... Она визжит, как резаный поросёнок, а у меня мурашки по коже, тело струной натягивается. А теперь бухает – и ладно, пройдёт, даже интересно, когда прожекторы небо в лоскуты раскраивают...

Наверное, Анюта говорила это специально для него, ведь ему предстояло вдесятеро пережить то, что пережила, почувствовала она, но тогда Андрей об этом не думал, только смотрел на неё.

Она поставила на стол в комнате разогретую на сковороде картошку, несколько солёных огурцов, хлеб и, порывшись в шкафу, налила в стакан бесцветную жидкость. Помедлив, налила

второй.

– Это спирт, – сказала она, усмехнувшись, – когда-то маме в больнице в качестве премии выдали... Ты пил его?

– Нет, – махнул головой Андрей.

– Ну, тогда привыкай... Говорят, на фронте здорово помогает. У нас в госпитале солдаты рассказывают, что наркомовские сто граммов как политрук сами в бой толкают. Выпьют и вперёд! Его без воды лучше пить, вот так...

Анюта взяла стакашёк, запрокинула голову и стремительно выпила, а затем потянулась к кружке с водой и сделала несколько глотков.

Андрею стало не по себе, ему подумалось, что ненужный опыт Анюта приобрела с солдатами, там, в госпитале, глотая частенько спирт, но она, заметив настороженный взгляд, усмехнулась и сказала понимающе:

– Да ты не волнуйся, это я с тобой такая смелая. И пью в первый раз, честное слово... Просто не хочется быть грустной в этот день, а спирт, говорят, радости добавляет. Пей, пей, не бойся...

И вдруг придвинула свой стул к нему, обняла его порывисто – будто обдала горячим ветром. Наверное, у него исчезло недоумение на лице, сгладилось ощущение тревоги и волнения, и она повисла на плече, гибкое горячее тело её вызвало неожиданную дрожь. Ему было радостно ощущать на плече жар её рук. Неутолённая жажда любви вспыхнула в нём, налила мышцы жаркой силой и поплыла, словно в тумане комната, растворились и исчезли, слились с темнотой углы, только ощущение теплоты стало ещё сильнее, какое-то банное, да в голове тягостный стук молоточков. Он порывисто схватил Анюту, подняв со стула. И она безропотно пошла за ним к кровати, покачиваясь и запрокидывая голову...

Он ушёл на фронт через неделю. Анюта прибежала на вокзал, запыхавшаяся, зарёванная, почти незрячая. Только шептала:

– Я тебя ждать буду, Андрей, я тебя ждать буду!.. – Слёзы лились из вновь погасших глаз.

Андрей до крови закусил нижнюю губу и, наверное, от напряжения, лицо вытянулось, побелел подбородок. Думал же он в то время о том, что зря так Анюта убивается, он будет жив, иначе зачем же существуют в мире правота и справедливость. Разве справедливо получится, если он не вернётся к этому человеку, доверившему ему своё счастье, любовь, девичью честь? Всё в мире должно быть по справедливости, по порядку.

Откуда ему было знать, что судьба и жизнь распорядятся совсем по-другому, и хоть он на войне уцелел, нет счастья, нет Анюты. Даже сегодня в это не верится. Так, наверное, устроен человек, что верит только в то, во что хочется верить, надеяться, а другое, ненужное, даже реальное – отметаёт.

Впервые о смерти Анюты ему написала мать. Написала сдержанно, конечно, понимая, какую весть она шлёт сыну на фронт, своего рода мину или гранату, которая может разорвать на куски любящее сердце. А о том, что Анюта – его невеста, она знала и в душе радовалась такому ходу событий – в её понятии та была олицетворением добра и благородства.

...Анюта, как потом ему рассказали, появилась в деревне неожиданно, перед вечером. Она пришла босиком, держа в руках стоптанные туфли. Волосы были растрёпанные, потные, прилипли к разгорячённому затылку. Взгляд был угрюмый, с остановившимися глазами. Она подошла к дому деда несмело, долго сидела на крыльце, пока Иван Тихонович не заметил внучку в окно, не выскочил обрадованный на порог, и буквально утащил её в дом.

Никто, не знает, какой разговор состоялся в доме. Иван Тихонович был человеком неразговорчивым, скрытным. Недаром его прозвали Батюрком, подразумевая диковатость и

молчаливость старика. Это только потом, через некоторое время, после похорон Анюты, бабка Меланья, дедова жена, сказала матери Андрея, что внучка своё появление объяснила отпуском, который якобы ей дали в госпитале, и она решила побывать в деревне, навестить стариков.

Даже бабке показался этот рассказ несколько странным, кто же в горячее военное время отпуска предоставляет, но уточнять постеснялась, да и зачем? Главное – Анюта к ним пришла, значит, помнит о стариках, и на том спасибо.

Анюта поужинала вместе с дедом, с аппетитом поела молодой картошки (на дворе был конец июля) и спать пошла в сарай, куда принёс Иван Тихонович душистого сена. А утром старик долго ждал внучку на завтрак и, наконец, не выдержал, заглянул в сарай. Заглянул и обомлел: в белой ночной рубашке Анюта висела на верёвке, прилаженной к перекладине. Он бросился к телу и ещё раз замер как пришибленный: оно было уже стывшим, закаменевшим. Около постели он нашёл записку, в которой было нацарапано несколько слов. Эту записку мать привела в своём письме, она отложилась в памяти Андрея на всю жизнь: «В моей смерти никого не надо винить. Прости, Андрей».

Когда Глухов читал это письмо на фронте (как раз под Ленинградом, в гнилых болотах, где в мочажинах стояла рыжая вода), те слова из записки защемили сердце, гулко забились кровь в висках, неизвестно откуда появившийся жар проколол грудь, как штыком.

Он долго не мог успокоиться, несколько дней ходил, как пьяный, под ним колыхалась шаткая земля. Он, вскидывая руки, искал опоры, за которую можно держаться, сохранить равновесие. Но опоры не находилось, и он замирал, старался удержаться на ногах. Однажды это произошло с ним в опасной простреливаемой зоне, при возвращении в окоп, и если бы не Юрка Маликов, долговязый тамбовский паренёк, упавший под обстрелом и рванувший за ноги Андрея, как знать, может быть, уже давно бы не было его в живых. Пулемёт с немецкой стороны захлёбывался в частом перестуке, и уж наверняка пуля нашла бы его, не пощадила.

Андрей будто через подушки слышал, как матерился Юрка, сосущая тупая боль в груди не отпускала, немощь появилась в ногах, во всём теле. Он казался сам себе измятым, раздавленным, внутри что-то булькало, как на болоте под сапогами. Как жить дальше, зачем? – этот вопрос словно застрял в голове. И ещё один вопрос – почему так случилось, что произошло?

Он часто получал письма от Анюты, настолько часто, насколько позволяли военное время и обстоятельства. Всё в них было: и грусть, и надежда на встречу. Одного не было – отчаяния. Значит, оно появилось стремительно, иначе Андрей бы уловил его в письмах, как мог подбодрил и утешил. Конечно, оттуда, с фронта, он не мог дотянуться руками, прижать её к себе, приласкать, но душой, любящим сердцем он бы прикоснулся и отогрел её словами, наполненными участием и жалостью. Но, может быть, и не нуждалась в его участии Анюта? Этот вопрос тоже возникал в сознании.

Только после войны, возвратившись из армии, Андрей поехал к матери Анюты, и ему прояснилась причина трагедии. Впрочем, мать, Наталья Ивановна, постаревшая, сторбленная, раздавленная горем, наверное, тоже не знала всё до конца или не говорила ему специально, чтобы не бередить старое. По её словам выходило, что виной стал Серёга Бабкин, по деревенской кличке Барсук, врач, возвращавшийся из отпуска из Парамзина и остановившийся в доме Натальи Ивановны, так как он часто служил кровом для земляков, приезжавшим из дальних краёв или, наоборот, куда-либо уезжающим.

Серёга был хром, за что в деревне ему дали ещё в детстве прозвище Рупь-пять, намекая на укороченную ногу, на которую он смешно припадал. Был Серёга в отца кряжистый, сильный. Перед войной он окончил медицинский институт, его послали работать в Куйбышев в какую-то заводскую клинику. На фронт не взяли из-за хромоты, и Серёга в письмах домой теперь

похвалялся этим обстоятельством: вот, мол, хоть и Рупь-пять, а теперь не на фронте, даст Бог, и уцелеет, не случится с ним того, что происходило со многими его земляками: скорбные похоронки словно кружились над маленьким Парамзином и неожиданно, как снежные хлопья, опускались то на один дом, то на другой. Даже не верилось, что в маленьком Парамзине родилось такое количество солдат, и сейчас они оплачивали кровушкой счастливый миг своего рождения.

Семью Серёги эта беда обходила, хоть на фронте были и отец, и старший брат. Ну, а до него, конечно, война дотянуться не могла.

Он приехал в отпуск летом сорок третьего (даже сейчас непонятно, как его отпустили с работы, хотя, по словам Серёги, на заводе люди работали, не уходя с производства, прикорнув разве что час-другой рядом со станком), недели две пьянствовал и гулял с солдатками. Даже мать Мария Ивановна не выдержала, однажды, уходя утром на скирдовку сена, врезала спящему сыну граблями по лопаткам, да так, что черенок лопнул, и Мария Ивановна в сердцах бросила обломки рядом с кроватью.

Это обстоятельство никак не повлияло на Серёгу. Он почесал ушибленные лопатки, что-то пробурчал невнятное, пьяное и снова захрапел. Мать постояла несколько минут над гулёной-сыном, и ушла в поле. А Серёга спал до полдника, потом поднялся и отправился на пруд, где долго купался, разгоняя похмелье. Потом начинался процесс, который Серёга называл «плеснуть на колосники», то есть опять принимался за самогон.

Самогон в Парамзине научились гнать во время войны, используя в качестве исходного материала (так выражался Серёга) сахарную свёклу, которой были забиты погреба ещё с прошлого года. Напиток был вонючий, с жёлтым оттенком, словно моча, но Серёгу это не смущало, он лил внутрь стакан за стаканом, кряхтел и морщился, наливался бурачной краснотой.

В день отъезда Серёга начал наливаться с утра, и когда мать подогнала повозку к дому, он уже изрядно качался, будто под ним была не земная твердь, а морская палуба в штормовую погоду.

– Постыдился бы, – хмуро проговорила Мария Ивановна, – что люди подумают? Ведь весь отпуск в пьянке провёл...

– А ты что хотела? – Серёга недовольно сплюнул себе под ноги, громко икнул.

– Ничего не хотела, – огрызнулась мать, – но мог и помочь матери. Вон и сено у меня для коровы не заготовлено.

– Отпуск, мать, святое дело, – Серёга опять икнул, – как говорится, нам бы как не биться, лишь бы к вечеру напиться.

Мать ничего больше не сказала – с пьяным какой разговор, молча положила в передок Серёгин обтрёпаный, с протёртыми углами чемодан, и по-мужски причмокнув губами, тронула вожжами лошадь. Серёга, усевшийся сзади, повалился от толчка на духовитое сено, набитое матерью в повозку, и снова захрапел, как норовистый коняга. Он проспал до Грязей, и сон подействовал на него отрезвляюще. Мария Ивановна подвезла Серёгу к вокзалу, пошла к дежурному, оставив сына караулить лошадь и чемодан. Дежурный сказал, что поезд на Мичуринск давно ушёл, теперь надо ждать завтрашнего дня или пристроиться на какой-нибудь товарняк, если, конечно, договориться с охранником. Серёга, узнав об этом, встал в позу, помрачнел ликом:

– Ни на каких товарняках я не поеду. Хватит, учён...

Вероятно, Серёга вспомнил эпизод из своей буйной молодости, когда, будучи студентом первого курса, он ехал домой из Воронежа, ехал, как обычно, под хмельком и на перегоне между Усманью и Дрязгами был сброшен с товарняка такими же забулдыгами-корешами. Эта

поездка обошлась Серёге переломом ноги и вечной хромотой. Тогда Серёга пролежал шесть месяцев в больнице, кляня в Бога и Христа всё на свете и зарекаясь больше не пить. Но, как верно подмечено, зарекалась свинья дерьмо есть, вот так и у Серёги из этой клятвы роковой ничего не получилось.

– Хорошо, – сказала мать, – тогда иди к Тишкиным ночевать.

– И пойду, – медленно, вразтяжку проговорил Серёга.

У Тишкиных он ночевал не один раз, поздно возвращаясь из Воронежа, и ему откровенно нравилось бывать в этом доме, нравилось по одной причине – ему по душе была Анюта. Да что поделаешь – девушка глядела на него равнодушно, как смотрят на пустой чайник, и он в душе психовал. Ох, и красивая всё же Анна, от неё глаз, от заразы, отвести нельзя, да ещё вот, поди же ты, знает себе цену, как пава шагает.

Мария Ивановна после рассказывала, что они расстались с сыном на вокзале. Ей надо было возвращаться домой, лошадь ей в горячее летнее время на полдня дали, а ещё езды двадцать километров. Серёга же подался на Заводскую, где он застал дома только Анюту.

О том, что произошло между ними, знает теперь только Серёга, но с него не спросишь. Видно, верно в народе говорят, сколько кувшину по воду не ходить, а всё равно разбиту быть. Так и у Серёга закончились его пьяные похождения – дракой да тюрьмой, и теперь парится доктор Сергей Бабкин в городе Инте Коми АССР, отбывая срок за неуёмный свой характер.

Мать Анюты домой возвратилась утром после ночного дежурства, застав дома только храпящего гостя. Она растолкала Серёгу, спросила про Анюту.

– А я откуда знаю? – Серёга морщился, крутил головой, точно коняга в жару...

– Но ведь ты её дома видел?

– Видел, ну и что? Как же, беседовали...

– Ну, и о чём беседовали?

– Да так, тары-бары, пустые амбары...

Но заметила Татьяна Сергеевна, что после этих слов Серёга помрачнел, глаза его померкли, потеряли разбитную весёлость, и он вскочил с постели, пробурчав: – Да чего же я сплю-то, а? Мне же к поезду, на вокзал нужно... Вот ведь номер...

Он быстро схватил чемодан, оглянувшись, рванул вперёд и исчез за порогом. Только протяжный скрип дверей больно полоснул по сердцу.

Татьяна Сергеевна ещё минуту находилась в комнате, где ночевал Серёга, вдыхая противный запах перегара. Она вслух размышляла о том, куда делась Анюта, но так и не пришла к какому-либо выводу. Если на работу ушла, а ей надо было в дневную смену, – значит, наверняка должна была встретиться там, в госпитале, а если в магазин, – на Анюте лежала забота по отовариванию карточек – то должна скоро появиться.

Она прошла в комнату Анюты и удивилась: кровать дочери со смятой простыней удивила её не меньше, чем её отсутствие. Анюта была человеком аккуратным, она бы наверняка, уходя на работу, заправила постель, любовно разгладив батистовое покрывало. Что произошло в доме в её отсутствие? А может быть, Серёга виноват в таинственном исчезновении дочери?

Надо было дождаться Анюты, чтоб развеять все сомнения. Но дочь не появилась ни к обеду, ни к вечеру, и Татьяна Сергеевна не вытерпела, пошла в госпиталь. Она поднялась на второй этаж школы, на пост, где обычно дежурила Анюта, сдёрнула с головы ситцевый белый платок, скомкала его, вытерла пот со лба. Ей моментально сделалось жарко, будто на неё пахнуло обжигающим печным жаром. Дочери на посту не было, а старшая сестра отделения Зинаида Степановна проговорила со злостью:

– Не знаю, где её носят черти. На работу не явилась – без увольниловки теперь наверняка судить будут!

Лицо Татьяны Сергеевны сразу, в мгновение, собралось в морщины, которые так и не разгладятся больше, в душе усугублялось ощущение чего-то недоброго, страшного, мерзкого. Она кинулась на вокзал, надеясь найти там Серёгу; если тот не уехал, спросить, что же произошло, куда бесследно исчезла дочь, но попытки были пусты – ни в залах ожидания, ни в ресторане Бабкина не нашла. Видно, давно уехал, и Татьяна Сергеевна бессильно опустилась на дубовый диван, сжалась в комок. Она что-то быстро шептала про себя, ругалась, и на лбу, щеках ещё резче вычерчивались морщины, в которых застывали скорбь и боль.

Через день пришла телеграмма из Парамзина о смерти Анюты, и Татьяна Сергеевна пешком пошла в деревню. С рассветом, когда на востоке только обозначилась узкая, похожая на бордовую ленту, полоска зари. Она шла и падала, поднималась и снова шла, будто спутанная лошадь, и только одна сквозная мысль прожигала душу и сердце: что случилось с Анютой, какая такая беда не разминулась с ней, не обошла стороной?

И чем ближе подходила Татьяна Сергеевна к родной деревне, тем больше крепла в голове мысль: в этой трагедии виноват только один человек, этот проклятый хромоногий Серёга, что, как коршун, влетел в их дом, втоптал в грязь её дочь и скрылся. А она, её кровиночка Аннушка, не выдержала позора, её сердце тяжким камнем придавили страх и горечь.

Материнское сердце – вещун, оно не слукавит, не возведёт напраслину. Через год проговорился родственник Серёги Димка Копытин, живший в Грязях, к которому тогда утром прибежал доктор. Димка, грязно ругаясь и сплёвывая, рассказал, что Серёга ночью пробрался в комнату Анюты, навалился всей тяжестью, что бабочка и пикнуть не успела, как... Одним словом, оскоромился напоследок Серёга у красивой землячки, а она, дура, испугалась, петлю на себя наложила, будто от неё убудет.

...Лежит сейчас Андрей, глядит в потолок, вслушивается в немую тишину, в сердце такая боль, которая, кажется, не исчезнет всю жизнь. В этой тишине она кажется ещё сильнее, пронзительно-острой, словно насквозь протыкает тебе грудь. Одиноко, беспросветно в такое время человеку, будто камнем привалило в глубокой яме. И самое страшное – так будет всегда...

Андрей вспомнил последний год службы в Карелии, где познакомился он с красивой светловолосой финкой Ресмой, бурные ночи в её маленькой квартирке, но странно: ни тогда, ни сейчас ни на секунду не выпускал из памяти Анюту, её острый взгляд, её волосы цвета спелой пшеницы, мягкие ласковые руки. Бывают же такие женщины, которые для мужиков как маяк, как звезда, светят всю жизнь, до последнего вдоха...

В окно бил светлый рассвет. Раздался посвист скворца, усевшегося на самую верхотуру берёзы около дома, и этот посвист вернул Андрея к жизни, к повседневным заботам. Надо вставать, хоть так и не удалось заснуть. Идти на работу, сегодня впереди нелёгкий, как и вчера, день...



## Глава третья

До райцентра от Парамзина восемнадцать километров – добрых три часа ходьбы, и Ольга Силина решила выйти пораньше, чтоб добраться по холодку. Да и опаздывать в Госбанк никак нельзя, вдруг не окажется денег и, как в прошлый раз, придётся ночевать.

Ольга поднялась в пять часов, повела Витьку к соседке, тётке Ксене, добродушной старухе, по дороге наказывая:

– Ты тут не балуй без меня, бабу Ксеню слушай. Да и не убегай далеко. Вернусь – конфет принесу. Хочешь конфет?

– Я хлеба хочу...

– Хлеба, хлеба... – Ольга чувствовала, что начинает злиться, у неё противно засосало под ложечкой, и слюна заполнила рот, а потом ощутимо возникли горечь, тошнота, и она торопливо облизнула губы. – Где ж я тебе хлеба возьму, рожу что ли?

– Там, в магазине, дают, – рассудительно сказал Витька.

Нет, хорош гусь, а? Пять лет всего, а вот, поди же, рассуждает, как взрослый. И смотрит с надеждой. Только одного не поймёт своей головой, пустой пока, как тыква, что хлеб в Хворостинке людям по карточкам дают. А где у Ольги карточки, за какие такие заслуги дадут?

Подумала так, и снова вспыхнула злость в душе. А разве нет у неё заслуг, разве не она проводила мужа на службу и не дождалась? Что, это не в счёт, кобелю под хвост? Но Ольга не стала больше себя разогревать, бесполезное это дело, всё равно что с ветром воевать, никто её не станет слушать. Да и стыдно какие-либо льготы для себя выпрашивать, разве она одна такая? Вон их сколько нынче вдов-горемык по державе, сколько баб в холодных постелях маются, во сне стонут и обливаются горячими слезами. Нет, Ольга как и все, одним горем мечена. Она вспомнила о словах сына, сказала торопливо:

– Да сегодня, небось, и магазины в райцентре не работают.

– Работают! – пропищал Витька.

– Может, и работают, – согласилась Ольга и замолкла. Не хотелось ей огорчать сына, не виноват он ни в чём. А то ещё закапризничает, на крик сорвётся, тогда совсем худо будет.

Тётка Ксения, видно, ждала Ольгу, встретила на пороге, приветливо оголила пустой рот, где только один зуб желтеет. Она перегнулась пополам, запричитала над Витькой:

– Да это кто же ко мне пришёл, да чей же это мальчик такой ласковый, а?

– Витька Силин, – на полном серьёзе солидно пробасил Витька, и даже Ольга, немного раздражённая с утра, заулыбалась растерянно.

– Ох, милочки мои, – опять запричитала тётка Ксения, – а я тебя, Витюшка, сослепу и не признала. Старая совсем стала, как сова незрячая, право слово... А ведь ты подрос, Витя!

Видно, Витьке понравилось это удивление бабки, и он тоже начал улыбаться, закрутил весело головой. Вот, дескать, какой я герой, что меня бабка Ксения не разглядела, хоть вчера виделись...

Самое время Ольге, что называется, брать ноги в руки, сматываться, пока Витька не капризничает. И она торопливо сунула тётке Ксене узелок с харчами для Витьки. Не бог весть какие разносолы – три картофелины, сваренные в мундире, щепоть соли, один сухарь из давнишних запасов, жмуренный, как лицо у тётки, солёный огурец, два пряника, специально припасённые к этому дню. Ну, а хлебово какое-нибудь и тётка сама сварганит, вон, на огороде щавель уже зазеленел, внизу крапива в рост пошла.

Ольга молчком сбежала с крыльца, только тётке Ксене махнула рукой, дескать, оставайтесь здесь с Богом.

Утро начиналось жарким, и хоть солнце только от земли оторвалось, уже было душно, как перед грозой. Но небо было чистое, с редкими светлыми полосками облаков, погода показалась Ольге милой и ласковой. Значит, идти будет хорошо, легко, хоть и пропотеть придётся. Но Ольга привычна к ходьбе; за эти годы, что она в Хворостинку мотается, из неё нужда настоящую спортсменку сделала, поджарую, как гончая собака. Сейчас, весной, идти – одно удовольствие, человек себя вольно чувствует, не то что зимой. Выйдешь по темноте, а над тобой небо чёрное до озноба, звёзды врассыпную накинаны, как из мешка монеты, и мороз обжигающий. Руку высунуть нельзя, обжигает так, что начинают пальцы пощипывать, вроде к стылому металлу прикасаешься или опускаешь в ледяную воду.

И какому умнику пришла в голову идея создать мытарства эти – раз в месяц идти в райцентр за пенсией? Интересно получается: если муж был солдатом, то тридцать рублей по почте присылают, а если офицер – то обязательно в районном отделении Госбанка деньги выдают. Заставить бы этого делягу самого топтать в дождь и стужу по бездорожью или хотя бы один раз из дома в темноту кромешную вытолкнуть – пусть узнает, как глупые инструкции писать.

Ольга поначалу, когда ей ещё в сорок первом, сразу после гибели Фёдора, назначили пенсию, возмущалась заведённым порядком, кипела, как латунный самовар. Но, наверное, так устроен человек: то, что вначале кажется абсурдным, противоестественным, противоречащим здравому смыслу, со временем становится привычным и обыденным. Вот и она привыкла к этим походам, как солдат марширует в любую погоду. Знал бы Фёдор, к каким невзгодам, неприятностям его офицерское звание приведёт.

Ольга до сего времени не знает, верить ли религии, согласно которой для каждого человека существует свой ангел-хранитель, который как бы оберегает тебя, словно бьющийся сосуд, помогает преодолеть тяжкое, сложное, даже самое неодолимое, вселяет силы, наполняет теплом душу и тело... Но вот что таким ангелом-хранителем остался для неё Фёдор, Ольга знает точно. Хоть и отмерила судьба для их совместной жизни такой короткий миг, как вспышка молнии.

Они поженились за год до войны, как раз в июне, едва Ольга закончила десять классов. Надо же ей, дурёхе молодой да красивой, так увлечься лейтенантом из гарнизона, что не раздумывая, поставила крест на все свои детские и девичьи мечты на будущее. Как в прорубь прыгнула в любовь головой вниз. А глаза раскрыла – мутная вдовья судьба вокруг, как осенняя ночь окутала, не разгребёшь, не выберешься, плотная такая, а жизнь давай себе – взялась кости ломать.

Только Ольга не жалеет ни о чём; жалость её только иногда захлёстывает, да и то на короткий срок, и не к себе. А разве она допустит, чтобы кто-то прознал про её тревоги, заглянул в женскую душу? Нет, она держится стойко, как дубок под ураганным ветром: гнётся, да не ломается...

Только самой себе можно признаться, как плохо ей без Фёдора. Так плохо, что, кажется, накатит иной раз – обрывается дыхание, и сама она летит в пропасть. В последнее время часто снится ей, будто падает она то с крыши пятого этажа, кубарем скатывается вниз, то с вышки летит головой вперёд, а там, в бездне, острые, как стальные штыки, скалы, и тогда невольно срывается крик, пронзительный, щемящий, печальный, похожий на журавлиный. Хорошо, что Витька не слышит, спит крепко, набегавшись за день, а то бы испугался.

Витька – яркий маяк, который светит ей в тусклой серой жизни, пронзает, как солнечный луч, все её дела и думы. И как бы плохо ей ни приходилось в жизни, пока есть Витька – она на плаву, как за спасательный круг держится, он – её ориентир, говоря военным языком, к которому приучил её Фёдор.

При воспоминании о Фёдоре она устало улыбнулась. На память пришла их первая встреча в

последние зимние каникулы. Только начался сороковой год, шумные новогодние праздники ещё продолжались в школах, вечерами гремела по радио музыка, весёлая и призывная, от которой кружилась голова, жизнь казалась освещённой, искрящейся, как снег на улице.

Зима была стылая, морозная. Где-то далеко, на Карельском перешейке, гремела война, но в газетах о ней писали редко, а в новогодние дни вообще словно забыли, и если бы не появившийся неожиданно на школьном вечере молоденький лейтенант с рукой на чёрной перевязи, об этой войне Ольга бы так и ничего не узнала. Но лейтенант, оказавшийся крепким, ладным, стройным, неожиданно пригласил Ольгу на модный танец, «Брызги шампанского» назывался, и она вступила на середину зала, услышала беспокойный стук собственного сердца и поняла, что с ней что-то скоро произойдёт, таинственное и радостное.

Лейтенант танцевал легко, правда, одно обстоятельство мешало им закружиться в стремительном танце на полную мощь – раненая рука Фёдора, которая больше смущала его, чем Ольгу. Наоборот, ей было вдвойне приятно с ним – с солдатом, героем, отважным человеком, казавшимся таким романтичным, легендарным, всё испытавшим и повидавшим, словно из недавнего кинофильма «Семеро смелых».

Правда, этот полёт романтики немного испарился, когда они после бала пошли гулять в городской парк за железнодорожными путями. Январская ночь была стылой, с пронзительным холодом, с небом аспидной черноты, на котором дрожали, тоже, наверное, от стужи, несмелые звёзды. Ольге помнилось, что ушли они на край земли, в какую-то глухомань, из которой не выбраться назад, не вернуться к мягким, тёплым огням родного городка, и если бы не спокойный рассказ Фёдора, она так бы и находилась в этом странном мире.

Фёдор же спокойно, как-то буднично, говорил про северную войну, к которой наши оказались неподготовленными, а сейчас расплачиваются звонкой монетой – солдатской кровью. Оказывается, кому-то из военачальников показалось, что Финляндию можно одолеть малой силой, но сейчас, когда натолкнулись на серьёзное препятствие, – линию Маннергейма, приходится вводить в бой и тяжёлую артиллерию, и мощные танки, а линия как гранитная скала, которых, кстати, очень много на этой земле, – не разгрызёшь. Правда, теперь ввели в сражение целую армию, которую возглавил хитрый генерал Мерецков, дела пошли лучше, и очень жаль, что, по всей видимости, война закончится уже без Фёдора. Это нелепый осколок помешал ему увидеть миг победы.

– А как это случилось? – спросила тогда Ольга.

– О, самая прозаическая история, – засмеялся Фёдор. – Разорвался снаряд невдалеке, и как раз от скалы срикошетил осколок. Хорошо, что рикошетом и на излёте, а то мог и совсем руку, как спичку, перебить...

– Ну вот, – испугалась Ольга, – выходит, не такая уж прозаическая. Перебило бы руку, тем более правую, что б делали?

– Научился бы левой стрелять...

– Но на это сколько времени надо?

– Времени всегда хватит, если человек задумает чего-либо достичь. Честное слово! По себе знаю.

– А мне кажется, – Ольга остановилась, скрип колючего снега стих, – я бы там, на фронте, ни секунды не выдержала. У меня бы сердце на куски разорвалось, как тот снаряд.

– Ничего, с нами и девушки воюют!

– Правда что ли?

– Правда. Медсёстры, санитарки, говорят, даже снайперы есть.

Они долго говорили тогда о войне, и в сознании Ольги постепенно создавался новый образ фронта, его жизни, трудной, грязной, изнуряющей, в которой очень мало места оставалось для

романтики и слишком много для страшной, с оглушающе резкими разрывами, с грохотом и громом, со скрежетом мин и визгом пуль. Ольга прижималась к Фёдору, и страх уходил, исчезал, словно поглощался этой траурной мглой ночи. Сколько может человек пробыть на морозе? Они тогда прогуляли часа три, проговорили обо всём – о войне и о прочитанных книгах, о путешествиях, в которых им не приходилось бывать, о намерениях Ольги после школы. Наверное, ни на секунду разговор не прерывался, а когда смолкли оба, выговорившись, уставшие, вдруг вспомнили о времени.

– Да, меня теперь и домой не пустят! – испуганно проговорила Ольга. Эта боязнь появилась неизвестно откуда, домой она всегда возвращалась вовремя, да и ходила только в кино и на школьные вечера. Правда, иногда она гуляла со своими соклассниками, но чаще всего большой ватагой, и всегда находился кто-нибудь, кто вовремя вспоминал о доме, о родителях, завтрашних уроках.

Дома и в самом деле были встревожены её долгой отлучкой. Двери были открыты, и когда Ольга тихо прошмыгнула в свою комнату, она услышала, как закашлял отец, мать что-то говорила вполголоса, а потом щёлкнула задвижкой. И даже младший брат Гриша, которому надо давно было дрыхнуть и видеть свои мальчишеские сны, счастливые и безмятежные, протопал босыми ногами в туалет. Но утром за столом царил мир, и Ольга успокоилась.

Это потом, когда их гулянья продолжались, отец, мужик хмурый, малоразговорчивый, про которых говорят, что он «нашёл – молчит, и потерял – молчит», вдруг возмущённо засипел в усы, что так и голову можно потерять, а матери пора бы спросить, с каким-таким ухажёром пропадает их дочь до зари, где её черти носят и всё прочее. Ольга молчала, хотя себя виноватой не считала.

Наконец не выдержала и мать, как-то наедине спросила у Ольги о её увлечении, и дочь рассказала всё без утайки, о всех встречах.

– Да ты, наверное, влюбилась в него, в этого своего лейтенанта? – со вздохом спросила мать и зашмыгала носом, точно собиралась заплакать.

Мать у Ольги была женщиной горячей, раздражительной, и дочь испугалась – сейчас польются слёзы, крупные, как дождь, а потом и ругань может прорваться. Но мать помолчала, вздохнула ещё раз и сказала примиряюще тихо:

– Ведь тебе учиться надо, доченька!

– А я учусь!

– Эх, девка, какая тут уж учёба...

Она права оказалась тогда, мать, на сто процентов права. Через две недели отпуск у Фёдора закончился, и он снова уехал на свой финский фронт, а Ольга стала ждать писем. Она садилась за уроки, но перед глазами было только одно лицо, Фёдора, крупное, как будто увеличенное большой лупой, и у неё каменело тело, она сжималась в тугий комок, лихорадочно думала о нём: каково ему там, среди скользких камней и замшелых елей, в стылые дни и ночи, в грохоте снарядов и мин, словом, в той ужасной обстановке, о которой он так сдержанно рассказывал? Иногда в её сознании возникали страшные эпизоды, в которых корчился Фёдор на шуршащем, как песок, снегу или истекал кровью в мёрзлом окопе, и слёзы катились по щекам, обжигали лицо... Но письма шли регулярно, короткие, как боевые рапорта, и начинённые такой страстью, что после их прочтения Ольга чувствовала, будто в неё ударил свежий травяной, дурманящий ветер, вырвавшийся из полынной степи, или опалило пламенем костра с горьковатым запахом дыма. В такие дни хотелось смеяться и петь во всё горло, возиться с Гришкой, танцевать – словом, делать всё, что доставляло радость и счастье.

Фёдор появился неожиданно в середине марта, когда было, наконец, подписано соглашение, и эта зимняя война кончилась так же незаметно, как и началась. Он с вокзала

пришёл прямо к Ольге домой, чем страшно взволновал мать, и та, словно испуганная курица, заметалась по комнатам, на ходу убирая разбросанные вещи, что-то шептала про себя. Фёдор – похудевший, почему-то загорелый, от него будто исходил запах костра, хвои, пороха. Ольга прижалась к нему, уже не стесняясь матери, втягивала в себя эти запахи, и у неё закружилась голова.

И снова стремительно побежало время, когда не было даже секунды оглянуться назад в день вчерашний, а только надежды и ожидания вселились в душу, тормозили её, бесшумным шагом устремляли вперёд. После школы она пыталась садиться за уроки, но в глазах стоял Фёдор, а в сознании возникали радостные весенние зори, отчаянное пение птиц, гладь речки Битюг, на которой словно листья лотоса, купались широкие кувшинки, пили студёную воду.

Вечером она бегом бежала к военному городку, который был на окраине, почти в поле. Приходил Фёдор, уставший, пропылённый, шутил: «Эх ты, матушка-пехота, сто прошёл – ещё охота!» И Ольга знала, что сегодня опять был кросс или марш-бросок, а это значит, что её Фёдор вместе с солдатами топал по степи, где уже начинали распускаться цветы, и их густой медовый запах доходил сюда, до городка.

У Фёдора была небольшая комнатуха в гарнизонном общежитии, где висела его шинель с горьким, ещё не выветрившимся запахом дыма и гари, да в шкафу стояли яловые сапоги, в которых он ходил на дежурство. Иногда Ольга заходила сюда, и пока Фёдор мылся, она успевала немного прибраться, стереть пыль со стола и с никелированной казённой кровати, чем вызывала обиду Силина, который в этом усматривал чуть ли не покушение на его мужскую свободу и самостоятельность. Но обида эта таяла быстро, стоило ей прижаться к нему и поцеловать в дрожащие глаза.

Потом они шли в кино или на танцы, а то просто уходили в степь, где до темноты заливались жаворонки, а потом начинали загробно ухать совы, от крика которых становилось страшно, и если бы не Фёдор, не его надёжность, в которую Ольга верила с первого дня, нужно было бы припустить вскачь в городок, испуганно постучать в дверь родного дома.

У родителей Ольги дом был свой, деревянный, не большой, трёхкомнатный, но уютный и тёплый, в котором каждый шаг откликался гулким эхом, скрипом половиц, звеньканьем оконных стёкол. Рядом с домом был сад, двенадцать яблонь-мичуринок да вишни и сливы, которые уже начинали цвести – медовый запах плыл по улице. Они часто бродили по окрестностям, но Фёдор после мартовского посещения больше не заходил в дом. На то была причина. Собственно, не причина даже, а страх перед её отцом. Тот так и не смирился, что его дочь влюбилась, носится, как на крыльях, и совсем забыла об учёбе. А ведь он жил и надеялся, что Ольга станет инженером, таким же железнодорожником, как и он, что на улице, где они живут, соседи будут встречать их с восхищением: «Вот, смотрите, отец и дочь Красниченко – железняки потомственные шагают!»

О потомственности говорить можно было бы без натяжки: дед у Ольги был кочегаром на паровозе, а отец стал машинистом, дальше в глубь времени все поколения Красниченко верой и правдой служили земле, добывали свой тяжкий хлеб в крестьянских заботах. Но Василию Семёновичу очень хотелось, чтобы дочь тоже служила, как он выражался, «по железнодорожному ведомству», ходила бы с ним в депо, где оглашенно, как весенние петухи, поют паровозы, призывно перекликаются друг к другу, словно живые люди, приветствуя и восхищаясь.

Но с появлением этого лейтенанта, будто с небес свалившегося, Василий Семёнович стал задумываться о том, что дочь может оказаться ломтём отрезанным, будет всю жизнь греметь чемоданами. И только слабая теплилась надежда в груди – перебесится девка, перебродит молодое вино, и лейтенант этот исчезнет, растает, как паровозный дым. Пока он об одном

просил Ольгу: не забывать про учёбу, ведь впереди экзамены.

Экзамены пришли, а с ними и первая неудача. Ольга писала сочинение про декабристов, а видела снова перед собой Фёдора, мысленно гладила его гладко причёсанные, с правым пробором волосы, мягкие, как у ребёнка, и конечно, наворочала ошибок столько, что ей с трудом поставили «удовлетворительно», хотя до этого меньше «отлично» она оценок не знала.

Отец страшно разгневался, начал кричать, потом даже не сгодился в рейс – прихватило сердце, и он два дня глотал какие-то порошки и капли. Но Ольгу оценка не огорчила, наоборот, даже развеселила – не будут теперь на неё показывать пальцем, как на задаваку-отличницу, которой любая наука, как орешек, щёлк – и в дамках! За десять лет она и так, слава тебе, Господи, натерпелась от зависти и горьких укоров – хоть в другую школу переходи, только и слышишь: «Красниченко умница, Красниченко – девочка н-нака, славненькая и талантливая!» А ей не нужна эта исключительность, она такая же, как все, только вот её Фёдор любит горячо и страстно, и она до последнего вздоха, до гробовой крышки, век его любить будет. Вот это самое главное, а не то, как пишется слово «корова», через два «а» или через три, будь всё неладно!

Правда, на последующие экзамены она старалась идти собранной, сжимала губы в твёрдую линию, мысленно кляня всё это на чём свет стоит. Больше сбоев не было, отличные оценки красовались теперь в её экзаменационном листе, и всякий раз Фёдор хвалил её, нежно целовал за терпение и собранность, и тёплая волна благодарности к любимому человеку возникала в груди, прорывалась наружу в горячих словах и объятиях.

В середине июня, когда в степи поднялись рослые сочные, играющие зеленью травы и начался покос, а с ним пришли чудные запахи сухого сена, Фёдор сообщил Ольге, что его наградили за финскую кампанию орденом Красной Звезды, присвоили очередное воинское звание и теперь у него будут три кубаря в петлице. Так что, не просто лейтенант, а товарищ старший лейтенант – орденосец Фёдор Силин, и он встал перед ней по стойке «смирно». Эх, Господи, как же всё просто и счастливо было тогда, так просто и легко, как, наверное, может быть только один раз в юности, в неповторимой, не знающей бед и огорчений, наполненной до краёв, как драгоценный сосуд, счастьем! Она в тот вечер впервые не пошла ночевать домой, взяла и осталась у Фёдора в его тесной, но, оказалось, такой уютной комнатёнке-квадрате, и всё последующее произошло у них как будто само собой. Только Ольга потом всё спрашивала у своего любимого: «Тебе хорошо со мной, Федя?», спрашивала часто, точно не верила в своё счастье...

Она и домой утром летела, как парила на крыльях, хотя знала, что разговор предстоит тяжёлый. Отец наверняка разразится бранью, заскрипит зубами, как пьяный, хоть он почти никогда не пил, а мать встанет у притолоки двери как вкопанная, будет смотреть на неё неподвижными глазами, полными сочувствия и боли.

Но даже её фантазии не хватило, чтобы представить, что произойдёт у них дома в то утро. Отец, с красными, как у окуня глазами, видно, не спавший всю ночь, встретил её на пороге, прикрыл спиной входную дверь, тихо прошептал: «Иди отсюда, шлюха!» Нет, лучше б он её ударил резко, наотмашь, прибил камнем, как бездомную собаку, но не вот так, с каким-то остекленелым спокойствием, с заторможенностью в словах и взгляде, сразил наповал, как убивают утку влёт, и сердце у неё, оказалось, ухнуло вниз.

Только в комнатухе у Фёдора она дала волю собственным чувствам, слёзы покатались из глаз тяжёлые, как августовская роса, плечи заколотились в мелкой дрожи. Фёдор ещё не ушёл на службу, только драил сапоги, и Ольга бросилась ему на грудь. Наверное, он обо всём догадался, не стал спрашивать, что произошло, только подхватил на руки, уложил на скрипучую постель, сам уселся в изголовье, положив горячую руку на её лоб. Потом он вскочил, попросил его подождать и скрылся за дверью.

Ольга отошла, успокоилась минут через тридцать, страх и обида истаяли, иссохлись... Надо было жить дальше. Её дух, воля, наверное, приподнялись над всем случившимся, и она, ощущая себя в какой-то необычной вышине, теперь попыталась спокойно, рассудительно обдумать случившееся. Но не успела. Фёдор стремительно распахнул дверь, схватил её за руку, потянул: «Пошли».

– Да куда идти-то? – испуганно прошептала Ольга.

– Пошли, – снова твёрдо сказал Фёдор и потащил её по лестнице вниз. Она пыталась сопротивляться, упираться ногами, не ведая, что он надумал, и боясь, как бы это не обернулось новой встречей с отцом, но Фёдор тянул настойчиво, и она сдалась, глотала сочный, ароматный воздух, словно загоняла вовнутрь, подальше в себя то болезненное, обидное, что с ней произошло.

Фёдор притащил её к контрольно-пропускному пункту части (это словосочетание Ольга запомнила из его рассказов), подтолкнул к скамейке, приказал:

– Сиди и жди! Пять минут!

Он и в самом деле появился минут через пять, точнее, выскочил из чёрной «эмки», снова решительно приказал:

– Садись, поехали!

Снова возникло в груди чувство тревоги и озабоченности, но Ольга сдержалась, не стала спрашивать, молча села в машину, а Фёдор сказал шофёру, молоденькому солдату с выпуклыми настороженными глазами:

– Давай в центр...

Центральная улица их городка начиналась за железнодорожным переездом и называлась Кооперативная. На этой улице, широкой, мощённой булыжником, они нередко прогуливались с Фёдором, ходили в кинотеатр, смотрели чудесные фильмы, но сейчас ей было не до приятных воспоминаний, в голове билась одна мысль, что надумал Фёдор? А он приказал остановить автомашину рядом с городским судом и, оглядев пристально Ольгу, с улыбкой воскликнул, подводя её к скамейке:

– Невеста! Сиди здесь!

И умчался. Но скоро вернулся – получаса не прошло, а она так и стояла, не севши. «Эмка» тут же уехала.

– Какая невеста? – наверное, в это время у Ольги был мрачный взгляд.

– Моя невеста, – теперь уже с улыбкой сказал Фёдор. – Моя!.. Ну давай, пошли.

Это категоричное «давай», видимо, у Фёдора любимое слово, и она, ещё не всё поняв, взяла его под локоть.

– Ну, теперь положено улыбаться, – снова весело сказал Фёдор, – и желательно во весь рот...

– Что ты задумал, Федя?

– Ничего особенного. Жениться решил. Как, одобряешь?

– Смеёшься, да? А мне не до смеха...

– Не хочешь – будь серьёзной. Впрочем, невесты всегда были на свадьбе серьёзные. Их будущее пугает. Но ты не бойся. – И он взял её под руку, прижался к плечу: – Ну, говори быстро, хочешь за меня замуж?

– Хочу... – Ольга эти слова пропищала быстро, не раздумывая, и Фёдор подтолкнул её вперёд, к городскому ЗАГСу.

– Да ты что, дурачок, – испугалась Ольга. – Как замуж? При мне даже паспорта нет...

– Э, да ты, видать, меня плохо знаешь, – Фёдор быстро выхватил из кармана галифе её паспорт, покрутил около носа и снова заулыбался. – Невеста не может быть без паспорта. Ты

думаешь, зачем я исчезал? И с мамочкой твоей объяснился.

– Ну и что она сказала?

– Благословила, вот что!

– А отец?

– В поездке отец... Но, я думаю, он согласен...

Даже сейчас помнит Ольга всё до единого слова, весь тот разговор перед ЗАГСом, до единого жеста... Она не сомневалась, что мать была согласна на всё, а вот отец... Но в ЗАГС она вступила решительно без всякого страха и смущения. Только одна мысль застряла в голове: «Ведь она же школьница, ей экзамены сдавать».

– А экзамены ты свои сдашь... – Фёдор точно прочитал её думки, – обязательно сдашь...

Из ЗАГСа они возвращались пешком. День был яркий, солнечный, навстречу шли озабоченные люди с сумками, авоськами, мешками, пожилые и старые, иногда мелькали и молодые лица, но повседневные заботы, земные тяготы их словно отделили от Ольги и Фёдора. Наверное, удивлялись прохожие, глядя на них: откуда это среди рабочего дня возвращается развесёлая пара, у которых счастье прямо брызжет из глаз?

Но где-то в глубине души Ольги жили смятение и тревога, напоминающие о том, что вряд ли простит отец поспешное замужество, оно будет для него всё время красной тряпкой, распалюющей его гнев, тем глубоким рвом, который отделит её от семьи, от родных людей – матери, братишки. «Ну и пусть, – думала Ольга, – пусть ему стыдно будет за то, что лёг поперёк счастья дочери».

Вечером в их комнатку набилось человек пятнадцать друзей Фёдора, и стало весело, жарко, как в бане. Наверное, она сияла в тот вечер, окроплялась искристым потом от вина, веселья, песен. Они веселились долго, пока над городком не посветлело небо, подтянуло облака. Розовый лоскут зари рос на глазах на востоке, окрашивал степные травы, делал их необычно красивыми, превращал в сказочные ковры с замысловатыми рисунками.

Эх, жизнь-жестянка, почему ты так устроена, что то «самое-самое» бывает один раз, как искра молнии, сверкнёт и больше не повторится, только память держит долго-долго, а вот горю, страданиям, бедам конца нет? Неужто кто скупой на весах отмеривает радость на граммы, а сомнения, тяготы, изнурительную работу щедро разбрасывает пригоршнями, ворохами? И так всю жизнь, пока человек не подтянет свою судьбу к финишу, за которым тьма, конец жизни, песни, тепла, радости.

Через три дня Ольга пошла в школу сдавать последний экзамен и неожиданно оторопела, когда её окликнула Лидия, – Лидия Тихоновна Лосева, худая, злая, истеричная. Учительница географии три года была классным руководителем у Ольги, на каждом собрании срывалась, кричала и топала ногами, так что ребята сначала возненавидели её, потом жалели: больной человек! Сейчас Лосева закусил губу то ли от усталости, то ли стремясь сдержать себя, сказала как можно тише:

– Отец твой приходил.

– Ну и что?

– Ты что, в самом деле замуж вышла?

– Да.

– Ну, вот видишь, – Лидия Тихоновна откинула назад голову, раздвинула холодные губы в подобие улыбки, – подвела ты отца, под корень подрубила...

Не хотелось Ольге вступать в ненужный спор, кто прав или не прав, она сглотнула что-то солёное, образовавшееся во рту.

– Ну, я пошла, Лидия Тихоновна?

– Подожди, подожди, – учительница протянула к ней свои шелушащиеся ладони, – ведь



тебя поздравить надо. Ладно? От души, от души...

Рассудило ли время? Наверное, по-своему рассудило. Оно само определило, кому жить, а кому умереть, кому топтать землю, траву, видеть рассветы и закаты, солнце в чистом, как вода, сквозном небе, а кому угаснуть. Отец Ольги пропал без вести в сорок первом. Ни приветов, ни ответов, даже могилу найти невозможно. Где нашёл он последний приют?

Читала недавно в газете Ольга, как в одном украинском селе начали копать погреб – вдруг лопата упёрлась в металл, заскрежетала. Обкопали вокруг – каска, а под ней солдат во весь рост с винтовкой. Только косточки и остались. Какая трагедия произошла там? Может быть, взрывом бомбы привалило несчастного в окопе так, что и крикнуть не успел, слово «мама» не промолвил, а может быть, танком сдавило, и остался солдат в окопе, как в могиле, на все времена...

Слёзы сами побежали из глаз, горячие, обжигающие, и всё вокруг стало каким-то неприятным, серым, даже холщовые облака по краям неба стали грязными, точно их пропитала дорожная пыль. Только тишь, мирная тишь, повисшая над полями, над степным раздольем, оставалась прежней, от неё даже в ушах ломило и так одиноко, бесприютно на душе, сиротой себя чувствуешь, обиженным и оскорблённым.

И впервые за всё утро почувствовала Ольга голод, в пустом желудке собралась какая-то тошнота, тяжесть, даже боль. Теперь самое время перекусить – отдых себе устроить, тем более что Дёмин сад вот он, почти рядом. Усесться там под кроны душистой черёмухи – лучшего места не сыскать, только нет у Ольги харчей с собой. Нету, и весь разговор. Потому что и дома ничего нет, она вчера вечером последние три картофелины сварила, припасла для Витьки на целый день, пока в райцентре будет. И нечего себя распалать насчёт еды, только одна маята для самой себя, для желудка. А отдохнуть она и так сможет, присядет, ноги вытянет, и усталость сама отступит, словно испарится под холодком Дёмина сада.

Словно стараясь отвлечь себя, стала Ольга думать о Дёминском саде, о его истории, будто это было важно для неё сейчас. И вспомнила, как Фёдор рассказывал, когда они впервые ехали к его матери, о том, что была здесь когда-то красивая барская усадьба с белым кирпичным домом, с круглой ротондой, и селились здесь голосистые соловьи. Может быть, от них научилась петь, набрала силу своему голосу дочка помещика, которая стала теперь всеюгодно известна, народная и прочая заслуженная артистка... Вот только интересно, вспоминает ли она о своём родовом поместье, и как вспоминает – с грустью или безразлично? Вряд ли безразлично, ведь человек – существо по своей сути тонкое, лирическое, его мозг, точно книга, – детство хранит вечно, и звучат в нём неповторимые голоса давнего времени. А может быть, выходит петь артистка, а вот этот сад зацветающий, черёмуха, как облитая молоком, стоит у неё перед глазами. Ведь помнит же Ольга свой родной городок – каждую улочку, каждый дом, хоть давно уже не была там, да и похозяйничала война, будто злой ураган...

Она уселась на холмик, заросший мятликом – шелковистой травой, похожей на девичьи косы, и снова нахлынули воспоминания. Видно, день у неё сегодня такой, в гости память позвала и не отпускает. Вот снова Фёдор вспомнился, красивый, улыбающийся, в день её последнего экзамена. Тогда она подавила в себе раздражение, вспыхнувшее после разговора с Лидией, и отвечала по истории, будто на сцене выступала, с красивыми театральными жестами, слова произносила твёрдо, будто гвозди вколачивала. И комиссия единодушно поставила ей «отлично», поздравила с окончанием школы. А потом позддравил Фёдор, прибежавший к вечеру из части, радостный, запыхавшийся.

– Ну, – сказал он тогда, – теперь давай определяться, в какой институт тебе поступать... Сама решай в первую очередь...

– Да ты что? – Ольга и сейчас помнит, как вспыхнула в ней кроткая ярость. Какой к чёрту

институт, когда рядом с ней он, её муж и опора? В городке никаких институтов нет, а ехать куда-нибудь, оставлять одного – нет уж, увольте. Обойдутся институты и без неё, она там душой изведётся, ей ни одна наука в голову не пойдёт, а только будет стоять в ушах гибельный мрачный звон, а в сердце поселятся пустота и тоска. Об этом и сказала Фёдору, но он отрицательно покачал головой, сдавил пальцами подбородок. Была у него такая привычка в минуты раздумий – будто этим жестом заставлял мысль лихорадочно работать...

– А как же твои мечты? Ведь мечтала ты о чём-нибудь? Скажи, кем тебе хотелось стать, – может быть, в детстве, может быть, позже?

Ольга вяло повела рукой – не могла она ответить. Нет, конечно, она о разном мечтала, да и время такое было – романтическое, вдохновенное, ликующее. Она вспомнила, что после полёта Валентины Гризодубовой с подругами на Дальний Восток у них в классе все девчонки стали думать о профессии лётчицы, она тоже не раз представляла себе, как вырвется на самолёте к серебристым облакам, расправит плечи, запоёт песню так, что вся страна услышит. Но ведь несерьёзно всё это, как несерьёзна была их мечта повторить подвиг челюскинцев, на разломанной льдине жить и работать, любить и замерзать, рожать девочек по имени Карина... Не хотелось ей быть и железнодорожным инженером, как мечтал отец.

Однажды тот повёл её в депо, наверное, специально, чтобы дочь загорелась, прониклась уважением к будущей работе, но у Ольги от этого посещения только грохот и скрежет металла остались в ушах, оглушительный рёв паровозов, да память сохранила прогорклый запах угольного шлака и серебристую пыль на лице.

Не-ет, решила она тогда, это не для неё. И даже если б не встретился Фёдор, она бы не посчиталась с желанием отца. А теперь и вовсе.

– Я вот, – продолжал Фёдор, – решил в академию готовиться. Уж если служишь – значит, надо военное дело знать в совершенстве. Так классики советовали.

– Ну и хорошо, – улыбнулась Ольга, – а я и тогда буду твоей женой. Может быть, обо мне даже газеты напишут: «Жена видного советского военачальника Фёдора Силина...»

– Да ведь это глупо, – рассмеялся Фёдор.

Кажется, тогда в первый раз легла печаль на его лице, но Ольга не думала уступать, сказала как можно миролюбивее:

– Может быть, и глупо, милый, только моё решение однозначное. А потом – нужен тебе хранитель домашнего очага, чтоб тяжёлое, сложное дело своё ты одолевал легко, без надрыва, а? Может быть, это самая главная должность на земле для женщины. Мужа борщом кормить, детей рожать... Хочешь, я тебе сына рожу?

– Хочу. – С лица Фёдора исчезла печаль, лёгкая улыбка осветила его.

– Ну, вот видишь, а как же я это сделаю, если ты меня за парту засадишь?

Господи, какая нелепость, какое безумие жило в ней тогда! Наверное, счастье делает человека немного глупее, беспечнее, но тогда Ольге так не казалось. Наоборот, она чувствовала себя правой, и эта правота придавала ей силы, убеждала, что ни один жизненный поворот не собьёт её с ног...

Она поднялась, отряхнула юбку. Надо продолжать дорогу, вон уже солнце зависло почти над головой – такой оранжевый круглый кусок масла плывёт в голубизне.

Опять захотелось есть, но она успокоила себя: вот получит пенсию и пойдёт в райцентровскую чайную, а там горячие щи, хоть и из перекишенной капусты, каша-перловка, сытная такая вещь, после которой тянет на питьё, чай с сахаром. Дорогие обеды, что и говорить, но Ольга «с полочки» никогда себе в том не отказывает – иначе не дойдёшь назад, упадёшь где-нибудь в поле от усталости.

Она даже вздрогнула от этой страшной мысли, и на память пришёл давнишний случай,

страшный, душераздирающий. В начале войны, когда нечем было топить дом, вечером на Святки пошла она в поле к скирду за соломой. Скирд стоял недалеко от Парамзина, как раз около Голой окладни, но днём туда не пойдёшь – что люди скажут? Ещё воровкой обзовут, а то и в правление потянут. А ночь – время святое, никто и не увидит, но если и увидит, то промолчит. Не одна она к скирду мотается.

Она надела фуфайку, сверху шинель Фёдора (слава Богу, пригодилась в трудную годину, про эту шинель целый день можно рассказывать), перепоясалась широким комсоставским ремнём и шагнула за порог. С пустыми салазками добралась быстро, вязку навьючила большую, привязала к грядущкам. И назад, с Богом. Впрочем, какой уж Бог, никогда Ольга не верила и верить не собирается ни в Бога, ни в чёрта. Верить можно в добрых людей, только их, как грибы в сушь, не часто встретишь.

Но пришлось Ольге ещё раз про Бога вспомнить в этот вечер. Метров через двести от скирда услышала она тихий шелест соломы сзади и испуганно оглянулась. Оглянулась – чуть не обмерла: сзади за салазками три крупных тени, горят, как жёлтые фонари, глаза, горячим светом брызжут в темноту. Волки, кто же ещё, быстро сообразила Ольга, и молодец, что сообразила. Где-то читала она раньше, в книжке или журнале, что в таком случае лучше не останавливаться, двигаться в прежнем ритме. И она большим усилием воли заставила себя спокойно тащить салазки. Наверное, звери давно готовились наброситься, вгрызться зубами в тело, растерзать, но мешала эта шуршащая солома, отделявшая от них человека, а обойти, напасть с боку – им эта тактика не подходит.

Смертный озноб словно сковал тело, холодный пот заструился по спине, но она шла и шла, грудью вдавливаясь в верёвку, как добрый коняга. И только дышать старалась тише, чтоб не раздражить зверей, тогда всё, надо ставить точку.

Так и шли они по заснеженному полю – впереди Ольга, гонимая страхом за собственную жизнь и жизнь Витьки, которому и года нет, в середине – вязанка соломы, а сзади волки. И только у межи, за которой начинались деревенские огороды, волки отвернули вправо, ушли в поле.

Никогда раньше и позже Ольга так не трусила, а в тот вечер возникла в груди вязкая сосущая боль и ей всё казалось, что идут за ней волки, она слышит их дыхание, видит возбуждённые огоньки глаз. Может быть, ещё раз было боязно – когда рожала сына, но тогда она словно начинена была радостным ожиданием, и когда ей сказали, что родился сын, она готова была прыгать на кровати. Она представила, как ликует её Фёдор от этого известия, как улыбается, зажимает до боли подбородок, и готова была ещё раз пережить все муки и страдания, лишь бы доставить радость любимому...

Родила Ольга в апреле сорок первого, а на Первомайский праздник пришло страшное известие. В тот год перед началом мая долго лили дожди, и Ольга, просыпаясь дома, не могла даже понять, плачет ли сын или всхлипывает за окном вода в переполненных лужах, хлопает пузырями. Но перед праздником что-то переломилось в природе, улёгся ветер, поползли по краям неба тучи, и вместе с тишьёю пришли на землю долгожданное тепло, уютная благодать.

Солнечным Первомайским утром Фёдор ушёл «на парад» – в их городке праздники отмечали весело, шумно, с нарядными демонстрациями, а перед этим на Кооперативной проходили солдаты, подтянутые, стройные, с песнями. Гремел оркестр и, кажется, у каждого, кто находился в этот день на центральной улице, воздухом наполнялась грудь, хотелось маршировать вместе с солдатами.

Ольга ждала мужа к обеду, урывками, пока спал Витька, приготовила вкусный борщ, потушила мясо, под краном остудила водку – сегодня сам Бог велел пропустить рюмку. Но миновал полдень, солнце склонилось к закату, а он всё не возвращался, и в голову полезли

мысли – одна нелепее другой. А вдруг они загуляли с ребятами – праздник – известное дело, и за звоном стаканов забыли о семьях, о близких, или ещё хуже, заглянули к каким-нибудь распутным девицам – мужики и на такое способны, не случайно, видимо, сосед-майор Кольванов как-то сказал в присутствии своей жены: «А я хочу, чтобы Фрося (он показал пальцем на жену) ко мне, как к собаке относилась, – и помолчав, добавил: – Чтоб три раза в день кормила и на ночь с цепи отпускала».

Тогда все посмеялись над этой шуткой, а сейчас в голове теснятся мысли – а вдруг и в самом деле мужикам свободы захотелось? Она, эта свобода, как сладкий мёд, влечёт и манит. Но подумав хорошенько, Ольга одёрнула, пристыдила себя, как могло ей прийти в голову подобное, от воспалённого воображения, может быть, ведь любит её Фёдор и наверняка ни на кого не променяет. Она успокоилась, села к окну, стала вглядываться в густеющую темноту, пока не устала.

Муж появился дома часов в одиннадцать и сказал с порога:

– Готовь чемодан, Оля.

Был он трезв, как стёклышко, и Ольга поняла, что не праздничные симоны-гулимоны стали причиной его задержки, а дела служебные... Он присел к столу, вытянул устало ноги, продолжил:

– Приказ нам объявили – переводят часть в Западную Украину. Завтра уже в эшелон грузимся, а сегодня имущество своё паковали.

– Что случилось, Федя? – с тревогой в голосе спросила Ольга.

– Да ничего пока. Мы же военные люди, Оля. Сказали: чемоданы в руки – и вперёд. Может быть, к войне Сталин готовится. Только с кем воевать? С немцами у нас договор, с финнами перемирие, так что и противника нет. Значит, ничего страшного...

– А как же я? – спросила Ольга тревожно.

– Ты не волнуйся, Оля. Поживёшь у моей мамы в деревне, там хорошо, вольготно. Для Витька молоко будет. А потом... Потом ко мне переедешь. Найду же я там какую-нибудь квартиру! Так что не скучай, ладно?

– Ладно, – тихо сказала Ольга, и слёзы навернулись на глаза. – Только как я к твоей матери поеду?

– Я уже договорился. Завтра с нашим эшелоном до Грязей, а там придумаем, как до Парамзина тебя переправить.

– А мои родители? Ведь они и знать не будут, куда я пропала... Сходить, хоть сказать!

– Письмо напишешь.

Этот вариант показался Ольге наиболее подходящим: не надо снова переживать и волноваться, глядеть в плачущие глаза матери, опускать бессильно голову, ощущать, что внутри тебя не душа, страстная и любящая, а ледяная скорлупка, наглухо закрывшая сердце. Откуда это у Ольги, она и сама объяснить не могла, только нет у неё пока желания идти на примирение, преодолеть барьер неприязни в сердце. Не возникло оно и несколько месяцев назад, когда мать появилась у неё на квартире, повздыхала, поахала, глядя на её округлившийся живот, но что-то так и не дало ей сделать шаг вперёд, преодолеть, и они, поговорив несколько минут, расстались холодно и равнодушно.

Это потом, когда пройдёт Ольга через суровые потрясения в жизни, вспыхнет в ней, как пламя, душевное тепло к матери, дому, брату, отцу, вспыхнет ярко и, наверное, теперь не погаснет до самых последних дней, а тогда... Тогда она чувствовала себя правой, защищала свою любовь, а во имя любви разве угадаешь, предусмотрит, что совершит женщина? Недаром над таинством женской души бьётся человечество и разгадать не может...

Ольга перегладила гимнастёрки, бельё, уложила бритвенные принадлежности, одеколон,

мыло и пока закончила всю эту немудрёную работу, рассвет встал за окном. Она на несколько минут прилегла на кровать, где безмятежно спал Фёдор, уставилась в ещё не рассеявшейся темноте на его спокойное, показавшееся мальчишеским лицо, перебирала в памяти всю их короткую совместную жизнь и получилось, что в ней, как в интересной книжке, волнующим было всё – и пролог, и сюжет, и эпилог. Впрочем, об эпилоге Ольга подумала с улыбкой – какой там к чертям собачьим эпилог, когда жизнь только начинается, всё у них впереди с Фёдором, и эта разлука – разве на век?

Она забылась в коротком тяжёлом сне, а потом затрезвонил будильник, запищал Витька в колыбели, и Фёдор потопал босыми ногами к умывальнику. Надо было подниматься, начинать новый день, неизвестный и тревожный.

В эшелон они погрузились среди дня. На товарной площадке, где стояли теплушки, звучала гармошка, солдаты плясали, словно ничего не случилось. И Ольга, наблюдая это веселье, тоже отошла душой, на миг отлегла тяжесть от предстоящей разлуки. Она глядела, как, свесив ноги из вагона, молоденький солдат с короткой чёлкой играл на рояльной гармошке, пел дурашливым голосом:

А мы с милкою прощались  
На телячьем стойле.  
Целовались, обнимались,  
По-собачьи воили...

Смеялись солдаты – молодые, здоровые парни. Хохот этот сгонял грачей с берёз в полосе, те кричали противно, с надрывом. Тут, наверное, впервые в жизни Ольге подумалось: уж не поминальный это крик для беспечных молодых людей, у которых сейчас играет кровь, их влечёт вперёд жажда жизни, стремление к новым, неоткрытым местам. Наверное, у неё были странными глаза – такие тёмные, с грустью и горечью, какими они бывают у человека, неожиданно оказавшегося у края пропасти или перед трясинной, когда ещё один шаг – и ни дна, ни покрышки.

Из-за туч выкатилось солнце в жёлтом овале какое-то испуганное, и это тоже показалось Ольге плохим предзнаменованием. Она, возможно, разревелась бы, если бы не подбежал Фёдор, подхватил коляску с малышом, подал её в теплушку, а потом и саму Ольгу поднял, как сноп, шепнув на ухо:

– Сейчас поедem...

В Грязях они оказались на другое утро. Ясное, бездонное небо играло и струилось светом, рядом со станцией в густых зарослях придорожной полосы заливались соловьи. Мир царил на этой земле, добрый, сердечный мир, и Ольга спокойно уходила от эшелона, хотя понимала, что ещё несколько минут, от силы час-другой, и предстоит прощаться, погружаться в новую жизнь.

Около вокзала Фёдор пошёл за попутной подводой, оставшиеся деньги сунул в сумочку – на всякий случай, и крепко прижал жену к себе. Брызнуло из глаз, но Ольга сдержалась, не разревелась в голос. Она считала, что женщины должны провожать солдат мужественно, без крика, чтоб не надрывать их сердца, не ожесточать, ведь солдат тоже человек, и он помнит родной дом, родные лица, защищает и бережёт их, тем более, что она видела, как борется сейчас с собой Фёдор, старается ни словом, ни взглядом не породить в ней горечь и тоску.

Потом, много раз думая об этом их расставании, Ольга укоряла себя, почему она не разревелась тогда, не заголосила протяжно, по-бабьи, не бросилась на шею, не обвисла безвольно? Ей почему-то казалось, что сделай она так, и Фёдор остался бы жить, судьба его

сложилась бы по-другому. И сейчас она так же думает, хоть понимает – слабое утешение выбрала для себя...

Три письма получила Ольга от Фёдора – первое в мае, радостное, с подробным описанием их дорожных приключений, с выражением надежды на скорую встречу, а два других – более сдержанных, хоть в последнем муж сообщал, что наконец-то нашлась небольшая квартирка у одной пани и, наверное, он поступит так – приедет в отпуск (он ему положен), за отпуск и перевезёт её с сыном.

Чутким женским сердцем Ольга чувствовала, что, видно, Фёдор что-то недоговаривает, практически ничего не пишет о службе. А когда грянула война – поняла. Наверное, он всё-таки сознавал, сколь зыбок их мир, их жизнь там, на западной границе. А может быть, и не думал ничего, просто жил надеждой на благополучный исход, на предстоящую встречу, кто теперь скажет...

В Парамзине Ольга прижилась быстро, благо, с Натальей Ивановной они быстро поладили, зажили тихо и мирно. В этом большая заслуга, если это можно считать заслугой, бабы Натальи, как звали свекровь на деревне. Словно угадывала все желания снохи и незаметно, без внешнего подчёркивания, по-матерински ухаживала за ней и Витькой, учила премудростям деревенской жизни, с которыми Ольге не приходилось сталкиваться раньше.

Прежде всего она научила её доить корову. Оказывается, и это простое, на первый взгляд, дело требует навыка. Правду говорят, что не умеючи блоху не поймаешь. Доить надо не пальцами – устанешь быстро, да и путём не подоишь, а кулаком, тогда руки меньше напрягаются, и Зорька стоит послушно как вкопанная. Потом свекровь показала, как надо окучивать картошку на огороде, сгребать сено, да и косить, что вообще раньше казалось Ольге таким сложным делом, своего рода высшей математикой.

Витька крохотный будто тоже проникся любовью к бабке и только покряхтывал, пытался улыбаться при виде Натальи Ивановны – высокой, статной, ещё не утратившей красоты женщины. Бывают же такие люди, которые даже к старости стройны и деятельны, их глаза не утрачивают молодого блеска и притягательности. У Натальи Ивановны были они тёмные, бездонные, с неведомой притягательной силой, они словно приманивали к себе человека, высвечивали изнутри.

Услышав о начале войны, Ольга буквально заболела, и что-то передалось Витьке: стал беспокойно спать, запоносил, ночью покрывался холодным потом.

– Да ты, видать, заплошать хочешь, девка, – сказала ей Наталья Ивановна спокойно, – а в твоём положении этого никак нельзя! Чай, младенца грудью кормишь, а от беспокойства молоко разжижается. Вот он и блажит, малыш-то. Ты теперь должна спокойной, как корова, быть, святое дело делаешь – мужика растишь.

Ольга хотела обидеться – хорошо ей так рассуждать, свекрухе, у неё муж не на фронте... Но моментально словно наступила себе на язык: разве не слышит она, как протяжно вздыхает и стонет по ночам женщина, разве не мать она Фёдору? Нет, видать, связала одной верёвкой их судьба, и об одном человеке они вздыхают и вспоминают. И ещё неизвестно, кому он из них дороже – жене или матери? Да и не надо это на весы класть, всё равно точно не взвесишь, не высчитаешь.

Дней через семь, когда Ольга немного успокоилась и Витька перестал капризничать, она пошла в сельский Совет: как жить дальше? Председатель Иван Васильевич Черкасов, мужик лет под шестьдесят, седой, как лунь, долго стучал костяшками пальцев по столу, сказал глухо:

– Что делать? Работать надо...

– А где?

– Иди в поле, милая, у меня конторы нету.

Она обиделась – какое там «поле» для неё, горожанки, но по дороге домой обдумала всё и усмехнулась. А ведь прав он, председатель: сколько продлится война – одному Богу известно, а кормиться надо, пить-есть каждый день. Теперь о ней заботиться пока некому, где Фёдор – неизвестно. Сегодня четвёртое июля, а последнее письмо она получила шестнадцатого числа прошлого месяца. Значит, что-то у него не так, иначе он бы отозвался, написал бы хоть короткую весточку. А может...

Самая чёрная дума вселилась в голову. Как знать, может быть, простился её Фёдор с родной землёй, с любимой женщиной и сыном, которого он ждал и надеялся увидеть шагающим по траве, по холмам и долам, по росным лугам, а может быть, он не успел даже это сделать. Эх, если бы могла она тогда знать, что именно в этот день сложит голову её Фёдор! А что она сделала бы? Закричала во весь голос, повалилась в дорожную пыль, облилась горячими слезами?.. Разве это спасло бы Фёдора? Разве он услышал бы её за тысячи вёрст?

Ольга покачнулась, застонала тонко – велико бабье горе, да кто о нём услышит, кому всё расскажешь? Даже сейчас, когда война окончилась... А тогда она вернулась к свекрови, сказала обыденным голосом:

– Завтра в поле надо идти...

– А малыш?

– Буду прибегать, кормить...

– Э-ге, так не годится, девка. Эдак ты скоро ноги волочить не будешь. Уж лучше я его к тебе носить буду.

– Да ведь и вам тяжело...

– Ничего, я жилистая.

Так она стала жить-поживать, только не сказочной жизнью, а трудной, сдавленной работой и хлопотами. Но разве только она так жила? Вон и соседи их – Дашуха, Мирониха, бабка Мореева – они чем лучше? Война, она всех сравняла, животы вдавила, иногда от голода выть хочется...

Похоронка на Фёдора пришла уже в середине июля. Привёз её почтарь Гаврила Клоков, мрачный старик, который возил летом почту на скрипучем велосипеде, который вроде стонал под могучим телом старика, а зимой – на санях, запряжённых тишайшей Карпеткой, рыжемастной кобылой, не знающей другой скорости, кроме шага. Привёз прямо в поле, где Ольга вместе с другими бабами первый день вязала рожь.

Рожь в том году выдалась высокая, увесистые снопы казались даже на вид неподъёмными. Для Ольги вязание снопов тоже оказалось целой наукой, никогда раньше не приходилось ей этим заниматься, но помогла Нюрка Лосева, ловкая, поджарая баба с приметной в руку толщиной косой, рыжеватая, веснушчатая. Она замочила в пруду старновку для перевязи снопов, и на Ольгину долю тоже, солома стала гибкой, как резина. Из такой легче готовить перевязку, зажав между колен один конец и перекрутив второй.

Несложная наука, да для кого как! Ольга долго глядела, как работает Нюрка – честное слово, руки вроде как крылья у лобогрейки, над землёй порхают, попробовала сама – не получилось. Хоть ты в голос кричи, не вяжется сноп такой тугой, как у Нюры.

– Ты не огорчайся, подруга, – сказала Нюрка, улыбаясь, – до копны донесёшь – и ладно...

– А дальше как?

– Ха, дальше ещё неизвестно, придётся ли молотить в этом году...

– Да ты что, о чём подумала?

– А о том, дорогая подруженька, что немец прёт, как на коне скачет. Глядишь, и к нам скоро заявится. И тогда торопись, бабы, поднимать юбки...

– Ну, это ты брось, – выпрямившись над снопом и зло сверкнув тёмно-синими глазами,

будто молния из тёмных туч, сказала Ольга, – не допустят наши парни немцев сюда.

– Ещё как допустят, – засмеялась Нюрка, – гляди, как прут, у наших только пятки сверкают!

Показала, как надо коленом спрессовать рожь, чтоб ту же сноп получился – ловко у неё это выходило, в секундную долю прясло затянуто, да так, что пальцы не подсунешь. Надо себе так попробовать, коленом. Попробовала – и в самом деле получилось.

В это время и скрипнул сзади велосипед деда Гаврилы, и спрыгнул он с седла, протянул плотный конверт Ольге, и её грудь точно прошила пулемётная очередь – не дыхнуть. И над полем будто жизнь оборвалась – ни звуков птиц, ни запахов земли, всё поглотило небо, стремительно почерневшее, опрокинувшее свой свод низко над головой.

Трясущимися руками Ольга разорвала пакет, и зелёный листок скользнул к ногам. Его подхватила Нюра, начала медленно, по складам читать: «Ваш муж... Силин... погиб...»

Небо качнулось над Ольгой, резкий ветер обварил холодным порывом, сковал, повалил на землю. Только глухой стон срывался с её губ, она словно погружалась в чёрную липкую смолу. Нюрка сбегала к дальней копне, притащила жбан с водой, плеснула.

– Вставай, подруга, не рви сердце, – сказала она. И крикнула деду Гаврилу: – А ты ехай отсюда, старый хрен!..

– За что, Нюра? – взмолился дед...

– За что, за та, не ходи пузата, – Нюрка зло скрипнула зубами, опустилась на колени, оторвала от земли голову Ольги.

Через какой промежуток времени пришла в себя Ольга, она не знает и сейчас, не спрашивала об этом и у Нюрки, а когда очнулась, с высоты, из серых, бесприютных облаков плескал холодный дождь. Она задрожала всем телом, вскочила на ноги и снова чуть не упала: ноги были чужие, и если бы не плечо Нюрки, подставленное вовремя, опять бы повалилась в колкую стерню.

Нюра привела её домой. Узнав о горе, в протяжном плаче забились свекровь. Дико, одиноко, как в мрачном лесу, стало Ольге, и первое, что пришло в голову – мысли о смерти. В самом деле, разве стоит теперь жить, когда всё перечёркнуто чёрной краской, когда жизнь потеряла смысл и значение. Всё в ней осеклось, согнулось – кажется, душа выпорхнула из тела.

Но заплакал Витька – и Ольга встrepенулась: как же она о сыне не подумала? А ведь его кормить пора... Он не виноват в её горе, он пока ни в чём не виноват, разве только в том, что появился на этот свет, где поют птицы и полыхают костры, встают зори и грохочут громы, где тугим звоном звенят поспевающие хлеба и тихо шуршит осенний мелкий дождь... Только люди рождаются не по их желанию, и время они себе не выбирают. Разве виноват Витька, что родился в смутную, грозную годину, и на него, несмышлёныша, уже обрушилось столько бед? И она сказала себе, как приговор вынесла: надо жить, Ольга...

Так она и живёт все эти годы – между горестью о погибшем муже, грустью о прошедшем счастливом времени, о встречах под дрожащими звёздами и густым запахом цветущей таволги и радостью за сына, за его первые шаги на земле и первые трогательные слова, между добрыми и злыми людьми, между зимой и летом, между тягостной работой днём и тяжёлыми сковывающими, как обручем, мыслями бессонными ночами. И никому не известно, сколько ей так жить...



## Глава четвёртая

Станция Хворостинка, их районная столица, раскидала свои домики вдоль железной дороги на Сталинград. Первые пакгаузы, деревянный вокзал, водокачка появились на этой земле в конце прошлого века, а потом выросла длинная, как железнодорожный состав, казарма, товарная контора, несколько домиков, обитых доской-щелёвкой и покрашенных в жёлтый цвет, за что какой-то остряк прозвал Хворостинку «Городом жёлтого Дьявола», прилепил это горьковское словечко к пыльному посёлку среди раздольных степей.

Если ехать к райцентру с любой стороны – земля как скатёрка, расстелена ровно, без ям и оврагов, без крутояров и взгорков. Чернозём на метр – как воронье крыло, отдаёт блеском. Только кое-где встречаются на спокойной равнине небольшие блюдца воды – окладни по-местному (Ольга интересовалась – почему окладни, но никто ей толком не мог ответить). В некоторых в паводок скапливается янтарная снеговая вода, а потом она покрывается ржавыми пятнами от прошлогодней осоки. К середине мая окладни затягиваются молодой осокой, как серой дымкой задёргиваются, на кочках, высоко над водой, вьют гнёзда утки-кряковухи, а потом с выводком плюхаются в воду, которая сохраняется в ложбинах всё лето.

Поначалу Ольге степи вокруг Хворостинки казались унылыми и скучными, не то, что у неё на родине, где просторная земля не такая унылая, с холмами и курганами, а вдоль спокойного и плавного Битюга – лес, заповедный бор с могучими соснами и дубами, с трепетными осинами и ольхами в низинах. Но с годами поняла Ольга, что и у этой степи есть своя прелесть – просторно на ней человеку, раздольно, ничего не давит, только высокое небо, сквозное, синим шатром висит в вышине. Правда, плохо среди степи зимой, в ветреный день, в метель, когда всё тонет в белой мгле, растворяется в снежном водовороте, причём буран разыгрывается неожиданно в одну минуту, сравнивая небо и землю.

Вот в такой вот день погибла Наталья Ивановна, свекровь Ольги. Она ушла в Грязи на базар, возвращалась перед вечером домой, как за Лукавкой вдруг разыгрался ветер, как лешак в трубе завыл, заголосил, закрутил белой простынёй перед глазами – не пройти, не размахнуть круговерть. А тут ещё ветер навстречь – ледяная крупа сечёт кожу, глаза и лицо поднять невозможно, даже посмотреть нельзя, куда ноги топают.

Видимо, Наталья Ивановна сбилась с дороги, отвернула влево, стараясь лицо спрятать от ветра, да и попала как раз на середину поля, между Тужиловкой и Парамзиным, и как приткнулась к стогу старой соломы, так и не двинулась больше с места – наверное, сил больше не было. Только через неделю нашли её ребята, поехавшие в Тужилковский магазин, случайно заметили чернеющий платок бабки Натальи на снегу. Откопали – всё лицо ободрано колючей сечкой, а рот, ноздри, глаза забиты снегом.

Вот так в одночасье ещё одного близкого человека потеряла Ольга. И даже у самого крепкого мужика такое могло вышибить слёзы из глаз, но у неё после гибели Фёдора что-то сломалось в организме. Глаза ослабели, в считанные секунды испускали мокроту, обжигающую, как сыпучий снег. Вот и сейчас, в райцентре, она не может сдержаться, от слёз ресницы склеиваются, и только страшным усилием воли она заставила себя идти вперёд, насухо вытерев платком глаза...

С образованием района в Хворостинке появились десятки различных контор, разные районные «рай», без которых, наверное, нельзя обойтись, а в сознании Ольги – так, муть голубая, напрасное прожигание казённых денег. Даже без банка, куда она идёт сейчас, жили же тут раньше! Не смертельно, деньги можно и по почте послать, даже лучше, не топай за ними каждый месяц...

В конторе уже давно признали Ольгу, встречают как давнюю знакомую. Вот и сейчас, когда она в зарешёченное окошечко постучала, приоткрылась «амбразура», и выглянувшая кассир Клавдия Петровна, пожилая женщина, у которой косы венчиком на голове уложены, и если вскользь смотреть – покажется, что у человека рога выросли.

– За деньгами, Оля? – спросила Клавдия Петровна.

– Ага... – кивнула Ольга.

– Зря протопала, милочка, – вздохнула кассирша.

– Как ещё зря?

– А так... Забрали твоё пенсионное дело назад в военкомат.

– Почему?

– Говорят, отец твоего мужа объявился. Свёкор, стало быть.

Вот оно какое дело. Ольга даже замерла, а в горле что-то забулькало. Значит, объявился Николай Фёдорович, приплыл, голубчик, как карась-губошлёп. А ведь столько лет молчал, камнем на дно лёг. Покойница-свекровь рассказывала, что муж её сбежал из деревни в тридцатом, исчез бесследно, будто его осенняя мгла съела. Сам он считал, что односельчане-мужики не забыли его участия в раскулачивании, могли б и расправиться при удобном случае, но Наталья Ивановна и другое знала, на сердце как тяжёлый гнёт носила. А причина тут простая: была у старшего Силина зазноба, разухабистая бабёнка Зоятка Пчельникова, замужняя, рыжая, с цепким взглядом. Вот как та щука стережёт свою жертву, высматривает, а потом толчок – стремительный рывок вперёд с раскрытой пастью! Может быть, свекровь со злобы так говорила, может быть, у него любовь была, слепая, безотчётная, но братья Кости Пчельникова пообещали посчитать рёбра Силину. И он исчез, растворился, как соль в воде.

Свекровь редко вспоминала своего непутёвого мужа, не любила она мокрить собственные щёки. Только раз, вскоре после гибели Фёдора, сказала с тоской в голосе:

– Эх, хорошие люди гибнут, а этот кобель...

Жива была бы Наталья Ивановна, скрипнула бы зубами, недобро помянула бы муженька. А сейчас приходится это Ольге делать – без денег осталась. А ведь надо хотя бы хлеба для Витьки купить, и картошку семенную она у бабки Мореевой приторговала. Небольшая пенсия, но если ею с умом распорядиться, можно и налог заплатить, и страховку, и самообложение, да и на займ немного останется... Теперь надо идти в военкомат, там искать концы.

Она вышла на улицу, пошла в сторону вокзала, размышляя о том, что в деревне вся жизнь – в долг. И какому только грамотею взбрело это в голову – драть с крестьянина три шкуры, чтоб от земли не оторвался, всё время ходил в согнутом состоянии. Приходит зима – получай, мужик, квитки разные – а в них чёрным по белому: сорок четыре килограмма мяса, триста шестьдесят – молока, кожи, картошки, яйца – всё расписано. Какой-то остряк придумал присказку: «Не спрашивают кур – давай яйца». И в самом деле, права Нюрка Лосева, которая недавно в сердцах крикнула агенту Сашке Дудореву: «Да не несусь я, ещё не разгнездилась».

Сашка вздрогнул, ожесточённо глянул на Нюрку – и пришлось её, дурёху, выручать, весь разговор на шутку сводить, а то мог бы Дудорев подать бумагу куда следует, и было бы тогда для Нюрки такое гнездо, которое не просят, да дают. Разве мало упекли за такие вот разговоры...

Налоги, страховка, займы – кто их придумал? Её вот хоть пенсия выручает, а ведь в деревне есть семьи, где годами рубля в руке не держали, пятёрку от десятки не отличат. Даже что от урожая скапливается, всё прямой дорогой в казну идёт, ни копейки не задерживается. Ольга вспомнила с улыбкой, как недавно привёз Борька Хорошилов в соседнюю деревню Богохранимое кино, а жителей собрать не может. Надо два рубля платить, а где они? Так киномеханик свою таксу придумал: хочешь кино смотреть – приноси два куриных яйца.

В военкомате Ольга постучала в дверь начальника административно-финансовой службы. Была здесь уже не раз, но младшего лейтенанта, что за столом сидел, не видела раньше.

Новенький, наверное. Тот поднялся при её появлении, предложил сесть. Ольга удивилась – любопытно стало, значит, учат культуре сотрудников. А раньше здесь сидел Коля Зиборов – бурбон форменный, с ней разговаривал через силу, каждое слово тянул сквозь зубы с трудом. Видать, прогнали, если сегодня сидит за столом этот молодой человек с жиденькими усами, совсем ещё мальчишка, но на Ольгин вопрос ответил быстро и чётко:

– Ваше пенсионное дело запросил облвоенкомат в связи с поступившей туда жалобой гражданина Силина. Вероятно, вернут на следующей неделе.

– А что будет?

– Не знаю. Скорее всего, пересмотрят вашу пенсию. Как мне объяснили там, – он показал на потолок, – гражданин Силин имеет право на пенсию за погибшего кормильца...

– Да, но гражданин Силин с тридцатого года с сыном не жил...

– А вот это не мой вопрос. Начальство разберётся. Да вы не беспокойтесь, – младший лейтенант улыбнулся безмятежно, – не пропадёт наша пенсия. Получите всё сполна.

Сказать бы ему, что дорого яичко к великому дню. Только ведь не поймёт ничего, надо долго объяснять, что у неё и огород не посажен, и семена могут уйти в другие руки, и сын без хлеба сидит, на картошке... Да ладно, махнула рукой Ольга, будет ждать неделю, а потом снова придётся приходить.

– А военком на месте? – спросила Ольга.

– Товарищ подполковник райкомом на весенний сев направлен в село Ольховку.

Ну вот, всё к одному! Подполковника Мокринского Ольга знала года три. И он наверняка бы помог, связался бы с областью, но, видимо, не везёт сегодня окончательно. Теперь оставалось только одно – возвращаться домой.

Она вышла из военкомата и почувствовала тошноту в горле – сильную, нарастающую, в глазах исчез на какое-то мгновение свет. Но, посидев в скверике несколько минут, снова поднялась, пошла в центр. Кажется, неприятное ощущение исчезло, растворилось, сердце стучит ровно, не притихло совсем, в глазах истаял туманный полумрак. Значит, всё в порядке, минутная слабость, не более. А произошла она, наверное, с голодухи, ведь с утра во рту маковой росинки не было. И не будет. Нет монет, чтобы в чайную идти.

Ольга на секунду представила, как хорошо сейчас в чайной. От дымящихся щей поднимается парок, Митя слепой на баяне играет... Она ещё и потому в чайную заходит всякий раз, что звучит там эта музыка – печальная, жалобная, но по-человечески понятная, будто нарываёт душа у инструмента, он тоскует и грустит вместе с хозяином.

Митя – достопримечательность Хворостинки. Ни кто не знает, откуда он появился здесь, маленький, тщедушный, с седой бородкой и с навечно закрытыми глазами. И баян был у него старый, потёртый, но голосистый, как молодой петух.

Всякий раз Митя сидел в дальнем углу, за маленьким столиком, и играл без остановки. Голос у Мити был хриплый, ломкий, как у парнишки, пел он тихо, но песни его негромкие брали за душу. Иногда официантки или кто из посетителей ставили перед баянистом тарелку горячих щей, и он неторопливо откладывал инструмент, принимался за еду. Ему хватало нескольких ложек, а потом опять вздыхал баян о девушке, которая провожала бойца на позицию... У Мити была своя импровизация этой песни; у Ольги, когда бывала в чайной, словно кто душу вынимал.

Сейчас идти в чайную смысла не было, без денег человек – бездельник, так говорила её свекровь. И она уже свернула к железнодорожному переезду, когда её кто-то окликнул. Высокий женский голос позвал: «Силина! Силина!» Ольга обернулась. А обернувшись, узнала

Евдокию Павловну Сидорову, секретаря райкома партии.

– Ой, Ольга, не дозовешься тебя, – Евдокия Павловна приблизилась, по-мужски резко пожала руку, – кричу-кричу, а ты, как в воду опущенная, шагаешь... Далеко направляешься?

– Домой...

– А что ж не зашла?

– Да неудобно как-то вас от дела отрывать...

– А раньше не стеснялась...

– Ну, тогда совсем другое дело... Работа была такая. А сейчас зачем я ваше время тратить буду...

– Выходит, – засмеялась Евдокия Павловна, – когда председателем работала, так дружбу водила, а сейчас и знаться не хочешь. Загордилась, милочка...

– Какая там гордость, Евдокия Павловна, тоска одна. Вот за пенсией приходила, и ту не дали.

– Что-нибудь случилось? Тогда давай ко мне в кабинет пойдём, сейчас быстро разберёмся, позвоним, куда надо.

– Не надо беспокоиться. Там сами разберутся.

– А всё-таки, в чём дело?

Пришлось Ольге всё рассказать по порядку, и не удержалась – про огород ляпнула, про Витьку без хлеба. Евдокия Павловна слушала внимательно, шевелила бровями, подведёнными тёмным карандашом, напрягала лоб, морщилась. У неё дёргался тонкий нос с приплюснутыми ноздрями, потрескавшиеся губы сжались в нитку.

– Нет, – выслушав Ольгу, сказала Евдокия Павловна, – ты всё-таки зря упираешься, ко мне зайти не хочешь.

И она энергично схватила её руку, потащила за собой. Райкомовское здание от переезда – в нескольких шагах, и пока они шли, говорила Евдокия Павловна:

– А я только с байгорского колхоза вернулась. Трудно мы живём, Оля. Так трудно, что иногда в крик хочется заплакать... Ты сама знаешь – на коровах пащут. А ведь они доиться должны, молоком ребятишек кормить. Эх, жизнь... У вас-то хоть тягла хватает. И быки, и лошади есть. Твоя заслуга!

– При чём тут моя? Всего колхоза... Вы ведь знаете, как мы в войну работали.

– Знаю и понимаю. Только ты зря свою роль преуменьшаешь. Председатель колхоза – фигура, всё от него зависит, хоть и достаётся ему больше всех. Почитай, за всё в ответе.

Они поднялись на второй этаж, прошли в кабинет Сидоровой, и она взялась за телефон, долго крутила, ругалась с телефонистками, но военкома в Ольховке не застала, а в военкомате ей ответили то же самое, что сказали Ольге.

– Ладно, – сказала примиряюще Сидорова, – я найду подполковника, а потом и в область позвоню. Придётся потерпеть немного. А вот насчёт хлеба – сейчас помогу. Вот мои карточки, иди на пекарню.

– А как же вы?

– Не переживай – муж у меня уже два месяца в госпитале лежит, а я сама по колхозам мотаюсь. Раны у него фронтовые открылись.

Ольга знала мужа Евдокии Павловны, лихого Николая, работника земельного отдела, вернувшегося с фронта с пустым рукавом. И сейчас искренне посочувствовала Сидоровой.

– Ничего. Он у меня мужик стойкий, – Евдокия Павловна грустно усмехнулась и спросила серьёзно: – Послушай, Ольга, а ты не задумывалась над таким вопросом – местожительство сменить, а? Вот у нас сейчас место заведующего райфо свободно, пошлём тебя...

– Да чего же я в этих финансах соображаю? Морока одна...

– Ну, это ты зря. Колхозом руководила, можно сказать, в самое лихое время, а тут работа такая, с бумагами. А насчёт знаний – на курсы пошлём, подучишься, в техникум или институт поступишь.

– Нет, Евдокия Павловна, – Ольга напряглась всем телом, сказала сиплым голосом, – никуда я пока не поеду. В Парамзине дом, огород, а тут я что – воробей на веточке.

– Да пустое ты говоришь... Какой у тебя дом там – развалюха, не больше. Незаметно так и на голову упадёт. А здесь мы дом четырёхквартирный затеяли строить, скоро детский сад откроем.

– Нет, – снова твёрдо сказала Ольга, даже исчезла в голосе сиплость, – нет. Я там жить буду.

– Ладно... Только кажется мне, зря ты упрямишься. Чувствовалось, немного обиделась Евдокия Павловна, не выдержала взятого поначалу спокойного тона, последние слова сказала быстро, с тонким раздражением. Но промолчать, промямлить что-нибудь неопределённое Ольга не могла, не в её это характере.

– Ну, хорошо, Ольга Васильевна. Только не считай этот разговор последним, ладно? И на пекарню иди. Впрочем, у тебя, наверное, и денег нет, так?

Ольга кивнула головой.

– На вот, бери, – протянула Сидорова деньги и, заметив изумление на её лице, проговорила торопливо: – Да бери, бери, рассчитаемся ведь, не первый и последний раз встречаемся.

Ольга поблагодарила Евдокию Павловну, вышла из кабинета, осторожно прикрыв дверь. «Господи, – думала она, спускаясь по лестнице, – и откуда она... просто счастье какое-то». Разве могла она без хлеба возвращаться, как бы Витька на неё посмотрел? Он хоть и маленький, а всё понимает: сузит хитро свои глазёнки чёрные, как бусинки, и глядит в упор.

Она направилась на пекарню, где был и магазин, зажав в руках деньги и карточки. Две двухкилограммовые буханки поджаристого, вызывающего щемящий аппетит хлеба Ольга спрятала в холщовую сумку от соблазна подальше. Есть хотелось по-прежнему, при виде хлеба это желание разыграло ещё сильнее, даже заломило зубы, и в горле снова появилось подташнивание, но Ольга твёрдо решила – доберётся до дома, тогда и поест.

Снова пошла Ольга к переезду, где пыхтел маневровый паровозик, и пока переходила пути, душил её кузнечный запах угля, обдавало, обволакивало радужным в солнечном отсвете паром. «Ну вот, – думала Ольга, – а отец-то... чтоб я на железной дороге работала, нюхала бы всё время вот такую вонь».

При воспоминании об отце встали перед глазами картины детства, овраг в Кузовской балке, где зимой они катались на лыжах и салазках, а летом играли в «хоронючки» – так они называли прятки.

Ольга ездила на родину в мае сорок третьего, сразу после освобождения городка от немцев, но до Кузовской балки не добралась. Она вообще никуда не могла добраться потому, что горе будто пригвоздило её, как букашку, прокололо насквозь острой булавкой, впилося в виски, в голову, в грудь, во все внутренности, сделало вялой, выпотрошенной, как рыба. Она поняла всё, когда приплелась с вокзала на родную улицу – а глаза не нашли дома на привычном месте, только увидела взгорки с густой молодой крапивой, да одинокую вишню у бывшего входа в дом, облитую, как молоком, буйным цветением, будто праздновала та горькую тризну по прошлому.

Надо было узнать о матери, о братишке. Ольга заглянула в уцелевший дом Коровниковых, что жили напротив. Дом был посечён осколками, стал какой-то рябой, рыхлый, покосившийся, но в нём наверняка жили – над драной крышей вился дымок. Ольга ступила на порог и лицом к лицу столкнулась с тётей Соней, хозяйкой дома. Столкнулась и отпрянула назад: в худой, измождённой женщине с седыми, свалывшимися патлами, в глазах, тусклых, как медные пятаки,

в пальцах, похожих на гвозди, еле теплилась жизнь. Тётя Соня заплакала, узнав Ольгу, внутри её что-то хлюпнуло, словно оторвался ком грязи, булькало и сопело.

– Туберкулёз проклятый, одолел совсем, – проговорила тётя Соня, когда немного успокоилась, втащила Ольгу в домишко, усадила в горнице.

– Где наши? – спросила Ольга и замерла.

Вечерняя тень легла под глазами тёти Сони, она вытянула свои тонкие пальцы, уставилась на них, будто увидела их, источенные, синие, как стебельки шалфея, сказала отрешённо:

– Нету их, Оля.

– Как нету? Уехали что ли?

Ольга сглотнула противную сухую слюну, и страшное предчувствие шевельнулось в мозгу: а живы ли? Она с надеждой, с мольбой взглянула на тётю Соню, вся напряглась, словно ждала сурового приговора.

– Нету их, Оля, – снова повторила соседка. – Погибли они...

Оборвалось сердце в груди, морозный стылый воздух ворвался туда, опалил, плотная пелена тумана вздыбилась перед глазами, и только напрягаясь, услышала она грустный рассказ тёти Сони. Оказывается, перед самой оккупацией, в июле сорок второго, ночью налетели немецкие самолёты, как коршуны, набросились на станцию. Одна из первых бомб попала в их домик, смела его взрывом. И ничего нельзя было сделать, даже останки матери и братишки не нашли. Просто холмы рыжей глины остались.

Тётя Соня говорила ещё какие-то слова, но Ольге показалось, что свалилось на неё дерево, тяжёлым комлем давануло на грудь, и она закричала. Через несколько минут она выскочила из домика, перебежала улицу и повалилась на холм, прямо в обжигающую крапиву. Слышал ли кто на улице, как рванулся к небу её яростный крик, боль и стон с обожжённых губ? Наверное, слышали. Но не подошли сразу, дали бабе выплакаться, выплеснуть из себя малую толику горя и скорби. А потом беззвучно подошёл дед Скрынников, тихо, почти шёпотом проговорил:

– Оля, слезами их не поднимешь!

Ольга сейчас была готова на всё, хоть пешком до края света идти, в кровь рвать тело, сердце, душу, лишь бы ожили дорогие ей люди, лишь бы вновь услышать их голоса, прижаться к тёплой руке матери, запустить пальцы в густые волосы брата. Она вскочила на ноги, сжала ладонями обожжённое крапивой лицо, стояла, раскачиваясь на непрочных ногах, точно её ветер мотал. Дед взял её под локоть, и Ольга повисла на его жёсткой, костистой руке, попыталась сделать шаг деревянными ногами – не получилось. Так и стояли они долго – сухой, как чернобыль, старик и она, похожая на лесную корягу, скорченная в дугу, на негнущихся колодах. Ольге казалось, что душа, её как птица, замёрзла на лету, и сейчас в груди образовавшийся кусок льда сковывает тело.

И опять казалось Ольге, что жизнь кончена, – вот, сверкнула, как короткая летняя зарница, полыхнула ярким светом и исчезла, улетучилась. Ничто теперь её не вернёт в нынешнее бытие, не воскресит, как не воскресит дорогих ей людей – Фёдора, мать, братишку, отца, Наталью Ивановну. Но снова встал перед глазами Витька, крохотный её человечек, её собственное произведение, её жизнь, её кровинка. И голова точно онемела от страшной мысли – а как же он? Ведь и он погибнет, не узнав даже, кто были его родители, не увидев неба и солнца, не испытав радости и счастья. Сейчас малыш остался в Парамзине, с бабкой Ксенией, но наверняка ждёт мать, вглядывается в дорогу.

Ольга пробыла в городке ещё один день, ночевала у соседки тёти Сони, поплакала ещё раз на травянистом холмике. Что-то позвало её снова в дорогу, словно толкало в спину. Она боялась, что с Витькой тоже может случиться беда, и крутой солнечный ожог полыхнул внутри жаром.

Да, самое страшное бедствие на земле – одиночество, пустота. Исчезни Витька – и Ольги не будет, она растает, как снег, как дым, облачком вспорхнёт к небу. Но пока он есть – будет Ольга бороться и жить, сдирать ногти с пальцев и обжигать душу, падать и ползти, плакать и смеяться, страдать от холода и голода и радоваться его словам и поступкам. Вот и сейчас Ольга представила, как обрадуется Витька хлебу, точно шоколадным конфетам или колбасе. Только раз в жизни и ел Витька колбасу, когда она принесла ему из райцентра стограммовый маленький кусочек, испускающий острый запах чеснока.

– Мам, а мам, – теребил её Витька, когда проглотил колбасу, – скажи, а ею можно наесться?

– Чем, сынок?

– Колбасой, говорю...

– Можно...

Витька долго думал, потом сказал:

– Нет, мам, нельзя...

– Почему?

– Вкусная очень...

Смешно и грустно, обидно получается. Вот до чего может довести бедность, разруха... Но одно радует Ольгу – не одичали люди, не замкнулись, как улитки в свои скорлупки, не захлопнулисьдушными створками, не отгородились по принципу: «Моя хата – с краю». А может быть, люди так открыты из-за бедности? Бедный человек выше духом, это Ольга заметила давно потому, что свободен как птица, никакая собственность не вяжет ему руки путами, сердце как распахнутая дверь – заходи, кто желает.

Вот и Евдокия Павловна – из таковских, простая и доступная, встретишься с ней – и серый пасмурный день покажется солнечным, со смешными зайчиками, а спёртый воздух наполняется запахом лесных цветов, в ушах звучит весёлый голос кукушки, что перебирает старательно лета. А ведь Сидоровой уже немало лет, жизнь её на излом брала не раз, перегибала как жидкий ракитовый стебель, придавливала злым ветром, забивала стылым снегом – нет, не перехилилась она, прямая, как свечка, красивая душой, чистым округлым лицом, открытыми глазами, в которых словно искупалось небо, подсинило их, зарядило добротой.

Впервые Ольга познакомилась с Сидоровой в феврале сорок третьего. Морозы стояли коляные, этакий сорокаградусный трескун, который человека делает маленьким и раздражённым, недовольным всем и вся. Может быть, и Ольга от мороза была злой, а тут ещё собрание колхозное затеяли к вечеру. Она побежала в криушинский колодец за водой, торопилась заготовить на завтра – убежишь на собрание – и всё, надолго эти суды-пересуды пойдут, а потом лицо ополоснуть нечем. Но верно говорят, что излишняя спешка нужна только при ловле блох – впопыхах, наверное, плохо защёлкнула баранчик на дужке ведра, оно плюхнулось об воду, загремело и исчезло в тёмной пасти колодца. Ольга крутила ворот, цепь не натянулась, гремела о сруб.

«Вот ведь несчастье», – чертыхнулась про себя Ольга. Ведро-то у неё только одно, остальные прохудились, и починить некому. Теперь хоть волком вой... Она побежала к Ивану Тихоновичу, попросила кошку – несложное такое приспособление с тремя крючками, опять вернулась к колодцу. Кажется, к вечеру мороз ещё сильнее, оборзел совсем, давит – не продохнёшь, лицо как иголками колет, под фуфайку забрался, по рёбрам гуляет, сковывает так, будто дыхание останавливается.

Уже синие тени легли от домов, потянул ветер с севера, когда Ольга, наконец, изловчилась, подцепила ведро крючком, потащила вверх. Теперь – не раскачать ведро, не ударить им в сруб, не зацепить за край теснины – хоть молитву читай. Знала бы Ольга молитву – прочитала бы

быстро про себя, да вот беда – не знает ни одной... Но, кажется, обошлось – потихоньку выволокла Ольга ведро наполовину с водой, но больше судьбу решила не испытывать – завтра прибежит, если не хватит.

Тут и окликнула её Нюрка Лосина, подбежала запыхавшаяся. Полушубок протёртый, со свалявшейся шерстью, запахнут, шея обнажена, а она вроде не чувствует холода, вся теплом пышет, как печка, жаркая от берёзовых поленьев. Зыркнула на Ольгу, на ведро, уже успевшее подёрнуться тонким слоем льда, промычала недовольно:

– Её люди ждут, а она прохлаждается...

– Какие люди? – зло спросила Ольга.

– Да на собрании...

– Что, без меня собрание провести не могут? – Ольга опять холодно посмотрела на Нюрку.

– Не могут. Такая ты у нас авторитетная!

– Ври больше...

– Правду ей говоришь, а она не верит... Что за человек, право слово. За тобой меня сама

Сидорова послала.

– А кто такая Сидорова?

– Да ты что, не слышала разве? Секретарь райкома у нас!

– Мы с ней чай вместе не пили...

– Что ты злишься, Оля? – Нюрка взяла ведро.

– А ты что, не видишь? – Ольга колючим взглядом поглядела на подругу. – Ведро я упустила, насилу подцепила.

– Велико богатство – ведро, – хмыкнула Нюрка, – стоит из-за этого расстраиваться...

Небось, опять ревела?

– Не ревела, – уже мягче сказала Ольга, – не могла... Ведро-то у меня одно...

– Ладно, – перебила Нюрка, – хватит нам здесь лясы точить. Пошли к бабке Дуне – там собрание идёт...

– А ведро?

– После, вечером отнесёшь. Там тебя в самом деле ждут. Ольга выплеснула воду, на дно положила верёвку с кошкой и пошла вслед за Нюркой. Шла и чувствовала, как вскипает в ней ярость на всех – и на Нюрку, и на неизвестную ей Сидорову, и на эту проклятую погоду, от которой сводит скулы, и зубы, как пулемёт, стучат, и даже на дом бабки Дуни, где идёт собрание... Ей бы сейчас на печь взобраться, прижаться к обжигающим кирпичам, согреться, отторгнуть от себя злость и обиду...

Дом у бабки Дуни, старой Корсачихи – просторный ольховый пятистенник, на высоком фундаменте. Он с успехом вмещал весь не выбранный войной взрослый парамзинский люд – и молодых, и старых. Не случайно все большие деревенские события отмечались у Корсачихи – и собрания, и свадьбы, и поминки. Правда, нет теперь свадеб в Парамзине, далеко ушли женихи, так далеко, что, наверное, уже забыли дорогу домой, к родному порогу, а девки – четыре молодайки Райка Бочарова, Зина Панферычева, Райка Зуева и Шурка Андреенова – истекают соком, хмурятся и желтеют, как трава к осени на пустырях, забытые и неприкаянные. Только чаще, чем раньше, поминки случаются, но научились парамзинцы своих односельчан провожать тихо. Выпьют стопарь-другой могильщики, осушат по полстакана самогонки деда и бабки, вздохнут тягостно, и на лице лягут мрачные тени, лбы съёжятся от морщин, крутые складки прочертятся по углам рта. Всё – был человек, и не стало, земля ему пухом!

Сейчас в доме бабки Дуни народу много, в передней комнате толпятся в основном ребяташки, двенадцати-тринадцатилетние подростки, покуривают в руку. В другое бы время их не пустили сюда – молоды ещё, «без вас похлебаем квас», а сейчас нельзя: первые работники –



эта мелкота – и в поле, и в доме. Хлеб крючком наравне со взрослыми косят – кишка за кишку заходит, а не сдаются – полгектара как отдать, для фронта, для победы, иначе нельзя.

Парни расступились, пропустили Ольгу во вторую комнату, где нещадно коптели лампы, толпились бабы – подружки Ольги, с кем который год нужду мыкает. Только в святом углу, под бабкиным иконостасом – несколько стариков сидят на лавке и женщина между ними – моложавая, с гладко зачёсанными волосами. Показались волосы эти Ольге мягкими, шёлковыми, как у младенцев. И глаза привлекли. Наверное, это и есть Сидорова, подумала она и усмехнулась: «Вишь ты, секретарь райкома, а в святом углу разместились, как поп или дьякон».

У властей давно идёт борьба с бабкой насчёт этих икон. Как собрание, так тяжба: «Убери ты их к чёртовой бабушке, старая». «Не трожь, не замай, в моём доме я сама хозяйка». «Да на кой ляд тебе столько?» – пристаёт какой-нибудь уполномоченный. «Не вашего ума дело, – отвечает бабка. – А не устраивает вас что – марш в другое место».

Вот и сегодня, наверное, воевала эта Сидорова с бабкой. Впрочем, Ольга увидела Дуню в белом платочке в простенке. Старуха сидела уютно, по-домашнему, вязала шерстяной носок, и Ольга поняла, что сегодня поторопилась со своим предположением. Вряд ли был разговор про иконы, иначе бабка бы в чулан спряталась, там бы чертыхалась и бурчала.

Выступал Свиридов, председатель колхоза, старичок сухонький, франтоватый, в сером аккуратном пиджачке с накладными карманами, со скобочкой усов, с аккуратной бородкой – наполовину седой, наполовину чёрной, как грачиное крыло. Андрей Михайлович очень гордился, что был он членом партии с семнадцатого года, и все выступления начинал со слов: «Вот товарищ Ленин в одна тысяча девятьсот семнадцатом году...» Наверное, и нынче не забыл Свиридов напомнить об этом, но сейчас говорил другое:

– Ослабла у нас дисциплина, Евдокия Павловна, – он поворачивал лицо к женщине, и при свете лампы оно казалось ликом какого-то угодника, восковое, благостное, округлое, как яблоко. – Разбаловался народ, никакой команды не понимает. Иду по деревне, а Дашка золу в снег сыпает... А ведь был мой категорический приказ: золу, ценнейшее органическое удобрение, как учит нас товарищ Сталин...

– Подождите, Андрей Михайлович, – женщина дотронулась рукой до Свиридова, – кажется, товарищ Силина появилась.

С одной стороны, хорошо, что Свиридова остановила – не сделай это, он будет весь вечер говорить, будто слова перетирает в себе, в пыль перемальвает. Токует, как тетерев, только себя и слышит. Уж сколько раз его слушает Ольга, а каждый раз об одном и том же, – про золу, навоз, птичий помёт, других слов нет... И всё с высказываниями вождей, с цитатами, как пулемёт строчит. А то, что лошади в конюшне от бескормицы ясли погрызли, хоть на лугах сено стоит, но привезти некому – горя мало.

Но, с другой стороны, насторожилась Ольга при упоминании её фамилии, даже рот раскрыла в изумлении. Почему, зачем? Какая неприятность её поджидает? Может быть, уже хватит всего?..

Свиридов замолк, вытянул длинные костистые руки, опёрся о стол и готовился продолжить речь, недоумённо покачивая головой: подумаешь, событие, бабёнка появилась... Да не пришла бы – и всё равно собрание прошло на должном уровне, как учит товарищ Сталин...

Но Сидорова поднялась из-за стола рядом со Свиридовым, попросила его сесть. Андрей Михайлович фыркнул недовольно, бородёнка его, кажется, сморщилась, свой блеск утратила, глазки сузились, но сел послушно, привалился на стол. Весь вид его источал страшную обиду, мученическую скорбь и раздражение.

– Мы тут советовались, – начала говорить Сидорова, – и пришли к выводу: лучше всего вам председателем колхоза избрать женщину. Ведь колхоз-то ваш бабий, вдовский, можно сказать.

Вот предлагают кандидатуру товарища Силиной...

Андрей Михайлович вскочил из-за стола, посмотрел как в темноту, спросил:

– И интересно знать, с кем это вы советовались?

– Ну, с кем – вот с ними... Так я, женщины, говорю?

– Правильно! – раздались голоса.

– Выходит, теперь только с бабами можно совет держать, – Свиридов взглянул жёстко на секретаря райкома, – старых большевиков-ленинцев, как рогачи, под печку засовывать. Чтоб не высывались.

Он ждал, что Сидорова сейчас переключится на него, запальчиво бросится в полемику. Вот тогда он политически развенчает эту бабёнку, которая, как говорится, не поймала, а ощипала, на день приехала в колхоз и уже успела всё прознать, с женщинами договориться... Но Сидорова словно не замечала его больше, обратилась к женщинам:

– Так, что будем решать, товарищи?

– Ольку будем избирать, – крикнула Нюрка и сзади сдавила сильными горячими руками Ольгины плечи.

Ольга точно в яму свалилась – на минуту свет исчез перед глазами, гулко стукнуло сердце, потом ещё и ещё, будто испуганная птица, затрепыхалось в груди, в нос ударил запах керосиновой копоти от ламп... Зачем ей это, какой из неё председатель? Она и в деревне по великой беде оказалась, прибило её, как замшелое полено, полый водой войны и неожиданным вдовством... Даст бог, кончится война, Витька подрастёт, и уедет Ольга к матери, поступит учиться, может быть, на юридический или на экономический, она ещё молодая, всё у неё впереди.

Между тем бабы будто с ума сошли, затараторили, заверещали, как сорока на рябиновом кусту:

– Давай Ольгу избирать!

Уж на что Дашуха молчаливая, замкнутая, вроде в угол нуждой загнана, а тоже бубнит глухо, как в тугой барабан:

– Ольгу!

Нет, надо кончать этот балаган, решительно, как ножом, отсечь все разговоры... Покалякали, поколобродили, как молодое тесто, и баста! Приступ этот лихорадочной женской вольницы, желания себя утвердить, возвеличить пора успокаивать.

Она протиснулась вперёд, к столу, на секунду замерла – тело, кости, мозг пропитал озноб, видно, страх прохватывал насквозь, как злой стылый сиверко, а потом сказала, задыхаясь:

– Да вы что, бабы? Подумайте!

– Уже подумали, – крикнула Нюрка Лосина. – Хорошо подумали. – Ты – девка грамотная, нам такая подходит. Голосуй, Евдокия Павловна!

– Ну, тогда голосуем, – Сидорова улыбнулась, и только Свиридов горько скривил рот, устремил глаза в одну точку.

Наверное, два человека не видели сейчас людей – Свиридов и Ольга, первый – из-за злости на баб, на Сидорову, а вторая – из-за смущения, из-за чувства тёплой признательности своим односельчанам.

Свинцовая тяжесть появилась в лице, подбородке и скулах. Выходит, ценят её бабы, если судьбу свою доверяют... А она? Ей стало страшно за день завтрашний, который представился ей далёким-далёким, сырым и холодным, в седом тумане. Евдокия Павловна потеплевшим голосом объявила:

– Ну что ж, избрали вас, товарищ Силина... Никто не будет голосовать против?

Зыркнул глазами Свиридов, поднял несмело руку и отдернул назад – испугался, наверное.

Только кого? Ольги? Да на что он ей нужен, пень дубовый. Андрей Михайлович жил в соседней деревне, в Богохранимом, последние лет пятнадцать – всё время в активе: то в одном колхозе председатель, то в другом, несколько лет работал секретарём сельсовета. На этой должности чувствовал себя Свиридов, как рыба в воде, говорил длинные и пустые речи. А старухам, которые приходили за справками, объяснял без обиняков, когда те благодарили его за бумажку:

– Спасибо – это дорого, милая. Мне бы на четвертиночку. От справки, от маленькой этой бумажки многое зависит в деревенской жизни – ни телёнка выращенного не продашь, ни мешок картошки, ни чувал семечек. Тебя на любой рынок не примут без «документа», накарябанного рукой Андрея Михайловича. А за «документ» положено угостить Свиридова, иначе в другой раз зайдёшь – а тебе от ворот поворот... Заглянет в бумаги, а у тебя мясopоставки не сданы, яиц куры не нанесли... Босиком набегаешься, потому что обувь купить надо, а денежки, где они?

Вот так и пристрастился Свиридов к водке, как кот на валерьянку падким стал. И в колхозе не утих, готов печать за самогон продать. Пропал в колхозе бык Потап, круторогий бугай, исчез в неизвестном направлении. Зима была холодной, метельной, и в ту ночь метель завывала диким зверем, швыряла снегом в окна, а утром Ольга долго не могла выйти из дома. Снегу набило столько – дверь не откроешь, еле откопала. На улицу вышла – батюшки-святые, с некоторых крыш на салазках можно кататься, сугробы меловыми горами лежат.

Но как раз метель оголила на старом насте следы, что вели от фермы в сторону Верхней Лукавки. Такие следы – в валенках, вроде шли люди и ноги заплетали, пьяные или из сил выбились, просовы в насте чётко обозначились, свежий снег их только подчеркнул.

Когда утром на ферме Нюрка Лосина не обнаружила быка, она прибежала к Свиридову. Тот сидел за столом в правлении угрюмый, взъерошенный, как старый ворон на заборе, лицо синего сумеречного цвета, видно, отходил с похмелья. Нюра про несчастье, а Свиридов – и горя мало, сидит, морщится, ёжится, будто его от лихорадки трясёт. Надо было по следам погоню устроить, милицию вызвать и найти преступников, а Свиридов – ни мычит, ни телится... Через неделю узнали люди, что это лукавские свели быка с фермы, обув его в валенки, как человека, и будто бы знал об этом Свиридов. Знал, но не пикнул, потому что четверть самогона ему привезли заранее, и он всю неделю пил и матерился. Лукавских-то посадили, они про четверть не сказали, а то б и Свиридов за ними, – а слух всё равно шёл и шёл!

Бабы разошлись тогда с собрания, а Ольге пришлось остаться, так Сидорова приказала. И ещё Свиридов остался.

– Ну давай печать, Андрей Михайлович, – приказала Сидорова.

Достал из кисета Свиридов выточенную из дерева фигурку с наклеенным резиновым кружочком и вдруг заплакал, искренне разрыдался, как ребёнок.

– За что, Евдокия Павловна, за что? – произносил Свиридов, частил, стонал жалобно, будто бродячий щенок, – я ж старался, всю жизнь на алтарь родины положил...

– Не надо высоких слов, Андрей Михайлович, – Евдокия Павловна говорила холодно, – вы бы лучше о делах думали. Скоро шестьдесят, а за душой что? Четвертиночки да стаканчики...

– Наговоры это всё, наговоры... Как говорят, только слава на волка, а кобели дерут – только шерсть трещит...

– Стыдно, дядя Андрей, – вмешалась в разговор Ольга. – Врать стыдно.

– А тебя не спрашивают, – замахал руками Свиридов, – много ты знаешь...

– Да уж знаю, как вы с бухгалтером кубрите. Люди на фронте гибнут, а вы – вино...

Словно кипятком ошпарили Свиридова, зафыркал, засипел, как чайник, хотел что-то сказать ещё, но махнул рукой и выскочил за порог.

Отсмеявшись, Сидорова пристально посмотрела на Ольгу, удивлённо сказала:

– А вы молодец, Ольга Васильевна! Как бритвой его обрили, бородку пригладили. Вы

всегда такая?

– Какая? – теперь удивилась Ольга.

– А вот такая, прямая и смелая?

– Не знаю.

– Тогда хорошо, – непонятно сказала Сидорова и встрепенулась. – Вам домой идти надо...

– Сейчас пойду... И вас приглашаю. Ведь вам тоже отдохнуть где-то надо... Ночь на дворе.

– Ну, обо мне беспокоиться не следует. Вот здесь у бабы Дуни и пересплю. А завтра рано утром уеду, если новый председатель лошадь даст... А не даст – пешком уйду, привычное дело.

Она с лукавством посмотрела на Ольгу, опять легко рассмеялась, и стало как-то спокойно на душе. И даже сейчас, спустя три с лишним года, потеплело в груди, будто от горячего чая с мёдом. Оказывается, память, как острый крючок, насаживает на себя минувшие дела и разговоры, ничем их не содрать потом – они живут в сознании сами по себе, возвращаются иногда, неожиданные, основой для новых дел.

В тот вечер Ольга уговорила Евдокию Павловну пойти с нею, и они выбрались на улицу. Немного ослабел мороз, небо затянуло, ни луны, ни звёзд, только шуршала жёсткая позёмка. Ольге показалось, что она даже промёрзла меньше, чем днём, хоть пришлось всё-таки идти к колодцу за водой, а потом к соседке за Витькой. Тот шёл, заплетая ногами, уже наполовину сонный, и Евдокия Павловна подхватила его на руки. Витька разомлел окончательно и пока донесли его до дома, уснул крепко.

Они поужинали картошкой с капустой и взобрались на тёплую печь – две женщины, одна молодая, другая – уже в возрасте, но как оказалось, одинаково несчастные, которых такими сделала война. У Евдокии Павловны на фронте погиб сын, восемнадцатилетний парнишка, и, может быть, от горького этого известия возникли в уголках рта скорбные морщины, в тонких трещинках, как в овале, глаза, и на лбу несколько озабоченных линий, неизгладимых, на всю оставшуюся жизнь. С мужем у Сидоровой тоже не всё благополучно – на фронте простудился, теперь мается по госпиталям, потому что нет коварнее болезни, чем туберкулёз.

Разговаривали они в темноте, погасив лампу, Ольга не видела лица Евдокии Павловны, но, наверное, было оно серое, как осенний день, когда зарядит дождик, сыплет, как снежную пыль, нудную влагу с небес, и на душе становится противно и холодно, будто через поры вымыло кровь, остановилось сердце.

Говорила она вроде спокойно, но Ольга по себе знала, как угнетает горе, парализует мозг и тело до пугливого озноба, как от испуга, от пронзительного крика над ухом в густой темноте.

Так и не уснули они в ту ночь до рассвета, говорили и говорили, будто у обеих возникло желание выплеснуть горе, пройти внутреннее очищение. Скорее всего, так оно и было, потому что не может человек всё время носить в себе печаль, нет груза тяжелее, чем зарубки в собственной памяти. Наступает такой момент, когда надо выплеснуть из себя всё хоть на время, на короткий миг разделить несчастье с другим. Тогда становится легче, будто выкинул из дома вещь, которая мешает, на острые углы которой всё время натыкаешься.

Конечно, всё это мираж, сладкие мечты, никуда человек не денется от прошлого, оно держится в нём прочно, как клещ, но даже за короткий миг покоя надо быть благодарным. Ольга была очень благодарна Евдокии Павловне за то, что та выслушала, поняла, страдала вместе с ней. И её страдания стали близкими для Ольги.

Расставались они утром уже подругами, с надеждой на то, что будущее будет не таким угрюмым и мрачным, как сейчас, что жизнь наладится, придёт победа, зазеленеют поля, на лугах нальются ярким светом таволга и медуница, таинственная энергия поселится в душах и разогреет их, как сушняк в печи.

– Ты только, Оля, – сказала на прощание Евдокия Павловна, – в себя и людей веру не теряй.

Потеряешь – всё, как на дно ляжешь, в тину засосёт. А у тебя вон какой чудесный малыш растёт, его поднимать надо.

Знает Ольга, как права Евдокия Павловна. Тогда, став председателем, она вдруг почувствовала остро, до боли в сердце, что теперь несёт перед людьми тяжкий крест ответственности за их жизнь, за судьбу. И люди тоже объединились вокруг, словно чувство опасности, голода, беды и боли сковало их крепко. Что это было – желание выжить, сохранить очаг, детей, семью, светлую веру в будущее, или бескорыстное служение Родине, которая оказалась в беде, в тяжкой разрухе, на краю пропасти? Наверное, и то, и другое, потому что неотделим человек со своей судьбой от страны, под небом которой родился и жил, чей воздух вдыхал и чью воду пил, где любил и страдал, где должен встретить свой смертный час. А встретить надо так, чтобы не страшно было оглянуться, не окропило стыдом, не горели от позора щёки.

Нет, нелегко было её председательство, скорее, даже адски тяжёлым, неподъёмным, как камень, но одно чувство владело ею постоянно: всё, что делает она, – это для мира, для других, и в этом она словно ощущала поддержку дорогих ей людей – Фёдора, матери, братишки, отца, свекрови, которые пристально, с прищуром глаз наблюдали за ней, поощряли на каждодневные мытарства и лишения, успокаивали в нужный час.

И пострадала она за людей, за односельчан. Впрочем, Ольга не считала это даже страданием, жизненным крушением – просто оказалась жертвой интриг несчастных людей, жалких карьеристов и трусов, для которых главный смысл в жизни – спасти собственную шкуру.

К уборке сорок пятого в колхозе родился неплохой хлеб. Ржаные тугие колосья (с воробья размером, честное слово), впитали в себя соки земли, налились тяжестью, клонились к дороге, и Ольга радовалась, как ребёнок: будет хлеб и люди отойдут душой, воспрянут, дорожке ощутят пришедшую победу. Она словно на крыльях носилась по полям, подгоняла мужиков и баб, косивших жито, и твёрдо решила: пришло время рассчитаться с людьми, сколько им ждать можно?

С первого намолота она распорядилась отдать аванс по три пуда на семью, и по утрам было приятно пройти по деревне; запах свежееиспечённого хлеба плыл в воздухе, вызывая слюну. Порой даже маленькая приятная вещь помещает в грудь человека мощный мотор, делает упругими мышцы, накачивает душу лёгким воздухом, который вроде поднимает ввысь, как гордую птицу. Вот и этот шаг, впрочем, для Ольги не такой уж простой, всколыхнул людей, они сбросили с себя тягостный груз прошлого, распрямились, обрели силу.

Но через три дня в колхоз приехал на виллисе первый секретарь райкома Ларин, походил для приличия по току, пощупал увесистое зерно, пошутил с бабами, а потом позвал Ольгу на весовую и дождалшись, когда она захлопнет дверь за собой, сказал раздражённо:

– Ну, товарищ Силина, почему колхоз «Борец за социализм» не сдаёт хлеб государству?

– Да ведь только обмолот начали, – попыталась оправдаться Ольга, – комбайн «Коммунар» только три дня назад пришёл из МТС...

– А людям кто разрешил хлеб выдавать?

Ольга всё время была рядом с Лариным и не слышала, чтоб кто-то проговорился насчёт аванса, не было такого разговора, поэтому ответила внешне смело:

– Не выдавали мы аванс, Василий Аристархович!

– Значит, не выдавали?

Ларин лихорадочно хлопнул руками по диагоналевому френчу, извлёк из бокового кармана лист бумаги, сощурился подслеповато:

– А это что? Пишет старый член ВКП(б), заслуженный человек. Ему что, верить нельзя? Он

нечестный человек, да?

Остановил свой взгляд на Ольге, будто пистолет навёл, целится в грудь.

Ну, тогда понятно, это дорогой товарищ Свиридов постарался, выдал её с потрохами. Уж который раз гадит Ольге, будто хорёк нечистоплотный. Ведь и в партию через него Ольгу приняли с трудом, Свиридов тогда несколько раз на собрании вскакивал, вроде детской игрушки Ваньки-встаньки, и если бы не одёрнул его Черкисов, не прицъкнул, как на собачонку, не рассказал, за что мстит Силиной этот человек, как знать, может быть, добавилась бы ещё одна душевная рана у Ольги.

Но тогда всё закончилось, как говорят, «тип-топ», а сейчас... Сейчас виновата Ольга, как перед грозным судьёй сжалась, в худое рядно превратилась. А Ларин наверняка разгадал её тайну, у него голос окреп, силу набрал:

– Под суд пойдёшь, Силина.

Он выскочил из весовой будки, своей прямой ногой (наверное, от ранения) начал указывать на вораха.

– Это, это и это немедленно вывезти.

– Да нельзя рожь сдавать, – Ольга втянула в себя воздух, остужая себя изнутри, – семенное зерно это.

– И семена сдашь, если я говорю...

– Нет, семена я не сдам.

– Выходит, умнее всех стала, Силина? Только страна от нас хлеба ждёт. Через два дня доложишь!

Конечно, ни через два дня, ни через три Ольга не сдала хлеб. И её пригласили на бюро райкома. Она пошла в Хворостинку босиком – туфли чёрные, которые подарил ей Фёдор, сгнили совсем, а в резиновых сапогах летом ходить – ноги сгубить, распухнут, как сваи. Шла она и слепла от яркого солнца, тяжким металлом наполнялось тело, руки, будто гири тяжёлые. Одна была надежда – заглянет к Евдокии Павловне, изольёт горе, может быть, легче станет.

Но в райкоме, едва Ольга поднялась на второй этаж, встретил её начальник милиции Острецов, грузный, заплывший жиром человек лет сорока, смерил взглядом бесцеремонно, так сверху вниз, словно ощупал короткими пальцами, сказал с ехидной ухмылкой:

– Надо нам, товарищ Силина, пройти с вами в милицию.

– Зачем? Я на бюро пришла...

– С делом вас познакомлю. Уголовное дело на вас завели. Что-то оборвалось в груди у Ольги, хлюпнуло, как грязь под ногами, и она начала медленно, чугунными ступнями, сходить по крутой райкомовской лестнице, покрытой ворсистой мягкой дорожкой. Когда вышла на улицу, жёлтое, маслянистое солнце закачалось над ней, запрыгало в небе, и стало так тоскливо, как бывает осенью, в непогоду, в слякоть и хлябь.

Обманул её этот боров Острецов. Никакого дела не показал, а вдвоём с дюжим милиционером затолкнул в душную, вонючую камеру и с силой захлопнул обитую железом дверь. Зверинкой камеркой показалась Ольге камера, клеткой для тигра или льва: ни света, ни воздуха, только шершавые стены, побелённые извёсткой, да мутный врезан глазок в двери. Господи, да ведь это гроб для неё, живой и сильной, подумалось.

И она с яростью набросилась на стену, начала царапать пальцами сухую побелку, и вскоре багровые линии начали вырисовываться на белом. Ольга остановилась поражённая – что это, откуда? Она глянула на пальцы свои, на сточенные ногти и поняла – кровь, её кровь, сочившаяся из содранных рук, краснеет на стене, как краска.

Она застонала, как подстреленная, повалилась на низенький настил, подобие нар, на полметра от пола. И память исчезла, растворилась в этом полумраке. Ольга не знает, сколько

она пролежала, но когда вернулась память, ныли ободранные пальцы, стыла тошнота в горле, тянуло на рвоту. Она с трудом поднялась и взвизгнула – на полу сидела огромная крыса, шевелила своей мордочкой, будто жевала что-то. От крика та сорвалась с места и, впиваясь когтями в её тело, начала подниматься к лицу. Ещё не наступил обморок, и она стряхнула крысу с себя, а потом опять повалилась на нары. Глаза её запеленал холодный красный снег, стылый и противный, снова отключилась память, снова исчезло ощущение времени, пространства, боли.

Когда Ольга пришла в себя (господи, да была ль крыса, или привиделась?), над ней склонился дюжий милиционер, толстыми неуклюжими пальцами ухватил за платье. Поднять – или?.. Она дёрнулась, и милиционер отпрянул.

– Тебя, Силина, на допрос вызывают, – пробурчал милиционер.

Надо было подняться, но тело было непослушное, свинцовое, утратившее гибкость. Лишь минут через пять Ольга с силой оттолкнулась от доски, села, закричала тоскливо от боли. Потом она сделала несколько шагов вперёд, за дверь, и, когда полоснул по лицу свет, показалось, что глаза у неё моментально стали белые, как у вываренной рыбы.

В тёмном коридоре тускло светила лампочка у потолка. Не понять было – вечер сейчас на дворе или ночь дрожит звёздами, а может быть, уже новое утро разгоняет дремотную синеву. Она несколько раз спотыкалась, от прикосновения содранными пальцами к стене из глаз капали слёзы, но Ольга больно закусил губу, ощутив противный, сладковатый вкус сукровицы. Обнадёживающая мысль пришла в голову: может быть, выпустят её сейчас на свободу, не такой уж она опасный преступник, чтоб держать вместе с крысами... А может быть, увидит сейчас она Евдокию Павловну? Ей почему-то казалось, что этот человек не может не прийти ей на помощь, не протянуть руку.

Подталкиваемая рыхлым милиционером, она поднялась на второй этаж, и когда оказалась в просторном кабинете, догадалась, что уже новый день плывёт над землёй, – солнце на чистом, будто отстиранном и подсинённом небе поднялось высоко, даже не видно из окна. В кабинете сидел Острецов – краснощёкий, хоть прикуривай от полыхающего лоснящегося лица, перебирал бумаги. И когда вошла Ольга, даже не взглянул на неё, шелестел, как мышь, сопел долго и противно.

Наконец, Острецов сощуренно оглядев её, спросил с ухмылкой:

– Ну, как спалось-почивалось, Силина? Какие сны снились?

Молчала Ольга, ждала, что скажет дальше. А он снова зашуршал бумагами, и стало понятно – испытывает её, на излом берёт, чтоб сникла совсем, к ногам повалилась. Значит, такое указание получил у Ларина. Беспомощность, слабость была у Ольги во всём организме, только надо не спасовать, не переступить последнюю черту, за которой кончается мужество и начинается падение, дрожь, жалость...

Опять оторвался Острецов от бумаг, хмуρο пробормотал:

– Будешь писать объяснение, как хлеб колхозный разбазарила.

– Я что, пропила его? – стараясь быть спокойной, спросила Ольга.

– Раздала!

– А колхозники что, есть не хотят? Ты, небось, три раза в день жрёшь. Вон рыло какое.

Она специально перешла на грубость, терять ей было нечего, но вопреки логике, Острецов заржал громко, как леший в лесу.

– Ха-ха-ха, – лицо у него побагровело, удлинилось, – выходит, рыло? Рыло, да?

Начальник милиции закончил смеяться, покашлял в кулак.

– К прокурору иди, Силина...

– Зачем ещё?

– Приглашает.

Ольга вышла на улицу, перешла дорогу и совсем обессилела. Оглянулась вокруг – куда бы присесть и, не найдя подходящего места, опустилась в придорожную пыль. Несколько минут хватило ей, чтоб набраться сил, в голове посветлело, на смену душевной смуте пришла некоторая уравновешенность... Ну и чёрт с ним, с прокурором, страшнее смерти ничего не будет. Да и смерть случается раз в жизни. Первый и последний.

Внешне спокойная, она поднялась с пыльной земли, пошевелила пальцами ног, влажными и пухлыми, пошла в прокуратуру. Она ввалилась в начальственный «предбанник», протянула жалобно:

– Меня прокурор вызывал...

– Товарищ Силина, да?

– Она самая...

Смазливая секретарша встала, одёрнула короткую серую кофточку, сказала приветливо:

– Проходите, Любовь Ивановна ждёт...

С прокурором района Плотниковой Ольга была знакома, встречались на районных совещаниях, даже не раз говорили, но сейчас это знакомство ни к чему, прокурор должен закон соблюдать, так подумалось, и она решительно пошла в кабинет. Любовь Ивановна поднялась во весь свой богатырский рост – не баба, а коломенская верста, ей-богу, – протянула руку и спросила неожиданно:

– А ты почему разувши, Оль? Небось, ноги застыли?

С чего она взяла, товарищ прокурор, что застыли ноги? Да не чувствует сейчас ничего Ольга. Но немного стыдно стало, что сидит она в официальном кабинете разутая, раздавленная, защемила в груди тоска. А Плотникова заговорила про важное – даже на вы перешла, – и Ольга превратилась в слух.

– Мне звонила Сидорова из райкома, вашей судьбой интересовалась. А я и не знала, что вас милиция задержала. Пришлось Острцову звонить, шею намылить, чтоб самоуправством не занимался. Не имел он права вас в КПЗ помещать. Во всей этой истории разобраться надо.

– Ну и разбирайтесь, – холодно сказала Ольга.

– Разберёмся, – Любовь Ивановна сказала это спокойно, миролюбиво и попросила: – Вы, Ольга Васильевна, не нервничайте. Закон есть закон. Если виноваты – отвечать будете, а нет – извинения попросим.

«Да, – подумала про себя Ольга, – а за крысу эту мерзкую кто попросит прощения, уж не Острцов ли со своими держимордами?» Но вслух не стала ничего говорить – ведь плетью обуха не перешибёшь. Пришёл на память Витька, и вдруг Ольгу окатило холодное пламя. Надо о нём думать, – как он станет жить на белом свете, если её посадят! В скитальца превратится, будет милостыню у чужого порога просить? Нет, не допустит этого Ольга, поперёк судьбы ляжет, а не допустит.

– Значит так, Силина, – Любовь Ивановна сказала негромко, – сейчас я оформлю подписку о невыезде и отпущу тебя домой. А там посмотрим...

Чего смотреть, о каком невыезде она говорит? Да некуда Ольге податься, некуда, перегородила война пути-дороги – как красный семафор выставила...

– Вы к Евдокии Павловне загляните, – опять заговорила Плотникова. – Просила...

Опять двигалась Ольга по пыльной улице, перед райкомом набрала в себя воздух, будто в воду ныряла, поднялась на второй этаж. Кажется, обрадовалась Сидорова ей, глядела с блеском в округлившись глазах:

– Ничего не рассказывай, – сказала Евдокия Павловна, – я всё знаю... Знаю, что несправедливо тебя обидели. Но молчи, время сейчас такое. А дело твоё мы постараемся замять, хоть и требует крови Ларин. Ты терпи пока...



Ольга добралась в Парамзино к полудню, наспех поела дома, обняла прибежавшего от бабки Витьку, пошла на ток. Чёрные облака плыли у неё перед глазами, погружая предметы в густую темень. Может, тучи набежали тогда на деревню, луг, колхозный сад, а может, исчезло зрение, зыбкой стала реальная жизнь, и сама она умерла, переселилась в спокойную и прекрасную обитель? Словно юркий зайчонок, прыгало сердце в груди, колотилось испуганно.

На току её окружили бабы, загомонили возмущённо, во все глаза рассматривая её. И пелену в глазах, как шторку, отодвинула чья-то рука, горечь и напряжение немного уменьшились.

– Ладно, подруги, – сказала тогда Ольга, – бросьте шуметь. Балаганом ничего не поправишь. Лучше забудьте всё и за дело примемся...

Но через два дня приехал в колхоз председатель райисполкома Суровцев, предложил Ольге собрать людей, и она поняла: опять по её душу, мотать на кулак будут. Дрогнуло сердце, дрогнуло и затихло – что на рожон лезть, пусть будет как есть. Только звон в голове остался, тихий, нудный, как писк комара.

Она предложила Суровцеву пойти на ток, где практически каждый полдень собирался весь колхоз – подъезжали с поля деда-косцы, бабы – вязальщицы снопов, для которых Ольга организовала общественные обеды – варили кашу-сливуху с духовитым салом, молодую картошку, квас, а самое главное – выдавали по горбушке свежее испечённого хлеба. Запахи здоровой жизни плыли над током, сладкий до головокружения такой запах, от которого пухло во рту, возникал зверский аппетит.

Суровцев согласился. Время, и правда, не для сборов, люди самое главное делают – хлеб убирают. Он открыл собрание, предложил освободить Силину от председательства за нарушение первой заповеди, и Ольга снова почувствовала тревогу в груди, какую-то незащитность, словно стоит она в поле, как былинка, и морозный ветер гложет её со всех сторон острыми зубами, рвёт на части одежду и тело.

Но выхода нет другого, кроме как держаться, и она плотно сжала губы до синеющего цвета, стояла рядом с Суровцевым – ждала, что скажут люди. Ведь не могут же они не сказать – не осудить или не поддержать, промолчать невозможно. И люди заговорили – сначала робко, а потом с жаром, с жадностью! Может быть, им злости прибавил Степан Кузьмич, услужливо вскочивший с вороха ржи и пророкотавший скороговоркой:

– Надо согласиться, бабы и дорогие товарищи! Раз райком-исполком решил, куда денесси?

– А за что сымать? – спросила Нюрка Лосина.

– Ну, за это самое... и прочее, – пробасил Бабкин.

– А прочее, это что? – Нюрка уставилась на Бабкина, будто буравила его: – Прочее – это что нас Ольга хлебом накормила? Да я, может, первый раз его за всю войну наелась досыта, у меня даже живот разболелся.

– Понос что ли? – ехидно спросил Бабкин, рассчитывая на поддержку людей, на взрыв смеха. – Вот за твой понос и сымать... за причинение ущерба унутренностям члена колхоза Лосиной...

– А хоть бы и понос, – без смущения продолжала Нюрка. – Там уже давно кишка кишке кукиш кажет. Да не за так нам хлеб Ольга дала – за нашу ударную работу.

Права Нюрка – люди исступлённо работали в последнее время, будто начинены энергией душевной отдачи, будто победа им добавила силы.

Потом поднялась тётя Надя Глухова – степенная рассудительная женщина – и заговорила будто про себя:

– Что ж она, Силина, разве в казну залезла? Билась, билась бабочка, чтоб нас, грешных, хлебом накормить, а её в кутузку сажают, с работы гонят. Нет бы за хорошие дела спасибо сказать – в шею толкают. Не годится так!

Не дали в обиду Ольгу люди. И когда Суровцев спросил со злобой: «Что с председателем делать?» – бабы как в одну глотку крикнули:

– Нехай работает!

Суровцев уехал, не попрощавшись, но это не огорчило Ольгу. Наоборот, ощущение прочности, уверенности, чувство веры в людей поселилось в ней. Она, будто благодарная людям за доверие, вскакивала с постели на заре, бежала на конюшню, где мужики запрягали лошадей в жатки, отправляла их в поле, потом торопилась на ток, чтобы распорядиться насчёт обоза в хлебопоставку, потом на некоторое время приходила в контору подписать и прочитать бумаги. И так целый день, вроде детской заводной игрушки, двигалась и дёргалась, пока не ложились длинные солнечные тени на землю. Ей казалось, что если она не появится, скажем, в поле или на току, там всё замрёт, остановится жизнь, затихнет, как неожиданно умолкают иногда ходики на стене в её скучном, сиротском доме.

Но через неделю всё изменилось в жизни Ольги, круто и бесповоротно, будто кто-то скомандовал ей «стоп», натянул вожжи. Неожиданно приехала Плотникова среди дня, подкатила на скрипучих дрожках к конторе. День был дождливый, смурной и стылый, в поле и на току никто не работал, и Ольга решила перечитать бумаги в правлении. Их много стали писать в последнее время, всяких «входящих», умных и не очень... Она сидела одна, и когда скрипнули дрожки под окном, вздрогнула от неожиданности.

Высокую, худую фигуру Плотниковой трудно было с кем-нибудь спутать, и Ольга вдохнула воздух глубоко, с жадностью, будто вынырнула с большой глубины.

Заныло под ложечкой – и не от страха, нет, от какой-то безысходности, злой судьбы. Всё время выслеживает её, как зоркий охотник, неслышно, осторожно крадётся сзади и в нужный момент щёлкает злым капканом, словно пополам перерубает, вгрызается острыми зубьями в тело, в плоть. Нельзя ей расслабляться ни на короткий миг. Но при виде Плотниковой сжалась Ольга, сгорбилась, согнулась пополам.

Любовь Ивановна распахнула широко дверь, чуть не стукнулась головой о низкую притолоку, прошла к Ольге и с мужской силой пожала ей руку. Была в руке цепкая жестокость, будто специально природа наделила прокурора этой хваткой пятернёй – вылавливать да поднимать за загривок. И от этих мыслей стало веселее на душе.

Они потолковали о жизни, о неожиданной погоде, которая сорвала уборку минимум на два дня, а такие остановки – как поломка в отлаженном механизме, придётся снова всё настраивать и пускать, раскручивать маховик, как в паровой машине. Уж лучше бы дала погода управиться с хлебом...

Потом Любовь Ивановна затихла, словно вслушивалась в шелест дождя, стиснула веки, а когда открыла глаза, пробормотала с недовольством:

– Ну и заварил ты кашу, подружка. Таковую, что не расхлебаешь. Ларин из себя выходит, даже Суровцева готов с земли сжить за то, что тебя не смог освободить. Теперь меня послали. Ларин приказывал мне пистолет с собой взять...

– Зачем пистолет? – удивилась Ольга.

– А чтоб на устрашение бабёнок ваших...

– Интересно, кто же такие права дал – людей пугать?

– Ну это ты, Ольга, сложный вопрос задала, – кто да почему? Гонор – не самый лучший советчик! Меня Ларин пригласил в кабинет и потребовал, чтоб я продолжила расследование.

– Ну, а вы?

– А что я? Вот что я тебе скажу, Ольга Васильевна, видно, нашла коса на камень. Упёрлись они – ты им без разницы, но на тебя в область написали, с них – спрос.

– Я всё поняла, Любовь Ивановна, – Ольга перебила её, махнула рукой. – Не буду я больше

работать. Сегодня же собрание соберу.

Несколько раз мелькала эта мысль в голове, но Ольге казалось, что люди отвернутся от неё, как от прокажённой, опалят огнём презрения. Но раз так оборачивается дело – лучше сойти с тропы, никого не подставлять. Настоящая мука сейчас у неё в груди – гложет кости, выматывает. Колебания – это признак смятения, неуверенности, а с такими чувствами трудно вести дело.

Напрасно шумели бабы на собрании – Ольга, преодолев душевную сумятицу, больше ни на секунду не сомневалась, что она приняла правильное решение. И когда наступил такой момент, что ещё мгновение – и собрание, как костёр, вспыхнет пламенем, накалятся страсти, – она поднялась, попросила:

– Отпустите меня, люди. Ведь я сына совсем не вижу, живу, как бездомная собака.

Есть в женщинах это чувство солидарности, своё особое, женское, таинственное, как миг человеческого зачатия, и бабы дрогнули, примолкли, в них, как тонкая музыка, зазвучало сострадание. Бабка Мореева, худая и хмурая, сказала душевно:

– А правда, бабы, что мы за неё держимся, как бог за грешную душу? Ведь устала Ольга, сколько мытарств ей судьба уготовила. Пусть отдохнёт маленько, тело наберёт...

Все горькие слёзы, вся печаль, что копились в ней долгие годы войны, сейчас готовы были вырваться на свободу, хлынуть лавиной, бурным горным потоком, но Ольга точно плотину возвела в сознании: нельзя малодушничать, слабеть, слабость – удел людей жалких, а она в жалости не нуждается. Так и удержалась до конца собрания, до того момента, когда бабы и мужики нерешительно проголосовали за её освобождение, а потом торопливо, будто им всё надоело до смертной тоски, избрали Бабкина.

После собрания Плотникова задержалась, спросила у Ольги:

– Ну, что Евдокие Павловне передать?

– Поклон ей низкий...

– Ладно, передам, – и вдруг сказала решительно твёрдым голосом. – А ты мужайся, Ольга, мы тебя в обиду не дадим...

Ольга шла домой, и каждый шаг отдавался глухим стоном, тупым чувством горечи. Слёзы ползли по щекам обжигающие, как крапива, но на душе, как проблеск в туманном небе, зарождался маленький тонкий лучик надежды, что всё у неё будет хорошо.

...Вот так и живёт Ольга, с этой надеждой и верой, только не торопится судьба наградить её за тяготы и лишения, не отлилась, видно, её медаль. Может быть, металла не хватило на неё или горячего огня.

Тогда, в августе, Ларина неожиданно послали на учёбу, а Евдокия Павловна всё сделала, чтоб закрыли дело. И даже по партийной линии не наказали. Просто забыли про неё, потеряли из виду, и она юркнула в глубину, залегла, как рыба на зимнюю спячку. Но Бабкин сумел-таки насолить Ольге. Мало того, что, выслуживаясь перед начальством, не рассчитался с ней по хлебу, он и всё зерно сдал под метёлку, оголодил людей.

Вот почему осталась Ольга без продуктов, вот почему сосёт сейчас в животе, покачивает, как от хмеля.

Ольга миновала последнюю деревню перед домом, в роднике над круглым плёсом утолила жажду. День хоть и к вечеру, а полыхает жаром, как русская печка, прокалённая берёзовыми поленьями, вроде дыма, стоит серая пелена. Второй месяц, как сошла вода, а с неба не капнуло, будто там кто-то запечатал даже маленькие поры, из которых струилась на землю живительная влага. Не пойдут ещё две-три недели дожди, и снова ждите испытаний, люди...

Опять закружилось в голове, закачались земля, небо, вода в чистой речушке, воздух, вроде

его всколыхнул тугой ветер. И Ольга присела на траву, вздохнула полной грудью. Что-то непонятное происходит с ней сегодня – может, это воспоминания подействовали? Но человек, тем более, если он пожил, пострадал, не может не окунаться в прошлое, ведь там не одна его слабость, а и сила. И если за слабость становится стыдно, то добрые и сильные поступки рождают тягу к жизни, к добру и справедливости.

С километр осталось до дома, а там Витька, радостное её существо... Надо продолжать путь, и Ольга поднялась, опять зашмыгала ногами по мягкой пыли на просёлке. Но силы слабели и слабели с каждой минутой, уходили, как в дорожный песок. Неожиданно перед глазами возникла страшная крыса из камеры – хитро морщила мордочку, оголяя два выступающих, похожих на острые клинки, зуба, и снова колыхнулась земля, почерневшая степь замерла, будто в ней умерли звуки и жаворонки, застыли мухи, вытянулись и исчезли травы...

Она присела на канаву рядом с молоканской усадьбой. Земля ей показалась зыбкой, болотистой, она будто разомкнулась под ней и стала поглощать её, безвольную, мочалистую, в своё чрево. Ещё секунда – и сомкнулась, окутала страшной темнотой.

## Глава пятая

Сегодня Андрей решил уехать с пахоты пораньше. Настала пора заняться собственным огородом, а он, как приговорённый к каторжным работам: заря выгонит – заря загонит. Хорошо, что хоть Лёнька дома, четвертый день не ходит на работу. Такая договоренность состоялась у него с Бабкиным: хоть один кто-то должен с домашними делами управляться?

Лёнька за эти дни успел вскопать добрых пол-участка, под вилы заделал овёс, высеянный в конце огорода, пробороновал рожь. Хоть и трудно, а решил Андрей не продавать корову, она – кормилица, надежда в голодуху. Конечно, колготное и не мужское дело – доить её, тянуть за тугие соски, но, видно, у Андрея дедова судьба; как говорится – участь горькая, тяга смертная. Без коровы с голодухи опухнешь, разнесёт лицо, как от комариных укусов, глаза заплывут, станут монгольскими. Вот почему Андрей сберёг овса с пуд, разбросал на участке. Доброе сено может получиться, копны три, не меньше, а остальное накосить можно на межах да в лощинах. А при нужде и солома едома, как говорят.

Теперь предстояло посадить картошку, свёклу, овощи. Только вот незадача – два мешка и осталось всего картохи, хоть ешь, хоть сажай, всё равно не хватит. Но Лёнька, кажется, нашёл неплохой выход. Он договорился с Иваном Тихоновичем, дедом Анюты-покойницы, вскопать пологорода и тот обещал три мешка семенной мелочи. Конечно, от худого семени добра не привалит, но и оставлять огород под сорняки – негоже. Зимой небо в овчинку будет...

Правда, живёт одно сомнение в Андрее – сумеет ли Лёнька договор выполнить, тяжкая эта работа... Раньше в деревне мужики плужками да сохами пахали огороды, да и то лошади в мыле, блестят крупами от пота, пена хлопьями спадает. А сейчас все лошади – на колхозной работе, да и подбились коняги за зиму от бескормицы. Лошадь овсом надо погонять, а не кнутом, только овёс коням, наверное, во сне снится. Сдал в прошлом году весь фураж Бабкин, как метёлкой замёл колхозные амбары, а теперь кричит: «Почему норму не пашете, лодыри проклятые?» На лошадях пашут Сергей Яковлевич и Илюха Минай и клянут судьбу, костерят – на чём свет стоит – не тянут лошадки, заплетают ногами, как сонные мухи. У них работа не легче, чем у Андрея на быках...

Сегодня Глухов работал практически без отдыха и норму одолел – пусть Бабкину в рот дышло, пусть не орёт и не попрекает, что пораньше с поля смотался. Ещё утром измерил Андрей участок шагами, высчитал гектар, забил каблуком колышки и сказал себе: баста, ни шагом больше или меньше. Надо и совесть иметь перед Лёнькой: за последние дни тот осунулся, лицо прокалилось солнцем, стало каким-то багряным, как осенний лист, но в глазах горит фосфорический блеск. Знает Лёнька, что старшему брату нравится его прилежание, это включение в домашние работы. Только надолго ли? Лёнька – человек настроения, сегодня пашет, как вол, а завтра набычится, уставится в одну точку – попробуй, сдвинь с места.

Допахав последний круг, Андрей очистил плуг, перевернул вверх отвалом, выкрутил быков на межу. Доволен сегодня собой Глухов – сделал дело, и теперь можно отдышаться, передохнуть, неспешно шагая за быками к колхозному двору. Да и времени до темноты много – вон, солнце ещё на добрых два дуба висит над Загородским садом, не потеряло дневного накала, жарит во всю...

Андрей мурлыкал про себя песню и вначале не обратил внимания на что-то белеющее в канаве, а когда поравнялся – удивился: будто бы человек скорчился на дне неглубокой затянувшейся траншеи. Он натянул вожжи и, не дожидаясь, пока остановятся быки, прыгнул в сторону канавы, с резью в глазах пытался понять, что там происходит, и когда увидел белый платок, скорченную, в колено согнутую худенькую фигуру на дне канавы, примятую траву,

испугался, готов был закричать.

Он наклонился, оторвал голову от земли, и голова безвольно запрокинулась, глаза остались плотно сжатыми. Он узнал Ольгу Силину и с тревогой подумал: «Умерла что ли?» Но короткий вздох слетел с её почерневших губ, тело дёрнулось, и Андрей подsunул поудобнее руки под тощую фигуру, поднял перед собой. Ольга показалась лёгкой, как пушинка, и Андрей пошёл к деревне, срываясь на бег. Ему казалось, что он идёт медленно, крадётся, как кошка, а надо бежать, бежать рысью, резвой лошадьё, пока жив человек, пока теплится в нём дыхание.

Ольгу Силину Андрей знал плохо, знал, что она вдова односельчанина Фёдора, с которым он когда-то дружил, хоть тот был на несколько лет старше. Но время развело их в разные стороны. Фёдор уехал в офицерское училище и потом появлялся в Парамзине только в отпуск... А потом исчез совсем, растворился в пекле войны. Он помнил и Ольгу до ухода в армию, конечно, встречался десятки раз, но что за человек, на чём заквашен – не ведал, да и не надо это ему... И после фронта, когда в сентябре вернулся из Порт-Артура, он знал, что осталась Ольга в деревне, пережила тяжкие беды, но чужое горе всё-таки – дальняя зарница: полыхает, а страха, оторопи нет, дрожь не вызывает...

Но вот сейчас несёт Андрей почти бездыханное тело. И жутко ему. Говорят, она справедливым была председателем, пеклась о деле, о людях, и с работы её сняли ни за что. Разве справедливо будет, если сейчас выпорхнет жизнь из этой женщины? Обидно, очень обидно... Опять вспомнилась мать, её преждевременная смерть. Видно, судьба у деревенских тружениц – раньше времени сходить в могилу, расплата за тяжкий труд, за горькую, посоленную потом и политую кровью жизнь.

Андрей, входя в деревню со своей ношей, поравнялся с конюшней и, увидев Илюху, крикнул:

– Быков моих загони...

– Сам должен, – огрызнулся Илюха.

– Ты что, ослеп совсем? Не видишь – человеку плохо.

Видно, до Ольги дошли эти слова, она дёрнулась телом, открыла и испуганно закрыла глаза, простонала что-то бессвязное... Ещё несколько секунд прошло, пока Ольга открыла глаза, ойкнула, встрепенулась. Только напрягая слух, можно было уловить слова:

– Что это я?

Андрей остановился – всё-таки он устал, гимнастёрка прилипла к телу, как приклеилась, осторожно опустил Ольгу на сомлевшую от жары траву, и она окончательно пришла в себя, несколько минут глядела в сквозное небо, а потом повторила вопрос, наверное, теперь осознанно:

– Где я?

Усмехнулся Андрей, почувствовал, что изнутри к глазам подступает жалость, дымной волной застилает свет... Кажется, будет жить его крестница, если задаёт этот вопрос, первый, который приходит на ум, когда человек пребывает в опасности, теряет сознание. Он наклонился над Ольгой, сказал как можно спокойнее:

– Не волнуйся, дома почти.

– Дома... Дома... – зашептала Ольга. – А где мой хлеб?

Чудно, да и только! Сама на краю пропасти, ещё бы чуть-чуть, маленький шажок – и бездна, глубокая пропасть, как пасть хищника поглотила бы человека, а вот помнит о хлебе, как солдат о знамени. Хорошо, что Андрей узелок Ольги привязал к поясному ремню, а то пришлось бы сейчас возвращаться назад. Чувствуется, для Ольги этот узелок как святыня.

– Здесь он, вот, – Андрей отвязал узелок, опустил на колени, показал Ольге.

– Там хлеб у меня, – прошептала она. – Для Витюшки хлеб...

Между тем, Ольга со стоном оторвалась от травы, неловко села, вытянула исколотые, в ссадинах и язвах ноги в драных босоножках, одёрнула юбку, виновато посмотрела на Андрея:

– В глазах туман, честное слово...

– Ты лежи, лежи...

– Мне домой надо.

Осовелым взглядом она оглянулась вокруг и заметила конюшню, пруд за дорогой, усмехнулась – видно, поняла, что в деревне, в трёхстах метрах от дома, вздохнула протяжно. Ольга упёрлась руками в землю, встала сначала на колени, а потом и попыталась подняться. Андрей протянул ей руку, и она сжала её мягко, почти безвольно, но маленькой помощи хватило встать, выпрямиться, постоять несколько минут покачиваясь, как дерево под ветром.

Увидел Андрей, как Ольга сделала несколько немощных шажков, вроде ребёнка, высоко поднимая ноги и осторожно, по-кошачьи, их опуская. Потом пошла увереннее, раскачиваясь телом в такт шагам.

Так что с ней произошло? Наверняка, и сама сейчас не расскажет, да и не стоит ей напоминать. Главное – жива, землю топчет, а потом сама разберётся.

Свет угасающего дня начал редеть, суживаться, солнце зависло над лукавским косогором, и Андрей в душе посетовал: да, мало у него времени осталось на занятия с огородом... И наверное, покраснел: что он в самом деле, о чём потужил?

Догнал Ольгу, заглянул в лицо и удивился – всего минуту назад было оно напряжённое, жёсткое, с остро торчащими скулами, а сейчас размякло, округлилось, порозовело, и даже стало привлекательным. И глаза ожили – не стоячее болото, а глубокая синь с живинкой, будто вода в неглубоком колодце полощется. Ольга улыбнулась ему спокойно, без скорбной натянутости, вспыхнул на лице какой-то сквозной зайчик, и Андрей подумал про себя: да она симпатичная, Ольга...

Они дошли до дома, и Андрей передал узелок с хлебом.

– Спасибо, – Ольга улыбнулась, улыбка эта была благодарная, доверительная. Она поднялась на крыльцо, обернулась, махнула рукой.

Из своей фронтовой жизни знал Андрей: хорошо, когда ты оборону не один держишь, кто-то тебя с флангов прикрывает, а сзади прочный, надёжный тыл. А если нет? Тогда позиция со всех сторон открытая, на семи ветрах – и ветры эти, как цепные псы, норовят обглодать, как кость.

Понятно, и он защищён слабо, один Лёнька «в резерве главного командования», но всё-таки... А то ведь язык к небу присохнет, слова разучишься говорить, надо по-новому речь осваивать. Он сощурился, почувствовал, что подкатывает к горлу тугая волна. Да, жуткая вещь – одиночество, тогда жизнь – как серый снег, сплошной саван натянут.

Вспомнилась Анюта, её глаза. Эх, как бы хорошо было сейчас, будь всё иначе! Легко и радостно. Только нет её, Анюты, нет и никогда не будет, хоть не перестала она для него существовать, живёт и волнует по-прежнему.

\* \* \*

Андрей копал грядку под огурцы рядом с кустами смородины, когда прибежал Лёнька. Именно прибежал, напрямик по огороду, босой и запыхавшийся, и Глухов понял – случилось что-то у парня. На лице у него неприкрытая тревога, вроде вмятины на щеках образовались – натянулась кожа, скулы торчат. Андрей относился к брату с нежностью, как к неокрепшему существу. Вот возмужает Лёнька, сходит в армию – тогда заматерееет, станет прочным, а сейчас

как сучок – надави неосторожно, и хруст послышится, щелчок. Не будет сейчас спрашивать Андрей, что случилось, вон как у него возбуждённо горят глаза.

Но Лёнька сам заговорил торопливо, захлёбываясь и возмущаясь:

– Сейчас меня Бабкин к себе приглашал, сказал, через неделю в ФЗО отправит. Говорит: «Готовь сухари, а если упираться будешь, – с милицией поведут». Что делать, братка?

Как на войне снова оказался Андрей! Так же напрягся, как граната на боевом взводе, ещё секунда – и взорвётся, выплеснет из себя ругательства. Ненависть вспыхнула в душе к Бабкину, к другим, да только усталость, накопившаяся за день, сдавила плечи, но он передёрнул ими, словно спугнул ломоту, и пошёл через огород в правление.

Остался Лёнька на огороде, что-то в нём задёргалось, будто поразило волю. Опять стало его жалко, несмышлёныша этого. Хотя как сказать – семнадцатый год! Видел Андрей таких на фронте, да и сам попал туда восемнадцатилетним. Но ведь сейчас не война, другая жизнь, по идее, должна быть свободная и счастливая, ан нет, не получается. Посадят Лёньку на пайку городского непропечённого, с водой пополам, хлеба, на кулеш жидкий, в котором небушко видно – и все двадцать четыре удовольствия в этом. Недаром их, фезеушников, кулешниками зовут...

А ведь у Лёньки мечта была – лётчиком стать. До войны – спал и видел... Как угодно можно это называть – блажью, розовой мечтой, фантастикой, призрачным бредом, но Лёнька жил этим. Он разыскал где-то круглую баранку от полуторки, прибил в палисаднике к пеньку, крутил яростно. Мог целый день просидеть за этим занятием, как в кабине самолёта. Но вот вернулся Андрей с фронта – и Лёнька ни разу не вспомнил о своей мечте. Может быть, загнал её вглубь, как в сундук спрятал, а может, война, в которой всем доставалось, опалила его сознание, отрезвила, отбросила мечты...

В правлении ещё не зажигались огни, но мужики теснились на крыльце, «младший комсостав» – бригадир Филатов, бухгалтер – курили вместе со всеми. Андрей понял: Бабкин в конторе, ругается за курево, и Филатов, чтоб не дразнить гусей, выпорхнул на улицу. Значит, состоится разговор.

Некоторые из мужиков сочувственно смотрели на Андрея, когда он поднимался на порожки, это он заметил, но останавливаться не стал. Он распахнул дверь и взглядом упёрся в Бабкина. Тот сидел за столом прямой, как аршин проглотил, невозмутимый. На Андрея он глянул холодно, равнодушно, даже с пренебрежением, вроде спрашивая: «Ну, чего припёрся, если не звали?» Но это не смутило Глухова, он бесцеремонно протопал к столу, сказал, не садясь:

– Я же просил вас, Степан Кузьмич!

– О чём просил, Андрей? – непонимающе спросил Бабкин.

– Не посылать Лёньку...

– Ну, тут моей воли мало... Разрядка, понимаешь... Из района спущена. Ты ведь в армии служил, знаешь, раз есть команда – будь готов выполнять, руки но швам.

– А ты Володьку своего пошли!

Крякнул Бабкин. Значит, в яблочко попал Андрей – взгляд стал печёным. Володька, сын Бабкина – Лёнькин ровесник, вместе в школе учились, сейчас бил баклуши, пропадая целыми ночами на «матане» то в Веселовке, то в Архисвятке. Как загульный кобель мотается по округе со своей балалайкой, – а второй сынок, Серёжа преподобный, в тюрьме парится. Может, несправедлив Андрей, отец за сына какой ответчик, кажется, об этом Сталин говорил, а может, наоборот, но ведь знает Бабкин, почему Анюта повесилась, кто её в петлю подтолкнул.

Бабкин, кинув косой взгляд на Андрея, прокряхтел:

– Ведь знаешь ты, Андрюха, кила у него...



– А по всем ночам девок портить – так что, кила не мешает?

– Чудной ты, Андрюха, вроде не знаешь, что девкам не кила нужна, а вроде Володи, наподобие Кузьмы...

Хохотнул Бабкин коротко, на стуле откинулся, глядит на Глухова и, кажется, страшно доволен собой, наслаждается, что нашёл нужный ответ. Нет, всё-таки страшный человек Бабкин! Одним власть Бог даёт, чтобы добрые дела делать, а этот верхом на должности сидит и только о себе думает. Вишь, как сына своего шалопутного защищает, будто не понимает, что вершит вред для того же Володьки.

Испокон веков в деревне дети растут в работе, в заботах, в тяготах. Нелегко свой хлеб добывает человек на земле, но чист морально, добр природно, нравственность как веру понимает. Для крестьянина работа – как больница для больного, она лечит от душевной неуравновешенности, от сирой муки, от тоски, такую огранку даёт – любой бульжник становится привлекательным. Чёрт с ним, с Володькой. У Андрея о Лёньке душа болит, и он сказал резко:

– Ну, ладно, Степан Кузьмич, пусть хорошо твоему сыну будет... Только знайте – Лёнька не поедет в ФЗО, не отпущу...

– А с тобой и спрашивать никто не будет. Не велик барин! Раз справку выпишут – загремит как миленький. Приедет участковый Кузьмич, посадит на дрожки – и будь здоров, не кашляй... Так что, Андрей, не баламуть колхоз и себя, а то на тебя тоже управу можно найти. Мы все под небом ходим, нос кверху. Но и под ноги надо глядеть. Не ровён час – наскочишь на камень и сопатку смажешь.

Опять самодовольно, с издёвкой говорил Бабкин, намекая на неприятность для Андрея. Только и тот не робкого десятка – сам, как говорят, на семи сидел, восемь вывел. Об этом и сказал Бабкину, а тот, картинно выбрасывая руки, захохотал:

– Да кто ж в этом сомневается, Андрюша! Знамо дело, орёл ты! Как же, как же, на фронте ломал спину, кровушкой землю поливал, знамо, знамо! Только ты случайно не орёл из-под наседки, а?

Эх, врезать бы сейчас по рылу Бабкину, глядишь, и отвисли бы усы, не так воинственно топорщились, не издевался бы в открытую, только как пойти на это? Вон они, церберы председательские, курят на крыльце, вмиг прискачут, руки заломают... Не о себе думает Андрей, а всё о том же Лёньке, потому что так написано судьбой ему, грузный камень на шею она повесила, давит – не продыхнёшь...

Возникло внутри жжение, вроде зачатило там что. А тебя бы, Бабкин, на передок, под осколки да мины, под визг этот пороссячий, что душу, как парусину раздирает, под великое «в бога мать», когда пехота зашевелилась, вперёд пошла, не оглядываясь! Вот бы натерпелся ты страху, в штаны наделал, пять бы дворников не отчистили... Ладно, Бог или чёрт с тобой, живи, паскуда, дыши воздухом, грейся на солнышке, пакостничай потихоньку. Андрей долг свой помнит, материнский наказ жалеть Лёньку – в ушах стоит.

Он ссутулился, покашлял в кулак и пошёл к двери. Дышать нечем стало, резь появилась в теле, нога раненая заныла, напомнила о себе. Он проскочил мимо мужиков опять молча, не останавливаясь.

На улице темнота густая, как мгла, уже глаз ни одного чёткого ориентира не может выхватить, только собачий лай несётся из деревни, доносится сюда тишиной. А может быть, в глазах слёзы стоят, мешают глядеть? Ведь слёзы как незваные гости, в самый неподходящий момент появляются.

Ладно, ещё раз себе сказал Андрей, жизнь на этом не кончилась, будет и рассвет, и день ясный! Лёнька вроде не дурак, голова у него светлая и если не заблажит, не заленится, он и там

себе дорогу пробьёт. Но об этом пока рано думать. Андрей ещё поборется, попробует грудь брата прикрыть...

\* \* \*

За неделю Лёнька вскопал свой огород у Ивана Тихоновича и перед вечером явился домой с тяжёлой ношей.

– Вот, братка, получай! – он крикнул радостно.

На губах у него, как у победителя, щедрая улыбка, и сам он, как медаль, начищенная осолом, блестит, играет желваками.

Лёнька сбросил с плеча мешок, похлопал его, и Андрей невольно обратил внимание: загорели руки у Лёньки, вроде в костре зарумянились, и на ладонях рваные куски кожи от мозолей. Нелёгкий куш выпал брату, тяжкий, как бревно, а не сдаётся, светится лунным светом уставшее лицо.

– Сейчас ещё принесу один, – сказал Лёнька.

– Давай уж я...

– Не-ет, – промычал Лёнька, – ты, братка, ужин готовь. У нас сегодня пир должен быть...

– С какой радости?

– А радость мы себе сами устроим. Вот она, радость наша... Лёнька поднял рубашку, и Андрей разглядел, что за ремень засунута бутылка с газетной затычкой, колышется мутная жидкость в посуде.

– С деда взятку взял? – улыбнулся Андрей...

– Нет, сам дал. Это, говорит, тебе за великий подвиг. Без тебя кто бы нас выручил! Так и пришлось бы с бабкой Малашей зимой коньки с голодухи отбросить. Кстати, дед тобой недоволен, Андрей. Говорит, не заходит к нам, чурается. А мы ведь не чужие...

Обожгло, окалило Андрея, будто опять в окопе сидит, тоска охватила. Зачем Лёнька сказал об этом? Ведь знает он, должен догадываться даже не очень крепким юношеским умом, что дорога к Ивану Тихоновичу для него не заказана, только не хочет он копошиться, разворачивать душу, она и так в смятении. Даже короткий визит к родственникам Анюты – лишнее напоминание, ножом по ранам.

Догадался Лёнька – ненужное, больное сказал для брата – и снова перешёл на весёлый лад:

– Ну, готовь, братка, царский ужин. Мы с тобой заслужили.

И снова бегом направился на край деревни, к дому Ивана Тихоновича. А для Андрея мир потерял свои краски, обесцветился, стал, как холстина, серый и невнятный. Но переборов себя, он пошёл в дом, принялся готовить ужин. Раз просит Лёнька пир на весь мир, он постарается.

На загнётке разжёт Андрей кизяки, потянулся сизый дымок. Вонючее топливо, а надёжное. Всю зиму согревает. Верно говорят – голь на выдумки хитра. В их безлесной местности, где каждое полено дров – событие, научились люди использовать коровий навоз как топливо. Найти бы того мужика, кто придумал – Сталинскую премию не жалко отвалить за спасение крестьянской России. Собирают мужики коровий навоз в кучу всю осень и зиму, а летом добавляют туда трухлявой прошлогодней соломы, воды нальют и давай ногами месить. Со стороны глядеть – древний танец исполняют, польку-бабочку выдeldывают, а их нужда в этот балет втягивает. Перемешали навоз – теперь в форму подавай.

У Глуховых станок на четыре кизяка, и всё лето он по соседским дворам гуляет – пользуется популярностью. Производительная машинка, что и говорить, только руки не жалеет. Иногда в навозе и стекло может находиться, и бурьян, руки свободно обрежешь или

поцарапаешь. Но глядеть надо, как говорится, не зевай – на то ярмарка.

В прошлом году заготовили мать с Лёнкой столько кизяков, что на всё время хватило. И сейчас лежат в сарае штабеля, до будущей зимы сушатся. Скоро и новые можно лепить. Андрей уже закучил навоз на дворе. Да вот Лёнка...

При воспоминании о Лёнке опять зануло нутро. Вроде печёт внутри, даже хочется на крик сорваться. Жалко брата, но, видно, у него своя судьба...

Шикарный ужин придумал Андрей, можно сказать, аристократический – картошку начищенную поставил вариться на таганок, достал из погреба солёные огурцы, хрен, припасённый совсем недавно. Ещё земля не оттаяла, заколенелая, дробилась на кусочки, когда Андрей ломом эти корневища вырубал. А потом натёрли, и такой вкусной картошка с хреном получилась, как свиное сало во рту таяла. Немудрой этой его науке финка Ресма научила, в сорок пятом... Трёт, бывало, хрен, слёзы льются, а сама хохочет.

Оттаял с ней немного душой Андрей. Только знал – недолговечны его радость и уют, у солдата собственной жизни нет. Есть приказ – и растаял солдат, в дым превратился, в пух, в пепел – во что угодно, но святое военное дело требует: и тут не возникай, не шебурши, под трибунал свободно угодить можно.

Вспомнил Андрей, как в сорок втором, на первом году его военной службы, в донских степях два солдата из его взвода при отступлении в казачьем хуторе на кусок сала польстились, украли у старушки из погреба. Их два дня продержали в коровьем хлеву под замком, а на заре построили взвод, за хутор вывели солдат и арестованных и прочитали приговор... В общем, за мародёрство приговорили голубчиков к расстрелу. Командир взвода, как гвоздь жилистый, младший лейтенант Скрипкин командует:

– Огонь, ребята!

Винтовки клацнули, сухим громом залп громыхнул над утренней степью – и не стало сокольников. И Андрей стрелял... Может быть, от его пули тот маленький, скуластый, черномазый хохол, чем-то на Лёнку похожий, ковырнулся вверх ногами. Только грязные, потрескавшиеся пятки воздух полоснули и замерли на земле...

Сейчас бы Андрей не стрельнул, не поднялась бы рука... Знает он цену человеческой жизни, ох, знает! Жизнь, как звезда в небе, единственная, неповторимая, со своим блеском и оттенком, с теплом и излучением. Во имя жизни любовь и смерть пасутся на земле, радость и горе шагают. Разве её можно выстрелом укорачивать? Самое поганое дело... Тогда три дня рвало Андрея до зелени, вроде отравил нутро, чередой спалил, хиной прогорклой плесканул в желудок, в горло, в кровь.

Не судья он тем ребятам, трибуналу, приговору суровому, нет, только нелепо, варварски дико платить человеческой жизнью за кусок сала. Есть оно – сладко живётся, нет – терпеть можно, а такой высокой ценой только за любовь платить можно. Вот за Анюту бы пошёл на смерть Андрей. Прикажи ему сейчас – и не дрогнет ни одна мышца на лице...

А вот за Ольгу он смог бы? Странно, подумалось: а при чём тут Ольга, это, кажется, из другой оперы... Но вяло подумал, не запротестовала душа, наоборот, стало даже приятно. Он после того случая часто стал об Ольге думать. Чем-то понравилась Ольга ему, он, кажется, и сейчас бы подхватил её лёгкое тело, поднял и понёс... Может быть, люди, которые привлекают, испускают особое излучение, таинственным лучом душу просвечивают, кто знает?

Ввалился в кухню Лёнка, затопал босыми ногами по глиняному полу – на деревянные так и не хватило сил ни у матери, ни у отца – опять оглашенно крикнул:

– Принимай работу, братуха!

– Принёс что ли?

– Доволок, хоть сто чертей... А третий завтра дед наберёт, покрупнее, на еду пойдёт.

– Завтра тогда картошку надо сажать, – задумчиво проговорил Андрей.

– Правильно, братка, время...

Картошка закипела на загниётке, зафыркала, как рассерженный индюк, и Андрей приказал брату:

– Собирай на стол, посуду давай, хрен три, пока я картошку солью да подсушу.

Захлопотал Лёнька, забегал по избе, значит, проголодался... Да и немудрено, целый день наяривал лопатой. Знает этот великий инструмент Андрей. Сколько ему пришлось за три с лишним года землицы порыть – иному на всю жизнь столько не придётся: и в придонских степях меловую, едкую, как табак, копал, и в Белоруссии – красноватую, с гнилым болотным запахом, и в Карелии – каменистую и грубую, вперемешку с валунами. Заскрежещет железяка, а на сердце тоска – не на мину ли налетел, сейчас хлопнет – и взлетишь шаром... Говорят, у лётчиков пожелание было такое, чтоб число взлётов было равно числу посадок. Так вот после мины посадки не будет, иногда и тела не находили, месиво какое-то плюхалось на землю...

Картошка поспела. Андрей чугунок опрокинул на деревянное блюдо, по комнате запах пошёл дурманящий, показалось, шашлычный. Когда-то до войны ел Андрей однажды шашлык на грязинском базаре, и показалась ему эта пицца царской, великолепной. Ешь её, и духовитый запах проникает в нос, горло, лёгкие, горьковатый привкус кровь разгоняет, как маховик.

Лёнька уселся на коник, оставив Андрею, как старшему, место на стуле, единственном в их доме. Можно кушать, откинувшись на спинку, расслабляться за едой, наслаждаться блаженством.

Самогон дедов оказался с пригаром, с густым запахом свёклы, сладковато-горький привкус шибанул в нос, но выпили по стаканчику – и веселее стало. Лёнька начал говорить, как трудно было ему копать дедов огород, не земля там, а спрессованная глина, ил, особенно под яблонями. Лопата, как торф, пластует глыбы, вроде ножом режет. Но слава богу, сила есть у Лёньки, расколачивал каждую колмыгу на мелкие кусочки, в пух землю разделал. Даже Иван Тихонович похвалил.

– Ты молодец, Лёня, – не удержался Андрей, тоже сказал доброе слово. Похвала как приз, награда, так человек устроен, что на ласковую речь сердцем откликается...

Засветился лицом Лёнька, распахнул пошире ворот рубашки. Он поглядывал на брата любящим взглядом, словно ждал ещё похвалы.

Первый раз после смерти матери царил в их доме какой-то удивительный покой, благополучие и мир. Будто всё, что происходит в сложной жизни, все тревоги и горести разбиваются о стены их деревянного домика, как крошатся весной льдины о ледорезы. Не дом, а запечатанная скорлупа, бочка, закрытая наглухо, куда не доносятся звуки.

Спал Андрей спокойно, крепко, вырубился и юркнул в глубину, бездну, в которой только тишь и сладкая, как кусок сахара, ломота в уставших ногах.

И проснулся он с ощущением тишины, спокойствия. Солнце било в окно, дробилось в стёклах, рассыпалось искрящимися бликами на стенах, будто было живым, как зеркало, хрупким. И его обдало этим светом, озарило.

Надо было вставать, он вспомнил о договоре с Лёнькой заняться сегодня картошкой, а это значит, что должен он сейчас найти Филатова. Бригадир обязан знать, где он находится.

На улице снова разгорался жаркий день, уже парило. Первая тревожная мысль, которая пришла в голову – опять сегодня дождя не будет, вон как высоко снуют ласточки, и небо чистое-чистое, хоть бы одна складочка, одна морщинка облачная отразилась на нём. Страшно становится, на пределе держится природа. Ещё несколько дней, и начнут вянуть травы, потеряют свою яркость деревья, сморщится хлеб в поле. Влага, как еда-питьё для человека, нет – и усыхает всё, становится жалким и беспомощным.

Филатов с громким побряхтыванием натягивал сапоги, когда в дом вошёл Андрей. Бригадир вялым взором окинул Глухова, снова принялся за закаляневший сапог. Губы его посинели, приплясывали от напряжения и раздражения – не сапог, а колодка какая-то, усох, проклятый.

В душе Андрей усмехнулся – их бы кремом или хотя бы солидолом помазать, но ленив Филатов, ох, ленив. Про таких людей покойница-мать говорила, что лень вперёд них родилась. Интересной жизнью жил бригадир: дома он ничего не делал, взвалив все семейные заботы на жену, безропотную Клавдию. В отличие от могучего, словно кряжистый дуб в лесу, Филатова, Клавдия была худосочной, как осенняя трава, но энергичная, стремительная, как щука. Наверное, сходство это добавляли два выступающих вперёд верхних зуба, вроде Клавдия рот приоткрыла и норовит проглотить.

Сейчас Клавдия гремела рогачами в чулане, видимо, готовила завтрак для своего беспечного муженька. Детей у них не было, и Филатов не раз говорил, что ему заботиться нет нужды. Клавка сама проживёт, вон она какая моторная...

Дождлся Андрей, пока справится Филатов с сапогом, распрямится, смахнёт пот с лица. Прокалился лик его, словно волочил на себе бригадир тяжёлую поклажу.

– Степан Савельевич, – заговорил Андрей. – Я хотел сегодня дома остаться.

– Что случилось?

– Картошку надо посадить. Другого времени не будет.

– Да ты что, Глухов, спал что ли плохо? Как можно? Под просо залежь не пахана, а ты дома...

– Что ж, по-твоему, Степан Савельевич, – фыркнул Андрей, – я должен с голоду подыхать? Хорошо, у тебя вон Клавдия в доме плужит, а у меня...

– Женись, – Степан Савельевич ухмыльнулся, зыркнул на Андрея исподлобья.

– Женилка не выросла, – попробовал отшутиться Андрей.

Прыскнула в чулане Клавка, тонкий смешок её проник в комнату, и Филатов осклабился, вытянул лицо.

– А ты, правда, чудной, Андрюха. Не женат, а девками не занимаешься. Другой бы на твоём месте...

Клавдия выскочила, как торпеда, из чулана, неприятно подвигала своими выступающими зубами, сощурилась жёстко.

– Это ты кого имеешь в виду, мой милый? Уж не себя ли? Да я тебя, кобеля приبلудного, враз на место поставлю. «На твоём месте, на твоём месте...» Бодливой корове Бог рог не даёт. Знаю я тебя, кобеля... Небось, отказываться будешь, кто Настёне Купыриной архисвятской ребёнка сделал?

– Ну, понесла, с бору – с сосенки, – закричал Филатов. – Что мне делать, если ты не рожает!

– Родишь от тебя, как же... Ты всю любовь по чужим углам разнёс, как паук паутину...

Рассмешила эта семейная баталия Андрея и огорчила. Обездоленный человек, такой, как Клавдия, особенно раним, будто сердце у него не грудной клеткой закрыто, а снаружи выступает, накальвается на все окружающие предметы, калечится до боли.

– Ладно, ладно, с утра распалешься... А мужу целый день служить царю и отечеству, – Филатов нервно потёр пальцы, сказал Андрею: – Давай, Глухов, оставайся, но только так: я тебя не видел, а ты меня... Бабкин меня со света сживёт, если узнает о моём самоуправстве. Одним словом, действуй на свой страх и риск...

«И на том спасибо», – подумал Андрей и махнул за порог. Пусть теперь Филатов с Клавкой доругиваются, им полезно. Особенно Степану. Права Клавка – любит Филатов потереться около

чужой юбки, большой специалист. Он, как нашкодившая кошка, грешит и раскаивается, шумит и конфузится.

Дома Андрей разбудил Лёньку, растолкал что называется. После вчерашней тяжёлой работы и самогонки разморило брата, размочалило, сидит на постели, растирает до красноты глаза. Снова подумалось: молодой ещё Лёнька, как лыко, жидкий, тяжело ему будет в армии. Это потом приходят к солдату сноровка и сила, когда пять пар портянок до дыр изотрёт.

Наконец, Лёнька соскочил с постели, заметался по комнате, загремел рукомойником. Только после умывания вернулись к нему осмысленность, ясность, и он спросил:

– Что будем делать, братка?

– Забыл разве – картошку сажать...

– А-а, чёрт, – заскрёб Лёнька в затылке, – совсем забыл! Ладно, пошёл дербач делать.

Дербач – три деревянных зуба, к колодке прибитых. Тащишь его – и три линии на земле остаются. По ним надо и картошку сажать, иначе так навиляешь, будто бык по дороге.

Знает Лёнька, чем заниматься, многое познал в крестьянском быту, где всё размеряло, рассчитано, даже самая простая вещь кажется гениальной. Может быть, поэтому мудрецы считают, что всё гениальное – просто.

Пока Лёнька стучал во дворе, Андрей приготовил завтрак. Картошку подогрел, засунув под таганок несколько сухих яблоневых сучков, достал из погреба холодного молока. Оно сегодня как раз пойдёт вроде лекарства после вчерашней выпивки.

Завтракали молча, словно набирались сил перед тяжёлой и нудной работой, а может быть, потому, что вчера выговорились.

Лёнька признался брату – влюбился он в Саню Жаворонкову, веселовскую дивчину, спасу нет, вроде, дуреет от её вида. А понравилась чем?

Походкой... Как птичка-невеличка парит над землёй, вроде её не касается, летит невесомо-лёгкой снежинкой, тополиным пухом. Одним словом, не девка, а какое-то видение, лёгкая солнечная тень. Они уже договорились, что Саня ждать его будет, когда он в армию уйдёт.

Улыбнулся вчера грустно Андрей – вот и у Лёньки любовь завелась, будет теперь сушить парня, как жаркий полеток траву, до прозрачности. Лёнька – не красавец, его портит нос с кривизной, горбинкой, но смоляная чуприна, острые чёрные глаза лицу придают цыганский блеск, да и ростом удался меньшей – на полголовы выше Андрея, плечистый. Такой обнимет деваху, и у неё сердце опустится в пятки, зардеет Саня, как маковый цвет.

Извечный удел человеческой жизни – любовь. Можно всё делать – в темнице держать, в пальцы гвозди заколачивать, петлю на шею набрасывать, только если пришла пора любить – ни одна преграда не остановит. Только смерть... Видно, пришло Лёньке время любить, время страдать и маяться, метаться в сладкой истоме и гореть огнём...

Они закончили завтрак и пошли на огород. Лёнька взял на себя более трудное – лунки копать, а Андрей за ним с ведром, бросает картошку в ямки. Не выдержит, конечно, Лёнька весь день так, намнёт мозолистые руки, но пока пусть охоту собьёт, укротит свой молодой пыл.

...Незаметно бежит время в работе – вон уже солнце смотрит в макушку прямое, жаркое, значит, скоро полдень. Они присели на межу передохнуть, и Андрей чуть не обмер: напрямик по огороду торил шаг Бабкин, размашисто шёл, не глядя по сторонам. Эх, сейчас бы спрятаться от греха, как говорится, подальше от царей – голова целей. Не хотелось ему сейчас объясняться, оправдываться, тем более Филатова подводить. Взять да юркнуть, как суслику в бурьян на меже, был человек – и нету, испарился без остатка.

Но подумал так – и рассмеялся в душе: негоже ему, солдату, побывавшему и в кольях, и в мялях, по-детски в жмурки играть... Он что, не заработал, не заслужил своё право спокойно и

честно, с достоинством жить на родной земле? А может быть, его отец, средний брат, что томятся в сырой земле, эту честь не завоевали? Да и мать его, кажется, ни вздохом, ни стоном не попрекнула власть за свою нелёгкую, непосильную судьбу, исковерканную, раньше срока закончившуюся жизнь.

Но кажется, и не собирается Степан Кузьмич читать ему мораль, поздоровался с братьями за руку мирно и благодушно и уселся рядом на меже. И только уселся – сказал сдавленно:

– Ты вот что, Леонид, собирайся... Из района уполномоченный с милиционером приехали, собирают в ФЗО ребят.

– Как? – заорал Лёнька и вскочил на ноги.

– Очень просто – собирают и всё. После обеда на подводе вас в Грязи повезём.

– Да я... Да вы... – свистящим шёпотом пробормотал Лёнька, стиснул кулаки угрожающе.

Не дай Бог, набросится сейчас на Бабкина, отвечать придётся, и Андрей тоже вскочил, приблизился к Лёньке и даже с удивлением для себя сказал:

– Ладно, Лёня, охолонь, не кипятись!

– Ты что, братка? – вспыхнул свечкой Лёнька, – да в гробу я это ФЗО видел в белых тапочках...

Ещё вчера и сам так думал Андрей, а сегодня, сейчас другая мысль пришла в голову. Ну что ФЗО? Не умирают там другие с голоду... Одеты-обуты в казённую форму... А закончит – пойдёт работать на производство, не будет, как сейчас, мозолями щеголять. Трудная жизнь в колхозе, ох, трудная! А в городе – другая обстановка, хоть и голодновато, но свободнее человек себя чувствует. Ведь колхозник даже право иметь паспорт не заслужил, будто крепкой цепью к деревне, к земле прикован, и нет такого кузнеца, чтоб разорвал острыми клещами эту цепь. А Лёнька – молодой, ему учиться надо.

– Ладно, Лёня, пойдём собираться, – сказал Андрей.

– Да ты с ума сошёл?! – завизжал Лёнька. – Я лучше на берёзе повешусь...

– Чудной ты парень, Леонид, – засмеялся Бабкин, – тебя такого прогонистого ни одно дерево не выдержит.

– Не хочу, не хочу, – верещал Лёнька, – подохну там...

– Всё равно скоро в армию идти, Лёня, – стараясь быть рассудительным, сказал Андрей. – Дома всю жизнь не проживёшь. Ну, пойдём в дом...

Бабкин поднялся, опять размашисто пошёл по огороду, молчком, не прощаясь, а за ним тронулся Андрей. Лениво плёлся сзади Лёнька, будто его, как телёнка, вели на молодую траву, а он упирался и дробил неокрепшими ногами.

В доме достал Андрей свой армейский чемоданишко, стёр тряпкой густой налёт пыли, положил в него полотенце, расписное, льняное, которым когда-то по праздникам завешивала мать божницу. На полотенце – вышитые красные петухи, надпись наборная: «Без Бога – не до порога», узорчатые кружева к концам пришиты. Красивое полотенце, только изрядно затёртое. Как-никак, всю войну Андрея сопровождало, тёрлось и в вещмешках, и под ремнём, и в чемодане. Своего рода талисман, материнское благословение, ангел-хранитель... Тогда, перед уходом на фронт совала мать Андрею в мешок маленькую иконку Николая-угодника, почитаемого христианами как воинского защитника, но он зло отмахнулся, оттолкнул в киот обрамлённую картинку, а полотенце взял. И долго иногда рассматривал, когда было время, закрывал глаза и видел дом, берёзу перед крыльцом, мать. Как наваждение, как реликвия – это полотенце.

Теперь Андрей, хоть и с тенью сожаления, положил полотенце в чемодан, потом кусок хозяйственного мыла, две рубашки, хоть знал – оденут Лёньку, как солдата, в казённое рубище, в «говностёрки», как их фезеушники называют, с металлическими холодными пуговицами, в

холщовые штаны, выдадут фуражку с молоточками, бушлат, широкий ремень с бляхой. Станут ребята, как цыплята инкубаторные, все на одно лицо и одеяние.

Затих Лёнька, немного успокоился, уселся за стол и подпёр голову руками. Видно, размышляет о предстоящей своей житухе... А может, о Сане думает? Наверняка пришла в голову в этот час, в эту минуту. Без этого нельзя...

После обеда пошли они к колхозному правлению, и Лёнька опять молчал, жевал зубами былинку травы, точно вбирал в себя соки родной земли, втягивал стоячий обжигающий воздух. Андрей не выдержал, спросил:

– Ты чего молчишь?

– А чего говорить? Всё равно сбегу...

– Я тебе сбегу! Не посмотрю, что длинный, так ремнём воспитаю – забудешь, откуда бегалки растут.

– Не пужай, – буркнул Лёнька, – мы пужатые.

– Правду говорю...

– И я правду...

Поговорили, называется, на прощание! И всё-таки жалко стало Андрею Лёньку, так жалко, как, наверное, никогда раньше. Надлом какой-то внутри произошёл, сбой, будто у коняги, что на четыре ноги кованный, и сейчас себя собственными подковами рубит по бабкам, искры из глаз высекает. А может, он неправ, что изменил утром мнение? Чёртовы мельницы эти ФЗО, перемальвают молодёжь в хрусткую муку, гонят ненужные отруби, как опилки, и получается не человек, а так, какая-то бесформенная размазня. Не выходят там толковые специалисты, только заводские пасти, открытые, как у хищника, заглатывают «работяг».

Но вслух об этом говорить не стал, ни к чему... Ещё сильнее взбудоражит брата, накалит докрасна, как металл в кузнице, до такой высокой температуры, что лопнет Лёнькино смирение, оцетинится волчьей пастью, вздыбит шерсть. Видно, у каждого – своя судьба, свой удел и назначение. Вот для него омутом, чистилищем была война, а для Лёньки – ФЗО это проклятое, чертог, придуманный властями.

Около конторы увидел Андрей дрожки, запряжённые Молнией, самой резвой лошадьё в их колхозе, Илюху Миная, разминающегося около повозки, и понял – ему поручили отвезти будущих фезеушников в Грязи. Рядом с повозкой, привалившись к столбу крыльца, сидел Серёжка Егоров, парень из соседнего Богохранимого. Серёжка с матерью прибились в войну к деревне как эвакуированные, да так и осели, присохли. Мать его купила деревянный домик умершей бабки Никитихи, а потом неожиданно вышла замуж за горбатого Симку-пастуха.

Теперь Серёга стал товарищем по несчастью для Лёньки – его тоже припёрли с этим ФЗО, силком мать заставила. Может быть, мешать ей стал, коль у неё любовь вспыхнула к Симе?

Илюха смачно сплюнул при виде Андрея с братом, попросил:

– Табачку дашь, Андрей?

Опять за своё Минай! Слаще всякого чая-компота для него это курево!

Достал Андрей кисет, большую щепоть сыпанул в широченную, как ларь, ладонь Илюхи, и тот блаженно захохотал:

– Ну спасибо, друг ситцевый! Не пожалел зелья...

Из правления вышел Бабкин, заспанный, равнодушный, протянул пачку бумаг Илюхе.

– Документы это. Передашь там, в Грязях. Ну, давай трогай с Богом.

Лёнька прижался к брату, ткнулся, как кутёнок, в лоб, обжигающими губами прошептал:

– В воскресенье жди, братка. На выходной приду...

– Не дури, – сказал тихо Андрей.

– Ладно, учи свою жену квас варить, – Лёнька сел на повозку вроде посветлевший.



Может быть, последнее его намерение придало силы, немного развеселило?

Закрутились колёса, спицы словно блестящий круг образовали, а Илюха всё дёргал вожжами, торопил лошадь. Лёнька махнул брату рукой, дескать, иди домой, но Андрей всё стоял и стоял, глотал сухую пыль, поднятую телегой, моргал часто. Уже юркнул резво Бабкин в контору, за кустами скрылась телега, а Андрею не хотелось идти домой. Понимал он: придёт – и темень одиночества поглотит его, заночует душа, размозжит тело, как могучий молот.

## Глава шестая

Степь под жарой – словно ленивая корова, разлеглась покойно, чуть шевелит ковылём и пырьём. Вздрагивают сомлевшие метёлки овсюга, раньше времени выброшенные этим цепким сорняком. За жизнь свою борется стойко, по-солдатски. Положишь семя его на сухую руку – ползёт, как муравей, норовит соскочить с руки, впиться клещом в землю, чтоб родить новое потомство.

Подумала об этом сейчас Евдокия Павловна и усмехнулась: а разве люди не так? Поездила она по району и несказанно удивилась: сколько брюхатых баб, прости Господи, в деревнях – просто взрыв какой-то. За годы войны она отвыкла от этого, женщины в деревнях, как щепки сухие, поджарые, сумрачные лицом, а сейчас словно мальвы в поле – порозовели, соком налились, животы свои носят, как генералы. Кажется, стараются женщины восполнить великие военные потери, снова наполнить жизнь звоном детских голосов, тишиной, радостью, отлюбить за долгие годы разлуки.

Ехала Сидорова в дальнее село Товарково, забытое Богом и начальством. Всё-таки тридцать километров от райцентра, даже на лошади не сразу доберёшься, а пешком? Но за военные годы научились люди пуще всего надеяться на собственные ноги, раз-два – и пошли-потопали, в любой край огромной державы. Да не просто налегке, а с младенцами, с чемоданами и мешками, в драных, с оторванными подошвами обутках, а то и просто «раззуком», как выразилась одна украинка. До костей стирали ноги, будто это не больная плоть человеческая, а бесчувственная деревяха под острым рубанком.

Видела не раз Сидорова, как таскали женщины с Хворостинки семена. Два пуда в мешок и пополам верёвкой перевяжут – получается вроде верблюд двугорбый, если эту поклажу на плечи взвалить. Вот и качаются женщины, как караван в пустыне, бредут по осклизлому или просыпающемуся, напитавшемуся водой снегу, по лужам, чавкающей грязи. Если и надо ставить памятники – то вот этим великим и величественным, как царицы, русским бабам, которые всю войну, весь фронт несли на своих плечах и в прямом, и переносном смысле. Думалось тогда, что никогда не вернётся тихая радость в дома, подсушила, измочалила её война, вымела корявой метлой утрат и потерь, навсегда захлопнула жёсткие ставни сердец.

Но вот пришёл мир, и оттаяли женские души, вытолкнули пугливые ознобы, которые заставляли внезапно просыпаться, зеленеть лицом, как под ветром-сиверко, разогнали сгустки мрака, и хоть не часто, но светятся лица улыбками. Конечно, память – вещь цепкая, она оставляет свои зарубки, жёсткие замеси, а для вдов вроде Ольги Силиной война ещё не кончилась, она в голове, в мозгу, в сердце, грохочет гулкой канонадой и будет долго звучать, как горный обвал, отдаваться в углах резким, болезненным звуком.

А материнские слёзы, чёрные сгустки в памяти про невернувшихся с войны сыновей и дочерей? Это как тавро, ожог на сердце, который никогда не покраснеет, не приобретёт нормальный цвет, будет болеть сквозной ножевой раной. Не может Сидорова смириться с потерей своего сына, не выскрести его из памяти ни ножом, ни острой лопатой, ни стесать яростно топором. Хорошо, что муж вернулся из госпиталя, порозовел, перестал кашлять, – этот раздражающий кашель и сейчас стоит в ушах, – но слабость ещё не преодолел, вроде ветром его колышет, как занавеску на окне.

Старается он не показать Евдокии свою немощность, точно плотной кольчугой закрывается, стараясь обходить разговоры о здоровье, но разве спрячет он своё состояние от жены? Скоро двадцать пять лет, как вместе, в одной упряжке, лепят на шаткой земле своё счастье и благополучие. Правда, плохо лепят, хоть и стараются, бревно за бревном, кирпич за

кирпичом укладывают на хилый фундамент бытия. Жизнь что ли такая трудная?

Любит мужа Евдокия, хоть на партийной работе пришлось ей постоянно возвращаться в мужском кругу, и кое-кто наверняка на неё имел виды, а двое – не хочется вспоминать – в открытую предлагали постель разделить, только кроме отвращения ничего от них не осталось. Не осталось, и хорошо – будет легче нести голову, чище сердце станет, на нём не зацепятся, как паразитическое растение-заразиха, грязь и пошлость.

Может, поэтому легко Евдокии с мужем, каждое его возвращение – как свежий ветер в открытые ставни, тихая радость, новизна ощущений. Муж любит радоваться домашним уютom, теплом, ночной тишиной в посёлке, умеет слушать жену, вместе с ней радоваться и восхищаться.

Вот и вчера он приехал поздно вечером, пришёл пешком со станции, вошёл тихо, без стука, без скрипа, наверняка боясь потревожить её сон, оберегая покой, но Евдокия нутром, бабьей своей сущностью чувствует его за версту. Не зря же она вчера днём металась, не находила себе места и в постели лежала с пустым, неморгающим взглядом, пилилась в темноту. И когда вошёл Николай, вскочила на твёрдые ноги, побежала в прихожую, обняла мужа и уплыла куда-то ввысь, как пушинка.

Если бы лет двадцать назад Евдокии сказали, что человек и на пятом десятке лет может возвышаться любовью, она бы не поверила, посчитала того неисправимым романтиком и фантазёром. Только сейчас она убедилась, что это вдохновенное чувство делает человека добрее, начинает мудростью, зрелостью и стойкостью. Да, что-то в душе и сознании отмирает, уходит, но главное, стержневое, остаётся. И это главное, как посох в долгом и тяжком пути...

Евдокия Павловна последние годы ездила по колхозам на лошади, а раньше любила ходить пешком. Но наверное, сказываются годы, старится человек и выбирает участь полегче. Едешь на пролётке и устаёшь меньше, думается спокойно.

Правда, в первое время её, горожанку, такие поездки немного пугали. Надо было научиться запрягать лошадь, заботиться о ней. Как курьёзный сейчас вспоминает Сидорова один случай в Ивановке. Когда она запрягала лошадь и по-мужски поднятой ногой сдавила хомут, чтоб завязать супонь, грохнули мужики на конюшне, стало страшно неудобно, стыдно, а что делать? Им бы, мужикам, лучше отвернуться в нужную минуту, догадаться помочь, чем потешаться...

Начиналось Товарково. Заросло село сорняками, как зелёные фонтаны на навозных кучах, бушует лебеда, темнеет чернобыльник в человеческий рост на пустырях. В низинах, как уланские шапки, маячит лисий хвост, а на взгорках колышется, переливается волнами шелковистый мятлик.

Заметила Евдокия Павловна, что чем беднее живут люди, тем сильнее развивается в них апатия, какое-то стылое равнодушие. Разве не видят товарковцы, что зарастает их село бурьяном? Наверняка, вечером по улицам ходить страшно, скоро волки в этих зарослях заведутся.

Трудно живут здесь люди. Виновата несчастная земля. В других колхозах чернозёмный пласт до метра, жирует почва, как грачиное крыло отливает, а на товарковских полях белеет мрачным снегом сыпучая супесь. Бывали годы, когда сильными ветрами поднимало пески, в крошево, в муку иссекало посева. Видимо, опустили у людей руки, надорвалась вера в лучшую участь, вот и плетётся колхоз кое-как.

Первый секретарь райкома Константин Иванович Волков, когда посылал Сидорову в хозяйство, попросил: «Вы на председателя там поглядите. Может быть, не тянет?» Константин Иванович – человек новый в районе, военный командир в прошлом, ему, конечно, не все люди известны, а Евдокия Павловна хорошо знает товарковского председателя Егора Степановича Емельянова, хитроватого с узенькими глазками-щёлочками мужика, энергичного и делового. Но

что один человек, если другие выглядывают? Батьку артелью лучше бить...

В конторе колхоза Евдокию Павловну встретил Егор Емельянович, хмурый, с отрешённым тупым взором, с замогильным видом. На секретаря райкома посмотрел холодно, октябрьским стылым днём, чуть наклонив голову вперёд, словно на плаву нёс её. И спросил лениво:

– Ругать приехали?

– За что?

– А я не знаю. Меня все ругают. Бабы – за то, что хлеба мало дал на трудодни, мужики – что тягло слабое, лошади в борозде становятся. Райком – за порядки плохие...

– Ну и поправляйтесь, критику воспринимайте...

– Критиковать легче. Критиканов развелось – в ином доме клопов меньше. Всё им нехорошо, а вот дело править – не всякий стремится.

– Просо посеяли? – спросила Евдокия Павловна.

– Не успели. С пахотой приотстали. Лошади за весну совсем подбились... Ну, куда поедем, Евдокия Павловна?

Емельянов поднял голову, прищурился, направил глазки свои смежённые в упор.

– Поедем? На квартиру меня устройте... Если не возражаете, поживу у вас дня три-четыре.

Опять удивился Емельянов – в Товарково не любит ездить начальство, отвадило их бедное житьё-бытьё, за версту обходит.

Устроили Сидорову на постой рядом с конторой к старой приветливой женщине Марии Степановне. Та захлопотала, засутилась:

– Может, чайку с дороги? У меня мята сохранилась от прошлого года, пахучая...

– Нет, – сказала Евдокия Павловна, – попозже, вечером. Сейчас мы с председателем поля посмотрим.

– Да чего же их смотреть? Горит хлебушко на песках, без огня польхает.

Права оказалась старая – тягостную картину увидела Сидорова. Высохла земля, как черепок, сверху стала, трещины – ладонь засунуть. Чахнет рожь на таких почвах, низкорослая, мочалистая, потеряла совсем тургор. Евдокия Павловна – агроном по образованию, несколько лет работала в МТС, знает, что это такое. Не хватает влаги растениям, вот они и утрачивают упругость, в мочалку превращаются. И яровые поблекшие, с желтизной. Не пойдёт дождь – худо будет.

– Что делать, Евдокия Павловна? – спросил Емельянов. Он ходил с ней по полям молчаливый и пропылённый, в щепотке держал мочковатые корешки, мял их и вздыхал.

– Проса надо побольше посеять. По засушливому году урожай может получиться.

– А где сеять? – вздохнул Емельянов. – Я рассказывал вам – подбилось тягло, плуг не тянут лошади.

– В МТС надо обратиться...

– Легко сказать – обратиться, – Емельянов тряхнул взлохмаченной головой. – Кто нас слушает? По рабочему плану должны у нас с весны два трактора находиться, да где они? Видать, дорогу до Товаркова забыли...

Правду говорят: на кого Бог, на того и люди... Разве не знает Черепанов, директор МТС, какая трудная обстановка в Товаркове? Жаловались на него недавно – трактора посылает только туда, где председатель попокладистее, трактористов встречает – чуть ли не корову под нож пускает, лишь бы умаслить. Не государственная служба, а грабёж среди бела дня.

Пришлось вернуться с поля в контору. Пока шла – как гневный колокол звучал в груди. Емельянов шаркал сзади ногами, как старик, хоть ему и полсотни не наберётся. Наверняка тяжкая житуха наложила свой отпечаток, припечатала судьбинушка тяжёлой печатью, тавро поставила. Рассмотрела Сидорова – у Емельянова на лице пухлота водянистая, подбородок

отвис и кашель со всхлипом, будто кузнечный мех поставили ему в грудь, и он хрипит и вздыхает. Затыкаясь и дёргаясь в кашле, председатель бурчал невнятно:

– Пустое дело... вы затеяли, Евдокия Павловна. Не поедут к нам трактористы. Жрать у нас... нечего.

– Ну это уж как сказать, – зло ответила Сидорова, – как сказать. Найдём на них управу.

С трудом она дозвонилась до МТС. Голос Черепанова звучал как из подземелья, хрипы и стоны звенели в трубке, но Евдокия Павловна говорила громко, почти кричала, и директор наверняка морщился, слушая её рассерженные слова.

– Завтра жду трактора в Товарково, и вас вместе с ними, – сказала она напоследок и повесила трубку.

– А семена у вас есть? – спросила она у Емельянова.

– Да как вам сказать, Евдокия Павловна... Если по правде, то лузга одна.

Может быть, и хитрил председатель, но идти и проверять в кладовой – песня долгая. Она снова позвонила в «Заготзерно», попросила оформить ссуду.

– Да где ж её взять? – вздыхал директор. – Одни мыши в складах.

– Где хочешь, а найди! – сказала твёрдо Сидорова и приказала Емельянову: – Завтра подводу посылай.

До вечера они ходили по полям с Емельяновым. Тот по-прежнему вздыхал, задумчиво шевелил губами и, кажется, не очень поверил в реальность команд Сидоровой. Чихать хотели эмтээсовские на любые распоряжения. Разве первый раз им звонят? Так, наверное, рассуждал Егор Степанович, а может, другие мысли теснились в его голове – забот у председателя хватает.

Уже когда шли с поля по деревенской улице, Евдокия Павловна в сердцах бросила:

– Крапиву да лебеду хоть бы покосили!

– Сама исчезнет скоро!

Емельянов ответил быстро и замолк опять. Не понять, почему так сказал, туман какой-то.

К Марии Степановне Сидорова вернулась перед закатом, изрядно проголодавшись. Удивилась Евдокия Павловна – хоть и много лет, наверное, её хозяйке, а подвижна и черноволоса, только лицо худое, морщенное, как печёное яблоко, а в глазах – стоячее болото, тоска и равнодушие.

Хозяйка встрепелась, побежала в чулан, легко, как птица, побежала, и вскоре пошёл по избе запах томлёной картошки с молоком, тонкий, призывный запах. Евдокия Павловна достала свою сумку, вытащила буханку хлеба – теперь такое время, со своим приходится ездить в командировку – и пошла к столу. С дымящейся картошкой шла хозяйка из чулана и вроде остолбенела: на лице её застыло удивление. Будто что сдвинулось в её организме. Поняла Евдокия Павловна – это хлеб её удивил, может быть, его запах, кисловато-горький, неповторимый. Этот запах и сравнить не с чем, голодного человека он волнует до дрожи.

В избе уже начало темнеть, но заметила Евдокия Павловна, как торопливо перекрестилась хозяйка, втянула в себя воздух. Она приблизилась к столу, опустила глиняную миску с картошкой и ещё раз с тоской посмотрела на хлеб.

– А я, грешным делом, всю голову себе сломала, – засмеялась Мария Степановна, – чем, думаю, гостью кормить буду... Хлеба-то у меня давно нет...

– Давно, говорите?

– Да почитай с самой масленицы... Кончился хлебушек, а до нового я и не доживу...

Просто сказала, без вдоха, а Евдокию Павловну эти слова сжали, как металлической удавкой, сдавили горло – да что ж получается на белом свете? Войну одолели, а тут голод костлявой рукой душит людей.

– Я и перекрестилась почему? – продолжала хозяйка. – Думала, никогда в моём доме

больше хлебушком и не запахнет, раз мужичков нет, кормильцев наших...

– А где мужики? – спросила Евдокия Павловна и осеклась. Можно было этот вопрос и не задавать – и так всё понятно: война забрала.

Но Мария Степановна не заметила её смущения, опять просто сказала:

– Сынок на войне остался, к дому дорожку не нашёл, а мужика недавно похоронила. С голодухи помер... Молодой ведь был, сорок семь лет всего, а вот поди, не разминулся с костлявой...

– А вам сколько?

– И мне сорок семь. Одногодки мы с моим покойничком были, вместе зоревали, на гулянки бегали.

Качнулась будто пьяная Евдокия Павловна, и стол точно запрыгал перед ней. Господи, подумалось, да ведь она почти ей ровесница! Позавидовала несколько минут назад ей даже, что седых волос нет, чернявой сохранилась, а теперь ярость в душе вспыхнула: кому позавидовала? Она старуха совсем лицом, ей бы ещё детей рожать и внукам радоваться, а для неё время вспять побежало, свой роковой отсчёт начало...

Мария Степановна порезала хлеб и снова перекрестилась, подала ложку Сидоровой:

– Ну, давайте вечерять... Небось проголодались за день-то. Вон он какой длинный...

Она принялась есть, а у Евдокии Павловны будто тугой комок застрял в горле. Тёмное облако поплыло перед лицом, густое, душное, словно банный пар, заныла душа. Нет, не сердце, не голова, а душа, ставшая материальной, реальной плотью, наткнулась на что-то острое, колючее, обжигающее. Мария Степановна опять приветливо предложила:

– Да кушайте вы, картошка совсем остынет...

Нет, не шла еда в горло, хоть и старалась Евдокия Павловна протолкнуть её силой. Обжигающие думы собрались в голове, скатались в грубый комок, распирали череп. Горько ей было за эту женщину, за её неподъёмно-тяжёлую жизнь.

– Муж тоже на фронте был? – спросила Сидорова. Ей захотелось до конца узнать про эту женщину, и Мария Степановна кивнула головой.

– Как же, был. Добровольцем ушёл... Как, значит, объявили по радио, так и ушёл. Говорил: «Ты тут, Мария, сама управляйся». А как управляться-то, бабьи сени – они всегда раскрыты. Эх, и помучились бабочки в войну, не приведи Господи! Меня хоть в штат на лето определяли – горючку для тракторов возить. Ну, поедешь в Хворостинку налегке, лошадки трусят, солнышко греет – всё хорошо! А оттуда две бочки пупком дырявым навалишь – и кони в пене, хоть в поводу веди. А на гору Матрёновскую – ну ни в какую не волокут, кончился у них, стало быть, весь этот... заряд. Так я что придумала – бочки с повозки по доскам спускаю и, Господи благослови! – сама их в гору волоку. Выкачу, а потом опять по новой, на ходки. И смех, и грех... А трактористы прознали про это, смеются, говорят, на вонючем пару выволакивает бочки... А лишь бы как, смеюсь, а довести...

Она закончила есть, опять с тоской посмотрела на хлеб, перекрестилась, сказала:

– Бог напитал – никто не видал! – и улыбнулась открытой, доверчивой улыбкой.

Думала сегодня Евдокия Павловна о бессмертном бабьем подвиге, а вот ещё одно свидетельство. Она на секунду представила, как эта женщина выкатывала бочки на крутой взгорок, как обливалась солёным потом, пропитывалась вонючим керосином, и оторопь взяла.

Издrevле на земле женщина почиталась святой, праведной, созданной для великой цели – продолжения жизни, рода человеческого, созидания и счастья. А проклятая война превратила её в жалкую рабыню. И если сейчас вновь чуть-чуть отошли бабы, носят в своём чреве новое племя – значит, вершится ещё один великий подвиг.

Мария Степановна убрала со стола, присела рядом.

– А как же мужа не уберегли? – спросила Сидорова.

– Убереги, попробуй... Всего полмесяца не дотянул любезный до новины...

– Какой новины?

– Да молодой лебёдушки... Ведь она теперь – главная кормилица в селе нашем. Она да крапива... Утром идёшь – как покос идёт, серпами жнут бабы!

Так вот почему грустно усмехнулся Емельянов, когда ему сказала Сидорова про лебеду! Выходит, плохо она знает жизнь, в стороне стоит. А ей всё время казалось, что одной судьбой с народом мается.

А Мария Степановна продолжала спокойно говорить:

– В прошлом-то году неплохой хлебушек в поле рос, колосок наливной, тяжёлый. Только на него хозяев много, на хлеб-то. Говорят, какой-то Ларин приехал и загрёб в ларь. Вишь, какая штука получается. Был горшок да разбился. Небось, и в нынешнем году такая басня случится. У мужика всегда дольщиков много... Вся держава!

Чувствовала Евдокия Павловна, как запыльхали щёки, накалились, иголочками прокалываются. Не только Ларин, но и все они причастны к этому тяжкому obroку, который без сомнения и риска гребут с крестьянина. Разве она не причастна? Только есть директива, а при директиве человек вроде зрения лишается, умом деревенеет – извилины в башке, как у кролика, выпрямляются. Получил бумагу – и давай действуй, руби с плеча, мужик, как дерево, не заплачет. А вот слушает сейчас Сидорова эту женщину и готова реветь в голос, стену грызть... Хорошо, что не видит в потёмках Мария Степановна её пламенеющего лица, а то бы совсем худо стало от стыда, от совести, от вины неоплатной.

Опять степенно заговорила хозяйка:

– Вы уж не обессудьте меня, Бога ради, что без огня вечеряли. Нету керосина проклятущего ни в одной лавочке. Раньше у меня проще было – когда горючку возила. Глядишь, мужики-трактористы нальют бутылочку, а то ещё лигроин был... Правда, опасный дюже, норовит взорваться. Да его солью присыпешь – он и успокоится. Ну, давай ложиться, милая, небось, подъём ранний затеешь?

На кровати легла Евдокия Павловна, а Мария Степановна с кашлем и сиплым стоном забралась на печь. Постель показалась Евдокии мягкой и ласковой, и хоть лезли, путались в голове горькие мысли о жизни и судьбе, уснула она сразу, придавленная дневной усталостью и непомерным моральным гнѐтом.

\* \* \*

Трактора, два стареньких «ХТЗ» с блестящими шпорами, появились в Товаркове к обеду, и Егор Сергеевич повеселел. Лицо его вроде потеряло жѐсткость, стали подвижными глазки, в них появилась прежняя острота. Он засуетился, как суетится хозяин при виде неожиданных гостей, громко хлопал себя по брюкам, уважительно глядел на Евдокию Павловну.

– М-да, дела, – бурчал он себе под нос, – дела, значит... Он повѐз трактористов на постой куда-то на край деревни, а потом показывал поле под предстоящую пахоту, и Сидорова решила заглянуть в школу, где подходили к концу занятия. Как секретарь, отвечающий за идеологическую работу, курировала она и школы, и там тоже было предостаточно забот. В Товаркове хоть здание нормальное, двухэтажное, дореволюционной постройки (одолело когда-то земство на свои небольшие капиталы), а в других – стены валятся, потолки провисают люлькой, топлива не хватает.

Около школы увидела она двух играющих в песке мальчуганов лет по девять-десять, и

спросила с улыбкой:

– Ну что, ребята, из класса вас выпроводили?

Один из пареньков с худым испитым лицом поднял голову, с недовольным видом посмотрел на Евдокию Павловну, пропищал:

– Не-е, с чего вы взяли?

– Да как же, в классе наверняка занятия идут, а вы здесь прохлаждаетесь...

– Не-е, – опять протянул первый мальчик, вытянув свою синюю мордашку, – у нас учительница заболела...

– У неё с голодухи живот схватило, – вступил в разговор второй. Этот был, в отличие от первого, поплечистее, басил, как взрослый, глазки у него были зоркие, острые, чернявые.

– Выходит, занятий нет у вас?

– Ага, – кивнул первый.

– Ну, голодно вам, ребята? – спросила Сидорова. И напрасно спросила – разве по лицам не видно? Вон у того, первого, кажется, каждая жилочка, каждая синяя ниточка на лице отпечаталась.

– Голодновато, – рассудительно ответил первый. И вдруг засмеялся, стрельнул глазами на своего приятеля. – Вот Юрка хорошо. Он тузятину налопается и спит, как сурок.

Юрка впился в приятеля взглядом, пробасил:

– Будя брехать-то!

– Я, тётя, ей-богу, не вру, – ответил первый.

– А что такое тузятина? – спросила Евдокия Павловна.

– А это кобеля у них Тузиком звали. Вот они и съели его весной...

– Так то когда было, ещё по снегу...

Внутри всё похолодело... Тот, первый, что-то ещё говорил, но слух у Сидоровой исчез, будто плотные пробки затолкали в уши. Она беспомощно охнула – что ж творится-то на белом свете?

Она зашла к директору школы Николаю Ильичу Дмитриеву, которого давно знала. Но разговора не получилось. Она что-то спрашивала, говорила, а в ушах стояли голоса ребяташек, этот рассказ про «тузятину». Показалось, что сердце внутри раскалили, разогрели на костре так, что ещё минута – и превратится оно в горящую головешку, в пепел.

В конторе Сидорова застала директора МТС Черепанова. Бывший военный лётчик и сейчас сохранил стройность и подтянутость, весь казался ладным, красивым. Он мерил шагами председательский кабинет, прямой, как свечка. На голове у него – пробор, с рыжинкой волосы уложены, как у самой прихотливой модницы. В глазах жило некоторое удивление и лёгкое возмущение, мол, зачем я понадобился в этой чёртовой дыре Товаркове секретарю райкома...

Вообще заметила Евдокия Павловна, есть у «технарей» (а именно им считал себя Черепанов) своё восприятие окружающего мира, какой-то необъяснимый снобизм, форс, кастовость, будто считают: вот они знают, что делать, и всегда поступают правильно, а остальные – недоумки, неучи и бездельники.

Сейчас, завидев Сидорову, директор вытянулся вроде по стойке «смирно», заговорил подчёркнуто официально и внешне подобострастно:

– Прибыл по вашему приказанию, товарищ секретарь райкома... Вот, явился...

Говорил Черепанов, а Евдокия Павловна поняла, что в душе тот относился с иронией к ней, с определённой долей скептицизма – дескать, вызывает по пустякам, только время прожигает бесцельно. И Сидорова сорвалась, пожалуй, первый раз в жизни утратила контроль над собой, говорила резко и безапелляционно. Она напрямую сказала Черепанову, что, наверное, тот большой чиновник и бюрократ, равнодушный и заносчивый, если так относится к делу, к



просьбе отстающего колхоза, к своему долгу работать на крестьянина, на деревню, – не подготовленный человек, не способный обеспечить высокое техническое состояние.

Исчезла потихоньку неприкрытая ирония с лица Черепанова, две лёгкие складки легли от губ, он опустил глаза, как школьник, не знающий урока. Наконец Евдокия Павловна умолкла, и Черепанов оживился, растянул рот в ехидной улыбке:

– А вы знаете, Евдокия Павловна, люди не хотят в Товарково ехать...

– Почему?

– Не заботятся здесь о людях, элементарные условия не создают. Хлебом вдоволь трактористов накормить не могут. Вот он, – Черепанов указал пальцем на председателя, – уважаемый Егор Степанович, даже в этом экономит. А в других хозяйствах наших людей с радостью встречают, мясом, хоть и редко, кормят...

– А вы спросили – есть ли хлеб в колхозе? – спросила Евдокия Павловна. Наверное, она покраснела, разозлившись.

– Зачем я должен это знать? Пусть председатель думает.

– Послушайте, Черепанов, вы когда-нибудь собачатину ели?

– Вы что, Евдокия Павловна, – Черепанов скривил губы, вытянул их в тонкую нитку, – вызвали меня сюда, чтоб поиздеваться?

– Нет, дорогой Виктор Анисимович, не для этого, а чтоб знали жизнь, ситуацию. В этой деревне даже детей собачатиной кормят...

Сказала и замолкла, осеклась, даже самой страшно стало. Молчал и Черепанов, видимо, в нём боролись два чувства – с одной стороны, уверенность в своей правоте, а с другой – Евдокия Павловна это заметила – шевельнулось в нём какое-то смятение, легла сумрачная тень на холёное лицо, будто горький дым пахнул в него, окутал глаза.

– Я всё понял, Евдокия Павловна.

Слова эти Черепанов произнёс скомканно, торопливо, щёки побледнели.

– Ну хорошо, – сказала примиряюще Сидорова, – а теперь давайте трактористов навестим.

Они поехали на поле на машине Черепанова. Директор сидел подавленный, наверное, чувствуя стыд, молчал всю дорогу, но в конце концов спросил:

– Неужели нельзя помочь людям, Евдокия Павловна?

– А как?

– Но должны же быть запасы в государстве?

– Война была, Виктор Анисимович, какие запасы?

– Эх, жизнь, – вздохнул Черепанов, и поняла Евдокия Павловна – что-то сломалось в нём, рухнуло. Значит, есть в этом человеке сердце. Не пламенный мотор, как поют по радио, а обычное, ранимое, способное понимать человеческую боль и горечь. Может быть, думала Евдокия Павловна, и зря она на него распалилась, не стоило этого делать. А с другой стороны – иногда человеческая душа, как сундук, как панцирь, до неё достучаться надо, окропить жизнью, и тогда она острее воспринимает звон сердца, запах хлеба, солнечного утра, аромат цветов.

Трактористы уже включились в работу, серая пахота дымилась от жидкого пара земли, за тракторами прыгали грачи, чернели на песке, шустрые и вместе с тем важные.

Черепанов пошёл размашистым шагом по вязкой пахоте, торопился догнать трактора. И когда Евдокия Павловна и Емельянов подошли, он уже говорил с ребятами, улыбался и щурился от яркого солнца.

– У них всё хорошо, Евдокия Павловна, – вроде с оттенком гордости произнёс Черепанов. – Я сам прослежу, чтоб техника нормально работала.

– Разместили вас как? – обратилась Евдокия Павловна к трактористам.

– Нормально, – кивнул головой один из них, высокий горбоносый парень.

– На этой неделе вспашете вот это поле, – проговорил Емельянов, – барана зарежем, мясом вас угощу.

– А вот этого не стоит делать, – вмешался Черепанов. – Правда, ребята?

Механизаторы ничего не ответили, но Черепанов, кажется, и не ждал ответа, сам сказал:

– Вот получите урожай, тогда и рассчитаемся.

Глаза у Черепанова стали ясными, внимательными, и Евдокия Павловна окончательно успокоилась. Кажется, становился Черепанов из честолюбивого технаря её союзником, надёжным человеком. Что ж, если на пользу разговор тот крутой пришёлся – только радоваться надо...

Черепанов довёз их до конторы, ещё раз заверил, что проследит за механизаторами. И даже сумрачный Емельянов щедро улыбнулся ему на прощанье, дружески похлопал по плечу.

В конторе их дожидался районный уползаг Шальнев. Если по полному титулу величать Шальнева, то в газетах должность именовалась длинно и звонко: уполномоченный наркомата по заготовкам сельскохозяйственной продукции. Пуще грозы и злого мороза боялись Шальнева в деревнях и сёлах. И даже у тех, кто воевал, рвался под шквалом огня в атаку, тонул в вязких гнилых болотах, замерзал в лютую стужу, голодал и остался жить, – даже у них холодела кровь, будто проваливался человек в трясину, начинала засасывать его рыхлая сосущая бездна. Шальнев ходил в тёмно-зелёной форме, под френчем угадывался бугор пистолета, сапоги блестели, как у самого изысканного щёголя. Ездил Шальнев на трескучем трофейном мотоцикле БМВ, и не только куры и собаки пугливо бежали с дороги, когда въезжал он в деревню, но и люди прятались, словно боялись заразиться чумой или холерой, одним словом, такой хворобой, которая косит людей, как косой.

В задачу Шальнева входил сбор мяса, молока, шерсти и других продуктов, и службу свою нёс он с огромным рвением, ничем было нельзя от него откреститься, вгрызался он в свою жертву. Несколько раз поступали на Шальнева жалобы в райком, но невозможно придраться было к нему. Действовал Шальнев строго по инструкции, а там всё расписано чётко: не сдал вовремя мясо – могут свести корову или другую живность со двора, описать имущество, направить дело в суд. Правда, к такой мере, как опись имущества, Шальнев прибегал редко – чего описывать, если в домах – шаром покати, в лучшем случае деревянная кровать с клопами да пустой сундук, в котором мыши давно свили гнёзда.

Чаще всего Шальнев уводил со двора скот. Жутко было наблюдать картину, когда за тарахтящим на малом газу мотоциклом болтается на верёвке рогатая коза, трясёт бородой, жалобно блеет или крутит могучей шеей корова. Жизнь, пищу, надежду уводил со двора Шальнев, и только стон и глухие проклятья неслись вслед, плач детей и женщин.

Сейчас при виде Сидоровой Шальнев вскочил со стула, подобострастно выгнул длинную, как у гусака, шею, и эта картинная подобострастность вызвала отвращение. Евдокия Павловна до дрожи не любила встречаться с Шальневым. И ничего здесь изменить невозможно, хоть Сидорова пыталась это сделать. Человек – натура избирательная, одно принимает с радостью и вожделием, другое – равнодушно, безразлично, а третье – с отвращением, будто берёт в руки осклизлую, как камень-голыш, лягушку. Вот это гадливое ощущение возникало у Сидоровой при встрече с Шальневым.

Вряд ли догадывался Шальнев об этих её чувствах. Он заговорил о том, что в Товаркове плохо идут мясозаготовки, распустились колхозники, не понимают дисциплины, что он специально приехал, чтобы подкрутить гайки, покончить с разболтанностью. На миг пришёл в память тот вихрастый парнишка, который питался «тузятиной», и Сидорова снова вздрогнула, – возникло ощущение, что она теряет сдержанность. Надо успокоить себя, надо, она и так, кажется, не совсем справедливо откостерила Черепанова. Каждый должен делать своё дело,

служить тому, чему присягнул. Но память – колодец прошлого – словно вновь заплескалась водой, колыхнула недавний эпизод с этими ребятами, и она обратилась к Шальневу:

– Не надо сейчас злить народ, товарищ Шальнев.

– Что значит «злить народ», Евдокия Павловна? Никакой злобы быть не должно, только дело... С государством надо вести честно...

– Я не призываю вас к нечестности. Только время сейчас не то – голодают люди...

– Что-то я вас не пойму, товарищ секретарь, – ухмыльнулся Шальнев. – Здесь всё время голодают. А моё какое дело? Меня держат на работе только с одной целью...

– С какой? – перебила Сидорова.

– С целью реализации указаний партии и правительства. Мясо для армии необходимо, для рабочих. А тут что получается, вот даже товарищ председатель уважаемый забывает рассчитываться с государством.

Шальнев посмотрел на Емельянова, тот сжался, втянул голову, забормотал что-то себе под нос.

– Да ведь правильно, не время сейчас. Вот осень придёт, нагуляет жирку скот.

– Не надо меня учить, Емельянов, время или не время. Мясо должно ежемесячно поступать.

– Да не в том дело, Шальнев, – вступила опять в разговор Евдокия Павловна, – слово «время» надо в другом смысле понимать. Я ещё раз говорю вам – голодают люди. Голодный человек на всё способен.

Говорила искренне Евдокия Павловна, в гневе и голоде человек велик и неуправляем, а обстановка в Товаркове, как в сухую пору в степи – кинь спичку, и хлопнет пламя, словно рот раскроет, а потом будет в ненасытную пасть поглощать всё – бурьян и ковыль, хлеб и деревья, надежды и ожидания. Об этом и сказала Шальневу, но тот снова повертел жилистой шеей, побагровел и заскрипел:

– Да вы вроде меня пугаете, Евдокия Павловна. Но волков бояться – в лес не ходить.

– Я требую, – решительно сказала Сидорова, – чтобы вы не провоцировали население...

– Значит, – нахально усмехнулся Шальнев, – запрещаете. А я не стану выполнять ваших запретов, хоть вы и секретарь райкома. Вот с председателя и начну.

Шальнев выскочил из кабинета, только сверкнули его начищенные сапоги, и вслед за ним быстро метнулся Емельянов, прытко и сгорбленно исчез за дверью.

Точно ветром обожгло тело, насквозь выстудило, будто сквозняком, сдавленным потоком. Евдокия Павловна лихорадочно думала, как поступить. Может, позвонить Константину Ивановичу, пригласить Шальнева на бюро, взгреть, что называется, по первое число, пусть не будет аполитичным и сухим человеком? Она долго крутила телефон и когда, торопясь и заикаясь, рассказала о визите Шальнева в Товарково, первый секретарь сказал сухо:

– Правильно он поступает, Евдокия Павловна. Мы всех разослали по району потому, что в начале июня меня на бюро обкома приглашают. Как раз за мясопоставки. Я и вас попрошу подключиться к этой кампании.

«Ничего себе кампания» – подумала Сидорова и с тоской повесила трубку. Так вот почему так нахально держался Шальнев, чем-то похожий на городского воробья. Заручился высокой поддержкой и прёт напролом, не считаясь со здравым смыслом. Нет, надо ехать в райком, доказать и первому, и всем, как плохо сейчас в деревне, как стойко держатся голодные люди, и как необходимо сейчас спокойствие и равновесие, чтоб не всколыхнуть, не озлобить до конца, не подорвать веру в справедливость. Ведь крутые волны рождаются от маленькой морщинки на воде, а потом под ветром набирают мощь и размах, любого опытного пловца в пучину затянут. Вернулся хмурый Емельянов, махнул рукой.

– Не уговорил! Шлея под хвост попала? Пошёл домой ко мне...

– Не расстраивайся, Егор Степанович. Завтра я в райком уеду, постараюсь успокоить заготовителей. А с вами я хочу вот о чём посоветоваться... Семена получили?

– Да, только сейчас привезли...

– Так вот, Егор Степанович, а может быть, то просо, которое у вас в складе лежит, раздадим людям? Как?

– Да вы что, Евдокия Павловна! Посадят меня, за Можай загонят. Разве можно так с семенным зерном поступать!

– Не поймёшь, тебя, Емельянов: то у тебя лузга, то семена. Мне что, самой посмотреть?

– Зачем это вам, Евдокия Павловна! – зашёлся коротким смешком Емельянов. – Морока одна! Сам разберусь. Только посадят как миленького.

– Я считала тебя, Емельянов, смелым мужиком, а ты, видать, зря штаны носишь. Для модели, чтоб девки не глядели. А вроде на фронте воевал...

– Совсем пристыдили, Евдокия Павловна, – просто сказал Емельянов, – срам один. Уж не считаете ли вы меня злыднем каким, вроде Шальнева? Не такой я человек... И мне людей жалко, только не знаю, как помочь. Как рыба об лёд бьюсь, а всё впустую. Ну теперь ясно: семь бед – один ответ.

Они ещё с полчаса беседовали о колхозных делах, о севе крупяных, о предстоящем сенокосе. И уже перед расставанием Емельянов сузил глаза, сказал с восхищением:

– А вы смелая женщина, Евдокия Павловна! Вроде солдат какой, честное слово! У меня настроение поднялось, надежда засветилась...

Решила Евдокия Павловна не испытывать судьбу, не блукать ночью, а выехать завтра утром, когда ещё не сильно печёт солнце. Она попросила Емельянова пораньше запрячь лошадь, подкормить перед дорогой, и Егор радостно закивал головой.

Кажется, снова ждала свою постоялицу Мария Степановна и вроде обрадовалась, когда пришла Сидорова.

– А я всё думала-думала, – заговорила хозяйка, – чем угощать тебя. Свёклы натушила. Вкусная вещь, вроде сахара. Ты уж не прогневайся.

Они ужинали, и Мария Степановна рассказывала неторопливо, но грустно.

– А у меня ныне этот начальник по мясу был. Уж так кипел, так кипел – как самовар пыхал. Яйцо, вишь, не сдаю. А я возьми да частушку ему выдай. Вот такую...

Мария Степановна улыбнулась, обнажила щербатый рот, звонким голосом потянула:

Милай Вася, я снеслася  
У соседа под крыльцом.  
Милай Вася, дай мне руку,  
Я не вылезу с яйцом.

Ну что тут было, вроде его корова в зад рогом кольнула. Кричит поросёнком резаным: «Издеваешься, старая!» А какая я тебе старая, говорю, я ещё передком горячая. А он совсем, как собака, рычит. Говорит: «Скотину со двора сведу!» Давай, говорю, действуй. У меня, как у цыгана – в одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха на цепи. Ну, он пулей из дома выскочил. Ой, что теперь будет-то!

Кажется, первый раз в Товаркове смеялась открыто Евдокия Павловна. А она, оказывается, потешная, эта Мария Степановна! Ей бы жизнь полегче, посытнее, без потерь – она бы людям такую энергию несла своим смехом, как солнышко теплом начиняла. Не суждено ей, обидела жизнь, а всё равно не сдаётся...

- Ничего не будет, – сказала Евдокия Павловна сквозь смех.
  - Нет-нет, ты меня зря успокаиваешь. Власть всё-таки. Разве зря он зубками скрипел?
  - Сточатся они у него.
  - Верно говоришь? Хорошо бы, и то норовит в ляжку вцепиться.
- Она помолчала, принесла из чулана чугунок со свёклой, поставила на стол.
- Хлеб-то подавать? – спросила со вздохом.
  - А как же...
  - Я думала, может быть, домой повезёшь...
  - Плохо думала...

Они поужинали, и Мария Степановна сказала задумчиво:

- Неуж-то Сталин не знает? Вот бы ты ему письмецо нацарапала. Так мол и так, Ёсиф Виссарионыч, мытарится народишко, вчистую гибнет. Подкинь ты ему хлебушка, и он в трату державу не даст, как лошадь пахать будет!

Улеглась Евдокия Павловна пораньше с расчётом завтрашнего отъезда и сегодня уловила тонкий аромат сухого сена. Значит, матрац под ней мхом набит, так мягкую шелковистую траву, похожую на мелкий хвощ, называют в их местности. Растёт он на болотах, на зыбкой почве и источает какой-то сладкий аромат. И сон пришёл сладкий, успокаивающий, хоть и лили в душе холодные ливни.

...Утро было прозрачно-хмурым, на юго-западе вспухали тучи, и Евдокия Павловна подумала, что, может быть, наконец пойдёт дождь, ещё не всё упущено, отольёт посевы, напоит землю. Она быстро собралась, и наблюдавшая за ней Мария Степановна вдруг захлопала носом, задёрнула плечами.

- Вы что, Мария Степановна? – удивлённо спросила Сидорова.

– Опять одна остаюсь, – сквозь слёзы ответила Мария Степановна, и чувства нежности и жалости одновременно появились в душе Сидоровой. Две ночи провела Евдокия Павловна в этом доме, а впечатление такое – будто сто лет знает хозяйку. Видно, подкупила она своей судьбой, своей искренностью, открытым сердцем. Словно богаче становится тот человек, кто встретит вот такую женщину. В лихолетье они встретились, и чувствует Евдокия Павловна – надолго, на всю жизнь останутся в памяти эти дни.

- Ты вот что, – сквозь слёзы улыбнулась Мария Степановна, и улыбка эта не показалась вымученной, – когда ещё будешь в Товаркове – не пройди мимо. Прямо сразу ко мне, без председательского наряда.

Вышла на улицу Евдокия Павловна и снова покосилась на юго-запад: как там туча, движется или нет? Слово есть одно интересное у местных – «замолаживает» или нет. Туча замолаживала, росла, пучилась, и Евдокия Павловна усмехнулась – может быть, дошли мольбы до Всевышнего, расщедрится да пошлёт спокойный дождь на землю. Вспомнила она, как после революции, наверное, в двадцать первом году, видела она Крёстный ход в своей родной деревне. Просили люди у Бога дождя, исступлённо крестясь и припадая к иконам, а он словно забыл о своей пастве. Наверное, во имя дождя и к Богу, и к чёрту обратишься, лишь бы пролились дождевые струи на обессилевшую землю, наполнили её чрево здоровой силой.

Бегом бежал навстречу Емельянов, и Евдокия Павловна испугалась: что-то произошло, наверняка, стряслась беда. А вдруг с Николаем? Больной он человек, страдающий. Ему Евдокия никогда не говорит о болезни, а у самой всегда в голове, как заноза, страшная мысль: а вдруг? Нет, нет и нет...

Председатель подбежал, торопливо подал руку:

- Шальнева убили...

– Где?

– За Товарковым у речки нашли.

– А кто нашёл?

– Пастухи. Они стадо выгнали утром и тело обнаружили. Мотоцикл на горюшке, а труп внизу, в воде.

– Милицию вызвали?

– Да, обещали скоро приехать...

Что-то вступило в ноги, будто тяжкие путы навесили, но надо было двигаться, спешить. Они прибежали на конюшню, где уже была запряжена лошадь для Евдокии Павловны, поехали на другой конец Товаркова, где неожиданно равнина обрывается, круто сползает к реке. Место это звали в Товаркове Африкановкой, а от него уходила дорога по речке в соседнее село Моисеево. Пока ехали, Емельянов высказал предположение: видимо, после того, как допоздна Шальнев обходил дома на Африкановке, поехал он на ночлег в соседнее Моисеево. По людской молве, была у Шальнева милаха, молодая вдова в Моисееве. На дороге и подстерегла его смерть. Они оставили лошадь на дороге, рядом с мотоциклом, а сами начали спускаться к реке. У трупа уже толпился народ, молодой и старьёй. Завидев их, участковый милиционер Дмитрий Насонов растолкал людей, побежал к Сидоровой. Он зашептал ей на ухо:

– Предположительно часов в одиннадцать убийство произошло. Кто-то сзади обухом по голове ударил, когда Шальнев на мотоцикле сидел. А к реке его уже притащили, след на бугре остался, сапогами прочерченный.

– Не предполагаете, кто?

– Да проверять надо.

Евдокия Павловна подошла поближе, и её как в озноб кинуло: лицо у Шальнева иссинячёрное, в подтёках, мокрая одежда прилипла к телу.

Смотреть больше не было сил, смерть всегда страшна, тем более такая нелепая, и Евдокия Павловна, отозвав в сторону Насонова, попросила:

– Вы обязательно найдите убийц...

– Найдём, будьте спокойны...

Она простилась с Емельяновым, с трудом выбралась на бугор – ноги по-прежнему были тяжёлыми, налитыми свинцом, плюхнулась в повозку. Надо было возвращаться к своим делам, к своим проблемам, а мозг лихорадочно работал в одном направлении: кто убил Шальнева, за что? Уж не выместили ли на нём товарковские мужики свою нужду и злобу за неприкаянное житьё-бытьё, голод и отчаяние?

Налетел ветер, стылый, порывистый – и Сидорова поняла: опять не будет дождя. Туча уже не волочилась над землёй, словно пена лохматилась, рассыпалась на части, уходила ввысь. И снова тоскливее становилось на душе, беспомощность угнетала и угнетала. Страшнее нет ситуации, когда видишь беду, а не знаешь, как отвести её, защитить людей, сохранить для них тепло и благополучие. Получается тупик, будто болотная топь, гнилое место впереди: шагни – и вязкая, вонючая трясина поглотит в свою бездну.

Нет, надо находить выход... А может быть, права Мария Степановна, надо написать письмо Сталину? Должен же он знать, как бедствует народ-победитель, его народ, трудолюбивый и мужественный? И чем дальше отдалялась Евдокия Павловна от Товаркова, от этого многострадального села, где, как хлеб, берегут крапиву и лебеду на чёрный день, где стынут виски от спокойных детских слов про «тузятину», тем сильнее крепло желание поступить именно так. Напишет она письмо, обязательно напишет.

Длинная дорога лежала впереди, и Евдокия Павловна неторопливо стала обдумывать текст, слова в голову приходили быстро, со стоном. Рассуждала Сидорова просто – все мы боимся

сказать Сталину правду, сокрыта эта боязнь в каждом, а вождь должен знать всё о своём народе – и плохое, и хорошее, и пусть в трудный час беды будет вместе с ним, живёт его тревогами и заботами. В этом должно проявиться благородство великого человека. Надо обо всём написать и, в первую очередь, о том, что увидела за несколько дней Сидорова в Товаркове; о Марии Степановне, этой русской бабе, которая потеряла всё, но цепляется за жизнь, борется и падает; о Емельянове, что в сердце носит с одной стороны исчезающую тревогу за землю, за судьбу своих односельчан, а с другой – сжат, как пружина, законами и запретами, будто птица в клетке, пытается взлететь, а крылья не даёт расправить решётка. Молча смотрит, как последний хлеб увозят из села, молчит о смертно тяжкой жизни крестьян.

Опять становилось жарко, застойный воздух испустил последние капли прохлады, накопленной за ночь, и тело покрылось потом, взмокло. А может быть, это волнение от внутренней войны, которая неожиданно вспыхнула в Сидоровой? Суть этой войны сводилась к одному – больше нельзя спокойно смотреть на людские страдания, надо искать выход, ориентир, варианты. А с другой стороны – знала Сидорова, что всё это может обернуться против неё, стоячее болото одним камнем не всколыхнёшь.

## Глава седьмая

После отъезда Лёньки наступила какая-то усталость. Нет, Андрей работал столько же, жил в том же ритме, но плечи ощутимо сковал мороз, свёл их к лопаткам так плотно, что даже шевельнуться больно, а ноги будто в капкан попали, на них висит непомерный груз.

Однажды, когда служил Андрей в Карелии, в последние дни войны с немцами во время ночного караула у артиллерийского склада услышал он тягостный звон в кустах и даже оцепенел: что за наваждение такое, что случилось? А звон всё нарастал и нарастал, из кустов нёсся сдавленный хрип, и напарник Андрея Степан Севрюков не выдержал, полыхнул короткой очередью. Прибежали лейтенант и сержант Корноухов, с фонариком обследовали куст. Оказалось, кабан, небольшой поросёнок килограммов на сорок притащился с капканом. Стальные острые зубья врезались ему в ногу до крови, и лишь пули Степана лишили животину жизни. Вот и сейчас Глухову будто перехватило ноги тугой металлической скобой.

Он возвращался с конюшни, закончив пахоту. День угасал, густился, как туман, ночной полумрак. Значит, оставалось одно на сегодня: подоить корову и завалиться спать, сон – лучший лекарь от усталости и плохого настроения, он будто разглаживает холодным утюгом складки пережитого, физического и духовного недомогания. Андрей думал о Лёньке, постоянно терзался вопросом: как он там, сыт или голоден, не обижен ли озорными парнями? Наверняка, тоскует парень... По себе знал Андрей, как тяжело прощаться с родным домом, кажется, вынули душу из тесной груди, и она улетела, как сокол в поднебесье, оставив в теле сквозную кровоточащую рану, зияющую холодную пустоту. Надо долго привыкать, чтоб отодвинуть из памяти домашний быт, тепло, уют, чтоб затуманилось, затянулось дымкой постоянное ощущение рядом близких людей...

У дома Силиных заметил он Ольгу, видимо, занимавшуюся переборкой картошки, и захотелось остановиться, спросить, как здоровье. И вообще сердце требовало какого-то человеческого участия, облегчения, снятия напряжения, иначе будет ещё труднее, оно не выдержит, даст трещину, как лёд при сильном морозе, или окостенеет, превратится в морёное дерево.

Он по тропинке подошёл к дому, громко поздоровался, и Ольга встрепенулась, словно испугалась, наверное, смущённо зарделась – в сумерках не рассмотреть – зябко запахнула кофточку на груди, ответила приветливо:

– Здравствуйте, Андрей Фёдорович!

Не величали Глухова в деревне по батюшке, и ему даже странным показался этот официальный тон, но он постарался не придавать этому большого значения.

– Никак, картошку собираетесь сажать?

– Ага, – просто ответила Ольга. – Уже все сроки прошли. Одна я, наверное, в деревне осталась...

Она хотела добавить, что эта скряга бабка Мореева всё тянула и тянула с семенной картошкой, трясла с Ольги деньги, но пенсионное дело, видно, ещё не вернули, иначе военкомат её бы известил, и только день назад соседка предложила: «Забирай пока без денег», но зачем Глухова посвящать в свои проблемы, у него, небось, своих забот хватает.

– Нет, не только вы, – усмехнулся Андрей, – я тоже... Когда Лёнька, брат, был дома, начали, а теперь в единственном числе остался, не получается...

Он и в самом деле попробовал сажать один, но трудно, говорят, одной рукой и нос, и ногу ухватить. Сначала надо ямку лопатой выкопать, потом картошку бросить в лунку, землёй присыпать, снова лунку подготовить... Морока, да и только...



– А можно я вам помогу? – сказала Ольга.

– Да не стоит беспокоиться, Лёнька на выходные придёт, и тогда...

– А если не придёт, если его не отпустят?

Не думал об этом Андрей, а сейчас в душе согласился... Не на своей воле братан, их, как солдат-первогодков, наверное, охраняют. Попробуй, выберись, наведайся в гости! Лучше уж действительно попросить помощи у Ольги, а заодно и ей помочь. Вот и квиты будут.

– Вот что, соседка, – кивнул головой Андрей. – Наверное, правильно вы говорите – вдвоём легче управиться. Только сначала у вас посадим, а потом у меня. Пойдёт?

– Пойдёт, – облегчённо вздохнула Ольга. – Я тогда попробую у Бабкина лошадь попросить... Небожь, не откажет... Сама-то я не умею сохой пахать...

За военные годы всему научилась Ольга: и крюком хлеб косить, и сено заготовливать, и на волах работать, а вот картошку сохой сажать – не получается. Соха-то в землю зарывается, кажется, до воды достаёт, то выскакивает совсем, землю дермыжит, не больше.

– Было бы здорово – и быстро, и надёжно, – сказал Андрей.

– Ну тогда я утром на наряд сбегаю, – сказала Ольга, – и вам скажу.

Осталось спросить про здоровье – и можно было прощаться, но Андрею не хотелось уходить от этого дома, будто неведомая бечёвка привязала его, держит накоротке поводок, даже смешно стало: что ты, в самом деле, прилип сапогами, что ли, к этому месту, клеём приклеился?

На вопрос о здоровье Ольга ответила быстро: «Нормально» и спросила с напряжением:

– А где вы меня прошлый раз подобрали, не помните?

– Как же не помню: в молоканской канаве...

– А меня, как мраком, накрыло, память вымело – ничего не помню. Только в деревне поняла, что меня на руках волокут, как мешок... Спасибо вам, доставила забот... С голодухи всё это, я ведь целый день без еды.

– Разве можно так? – Андрей почувствовал, как у него обиженно дёрнулись брови.

– Сама понимаю, что нельзя. – Ольга виновато улыбнулась, – только денег у меня не было... За пенсией в Хворостинку ходила, а не получила, прошлёпала впустую...

– Случилось что-нибудь? – спросил Андрей.

Пришлось рассказать о неожиданно объявившемся свёкре, о тяжбе, затеянной им, и Андрей возмущённо сказал:

– Вот мироед проклятый... Как сына воспитывать – так смотался, а деньги делить с сиротой – явился, не запылится. Вы бы ему, Ольга, в лицо плюнули, паразиту этому... Сколько лет он по свету мотался, как перекасти-поле, а теперь вот, пожалуйста, вынырнул...

– Всё правильно, – откликнулась Ольга, – только где он сейчас, ещё не знаю. Говорят, в Воронеже обосновался.

Уже стемнело совсем, от пруда потянуло приятной такой прохладой, которая чуть присадила густую духоту, освежила воздух. Надо было идти, корова, наверняка, ждёт хозяина, протяжно мычит, а ему не хочется уходить. Может быть потому, что устал сильно... Но когда простился с Ольгой, приветливо кивнувшей ему, пошёл домой – усталости в ногах не было, исчезла, растворилась, будто вытолкнула её свежая прохлада ночи.

Благодарное существо – корова. Пока доил Андрей свою кормилицу, она лизала его шершавым языком, тихо мычала, будто жалела. Может быть, есть у неё понимание, как тяжело её хозяину мыкать одиночество, быть в доме одному, тянуть все мужские и женские заботы, даже вот это, не мужицкое занятие – доить корову – освоить? Животные – существа понятливые, душевные, за ласку готовы платить лаской. Корова вот ведром молока расплачивается...

Кстати, скопилось этого молока в погребе с добрый десяток горшков, даже сметану снять некогда... Сейчас бы заняться этим, поставить сметану в тёплую печь, а потом сбить янтарное, духовитым лугом пахнущее масло. У Андрея и маслобойка есть – квадратный, из досок сбитый сосуд с тяжёлым дубовым поршнем. Вот бы угостить завтра Ольгу, ребятёнка её – сила бы в момент вернулась!

При воспоминании об Ольге Андрей улыбнулся легко и приятно – в душе мелодично тонкий колокол зазвенел, зазвучал, как под ветром. Почему, отчего – не понять, но так удобно, просторно, покойно давно не было, будто ночная тишина, мирная и цельная, сделала сердце наполненным сосудом радости, закупорила его от волнений.

Закончив доить корову, Андрей спустился в погреб, занялся сметаной, потом при свете лампы провёл уборку в доме. Все дела его имели сейчас один смысл – завтра, а точнее, уже сегодня, должна прийти Ольга, и у него должен быть в доме не солдатский бивак, а нормальное жилище, приветливое и ухоженное. Он помыл полы, отскоблил ножом стол до воскового блеска, даже стёкла окон промыл чистой тряпкой, протёр полотенцем.

И спал Глухов неуютно, как испуганная птица, воробей в скворечнике, из которого его скоро выбросят настоящие хозяева. Он всё боялся пропустить рассвет, не подняться вовремя, до прихода Ольги.

Вскочил он от духоты, липкого пота, выступившего на шее и лице, отчего подушка стала мокрой, быстро умылся и разжёг огонь на загнётке. Как на грех, не оказалось спичек, и огонь пришлось долго высекать «катушей».

Великая мудрость заложена в народе, удивительная непотопляемость! Не стало спичек во время войны – и вот этот маленький блестящий кусочек металла помогает добывать огонь. Надо только иметь кремень, кусок ваты и не упустить момента, когда зачадит высеченная искра, раздуть пламя. Вспомнил Андрей этот лозунг декабристов, вычитанный в учебнике: «Из искры возгорится пламя», и грустно улыбнулся – для него сейчас это было реальной задачей, необходимостью, иначе останешься без завтрака.

Когда вспыхнули кизяки, и поставил Андрей чугунок с картошкой на огонь, вспомнил он с благодарностью брата. Лёнька постарался, чтоб не голодовал Андрей. Два дня назад приشمыгал к нему вечером Иван Тихонович, глухо проговорил:

– Картошку забери, Андрей!

И больше ничего не сказал. И Андрей молчал скованно, глядел недобро-удивлённо на него, хоть отлично понимал, что поступает несправедливо. Разве виноват дед Иван в гибели Анюты, разве он, как и Андрей, не имеет в своём сердце открытую рану?

Он сходил на край деревни к Тишкиным. Бабка Меланья, завидев Андрея, метнулась к нему, хотела, наверное, что-то спросить, но застыла на месте, наколовшись на холодный взор. Горько было во рту, спеклось всё – кровь, рот, губы, и он унёс молча тяжёлый мешок.

Картошка оказалась царской едой – рассыпчатой, вкусной, как сало с мороза. Ну как тут не вспомнить Лёньку, не поблагодарить его хотя бы мысленно!

Пока варился завтрак, успел Андрей сбить масло, желтоватые катыши уложил в миску. За заботами голова не выпустила думы об Ольге – он словно жил ожиданием, волновался, выглядывал в окно, глядел на тропинку – не показалась ли? И когда Ольга застучала башмаками в сенях, встрепенулся, натянутой ниткой выпрямилось тело. Она появилась на пороге с усмешкой на губах, со спокойными грустными глазами, и Андрей понял: значит, всё в порядке, смилоствовался Бабкин для вдовы.

– Порядок? – спросил Андрей.

– Вот записку написал конюхам.

– Ну, тогда завтракаем – и за дело. Есть хотите? Молчала Ольга, Андрей усмехнулся:

спросил у больного здоровье! Да кто же её кормил, где такой хлебосольный стол? Уж не Бабкин ли расстелил белую скатерть-самобранку от щедрот своих?

Он поднялся с лавки, принёс пищу на стол, придвинул масло:

– Подкрепляйтесь, день у нас тяжёлый будет!

– Бабка Таня пообещала помочь... – сказала Ольга, без жеманства усаживаясь за стол.

– Ну, тогда лучше. Двое, трое – не как один.

Завтракали они торопливо, ели толчёную картошку с маслом – и запах степного разнотравья висел в комнате, и показалось Андрею, будто так было всегда, вот эта женщина сидела здесь и вчера, и позавчера, и неделю назад. Даже тогда, когда была жива мать. Ничто для человека не проходит впустую, бесследно – вот и этот миг стал для Андрея дорогим и добрым, дом посветлел, вроде в нём подняли потолки, расширили окна, будто вкатилось игривое солнышко, высветило каждый уголок.

Они поели молча, время торопило, почти два огорода за день посадить – нешуточное дело, и только когда закончили, Андрей предложил:

– Возьми домой масло, Ольга!

– Зачем? Не надо...

Хорошее настроение, которое словно с приходом Ольги вошло в дом и вселилось в Андрея, подтолкнуло его к весёлому разговору:

– Вы знаете, у нас до войны Олдоша приходил из Шехмани. Блажной, люди его кормили, давали хлеба на дорогу. А он этот хлеб деревенским собакам отдавал. Пришёл к нам, обращается к матери: «Молодая, – он так всех величал, – давай я твоей собаке хлебушка дам». «Не надо», – отвечает мать. А он приплясывает, радостно говорит нараспев: «Ты говоришь – не надо, а я говорю – надо, ты говоришь – не надо, а я говорю – надо». И с песней шёл собаку кормить. Вот и я говорю – надо. И спорить не следует. Считай за блажного!

Кажется, с лёгким сердцем восприняла этот рассказ Ольга, сказала с усмешкой:

– Надо так надо – возьму!

Собрался на конюшню Андрей, а Ольгу попросил готовить семена. Надо порезать некоторые клубни – так практичнее, меньше потребуется. Ольга вооружилась ножом, в сенях насыпала картошку в вёдра, принялась за дело. Сноровисто работала, ловко, Андрей даже залюбовался её быстрыми движениями.

Андрей шёл на конюшню, и где-то глубоко внутри у него возникло сначала неприметно, а потом уже осознанно, твёрдо: в это трудное время надо держаться им с Ольгой рядом. Вот у него молоко пропадает, а у Ольги – мальш, ему оно полезно. Или мужские руки потребуются, скажем, ту же картошку перепахать. Людей сейчас должна объединять общая беда.

Он вернулся домой с лошадьё в поводу, разыскал за сараем соху – ещё в военную пору кузнец Семён Андреевич отковал для отца. Долго искал палицу – широкую, похожую на лопату, вставку, выполняющую роль отвала, в душе ругнулся на Лёньку – видно, пострел куда-нибудь засунул. Но напрасно ругался – палица подсунута под пелену сарая, надёжно прибрана.

Он заглянул в сени, спросил:

– Готово?

Ольга приподнялась, красивым движением руки смахнула растрепавшиеся волосы со лба:

– Готово!

– Ну, тогда к тебе поехали?

Губы у Ольги шевельнулись в улыбке, и впервые Андрей рассмотрел, что она не такая уж угловатая, как ему она показалась в первый раз, и глаза у неё живые, открытые, и вот эта приметная улыбка... Бывает, всё забываешь в человеке, стирает память его облик, а вот улыбку, усмешку, тонкую дрожь губ память держит всю жизнь. Вот и у него ворохнулось

сердце, будто от испуга, и лёгкая дрожь пробежала, как от крика из темноты.

Они привели лошадь на огород к Ольге, вскоре приплыла, другого слова не подберёшь, бабка Татьяна с Витькой. И хоть давно Андрей не держался за чепыги сохи, первую борозду он провёл как по линейке. Пока сажали женщины грядку, он отдыхал, присел на межу. И сразу подскочил Витька, закрутился как волчок, начал задавать вопросы. Забавный малыш! Голос чистый, звучный, волосы выгоревшие, белёдые. В глазах – голубых, как у Ольги, – сейчас светилось живое любопытство, интерес.

– Дядь Андрей, а ты на фронте воевал? – опять задал вопрос Витька.

– Воевал...

– Немцев много убил, а?

– Ладно, брат, – засмеялся Андрей, – вон уж женщины заканчивают сажать, мне надо новую борозду им нарезать.

Витька коротко острижен, машинкой «под ноль» парня оболванили, как солдата-новобранца, нос прямой, длинный, лицо с выступающим подбородком. Он как-то по-взрослому серьёзен, смотрит изучающе. И сейчас сказал решительно:

– Они – не женщины...

– А кто ж они? – удивился Андрей.

– Они – моя мама и бабушка Таня.

– Ну ты даёшь, Витёк...

Он снова взялся за чепыги, крикнул на лошадь. Опять заструилась под ногами земля, лёгкий воздушный пласт рассыпался, как пена. Работать было легко, и вообще у Андрея поднялось настроение. Когда поравнялся с Ольгой, неожиданно даже для самого себя подмигнул ей дружески. Наверное, он смутился, но Ольга улыбнулась мягко, как утром, и на душе воцарились мир и покой.

Посадку огорода у Силиных они закончили часам к двум, и Андрей решил поскорее перегнать лошадь к себе, пустить её на пустырь – пусть походит, подкормится. В это время можно и самому подкрепиться.

Он шёл за сохой и неожиданно перед домом повстречался с Бабкиным. Видимо, тот направлялся после обеда на конный двор.

– Никак в зятя к Силиной определился, Андрей? – Бабкин вопросец этот задал с едкой ухмылкой, оголив рот.

Глухов поморщился – не может человек без пошлых намёков, но ответил спокойно:

– Ага, в зятя...

– Мать у меня, покойница, такую притчу рассказывала, – Бабкин остановился, закатил глаза. – Про зятьёв, стало быть. Будто бы идёт по лесу зять и видит, как заяц осину грызёт... «Ну как, зайчик, горька осинка-то?» А заяц в ответ: «Да не горше, чем ты в зятях живёшь». Ну как?

– Мудрый заяц, ничего не скажешь. На вас похож... Фыркнул Бабкин, не ожидал, видимо, такого дерзкого ответа, но ничего больше не сказал – пошёл прямой, как жердь.

Они работали дотемна. Андрей притомился, пришлось скинуть гимнастёрку, она промокла совсем, будто под свирепым ливнем, стала комом. Но рубашка бязевая была не суше, пришлось и её сбросить. Стало легче ходить за сохой.

Видно, устал и Витька за долгий день – он возился на меже, а потом уснул, опрокинулся в мягкую траву, смежил свои глазки, засопел ровно. Эх, хорошо пареньку! Никакие заботы его не терзают. Спит, и наверняка, видит сейчас красивые сны, где, как в сказке со счастливым концом, всё чинно и ладно, царят мир и благополучие. Когда это у него было? Так давно, что вспомнить трудно, тяжкое время всё заслонило, выветрило, как в кино – самые радостные кадры вырезало, и остались в памяти только серые будни, война, голод, потеря близких людей.

На память пришёл один эпизод из их детства с Лёнкой. Меньшему было тогда года четыре, говорил брат картаво, не давалось проклятое «р», хоть ты лопни. Однажды мать послала их рвать телёнку повилику в колхозных подсолнухах, и Андрей, пока шли, учил брата: «Говори – грач», – а Лёнка шепелявил – «гладч», снова: «берёза», а в ответ: «белёза», и так до бесконечности, до раздражения. Махнул Андрей рукой, видно, ленивый человек его брат, а тот неожиданно крикнул: «Рягушка!» Лёнка боялся лягушек, и этот неожиданный, похожий на вскрик ночной птицы, голос и напугал, и рассмешил одновременно. Выходит, наука на пользу пошла брату...

Весенний день, яркий, как звезда, угас, когда закончили они посадку. Андрей – не суеверный человек, но чуть не перекрестился: тяжкий день выдался, но, кажется, слава Богу, одолели. Теперь надо отвести коня на скотный двор, что-нибудь поесть – и в постель, блаженно вытянуть гудящие ноги, вроде не живые это ноги, не плоть человеческая, а столбы прямые, негнущиеся под проводами, стонут под тугим ветром.

Не хотелось Андрею будить Витьку, разбросал малыш грязные, в ссадинах, ручонки, вроде хотел обнять землю, взять в охапку, и Ольге не разрешил.

– Донесу до вашего дома, всё равно на конюшню идти.

Они поменялись ролями с Ольгой – та вела в поводу лошадь, а Андрей топал сзади них, нёс перед собой на затёкших руках Витьку. Спал малыш, лицо порозовело, малиновым всполохом играли щёки. Интересно, а сейчас какие сны снятся ему?

Около дома Ольги он передал ей мальчонку с потных рук, но Витька опять не проснулся, только чуть вздрогнули его белёсые, выцветшие брови. Ольга улыбнулась, попросила:

– Вы сейчас ужинать заходите, Андрей Фёдорович. И ты, бабуля, – она повернулась к шмыгавшей сзади бабке.

– И-и, какой там ужин, – махнула рукой старуха, – еле ноги волоку...

– Правильно, – кивнул головой Андрей. – Намаялись все, теперь отдыхать надо...

– Нет-нет, – решительно закачала головой Ольга, – так не годится... Великое дело сделали, да не поужинать? У меня и сюрприз для вас, Андрей Фёдорович, заготовлен, честное слово.

И уже снова, обращаясь к бабке, сказала:

– Пойдём картошку варить по такому случаю...

Нет, в душе был рад такому приглашению Андрей. Ему казалось, что попади он сейчас в дом Ольги, где царят женский уют и покой, и распахнётся настежь душа, ослабнет усталость в ногах, выветрится звон из головы.

Он кивнул головой и двинулся на конюшню. Конюхов уже никого не было – и Андрей ругнулся про себя: «Вот лодыри проклятые, уже домой разбежались».

Два конюха на шесть рабочих лошадей и четыре вола, а скот – впроголодь, шерсть на лошади топорщится от худобы. Но Бабкин к конюхам относился, как индусы к священным коровам, вместо того, чтобы заставлять работать. Их бы драть с песочком или крапивником по ленивым спинам, а председатель тих и ласков, как невеста. А ответ простой – калымят мужики на лошадях, сбивают магарычи в той же Верхней Лукавке, заодно перепадает и Бабкину из той кормушки, и царят тишь да гладь, да божья благодать в этом благородном обществе.

Пришлось Андрею отвести лошадь на Жидково болото, спутать и пустить на ночь – пусть подкормится на вольном выпасе. Когда возвратился в деревню, звёздное небо опрокинулось на Парамзино, мерцало и искрилось, и на востоке выплыл жёлтый, как ком масла, месяц, осветил дома, деревья, наплатил мир струящимся серо-голубым светом. Опять возник вопрос – может быть, не стоит заходить к Ольге, но показался этот вопрос пустым, зряшным: ведь ждёт человек!

Ольга и в самом деле ждала, на шаги в сенях распахнула дверь, глянула приветливо:

– Проходите, Андрей Фёдорович!

И бабка Таня зашевелилась на сундуке, недовольно побряхтев, – видно, уже дремала старая, усталая и разомлевшая от тепла, щемящего запаха пищи. Она сползла со своего сиденья, невидяще выставив вперёд руки, двинулась к столу.

Хоть и ожидал этого Андрей, но всё равно поразило его ощущение уюта в доме Ольги. Занавески на окнах – хоть и из подсинённой марли, и полотенца над ними, и кровать с красивым набивным подзорником, с высокими белоснежными подушками, другие маленькие детальки, – всё это напомнило мать. Любила порядок в доме Надежда Сергеевна, словно ласкала своими руками каждую вещь, и та под этими руками светилась и мерцала особым светом.

Поставила на стол Ольга бутылку очищенной – так в деревне «Московскую» именуют, улыбнулась:

– Вот сюрприз, Андрей Фёдорович!

Хорош сюрприз, ничего не скажешь! Не считал себя пьющим Андрей, не любил он пьяных, но на фронте без неё, родимой, тоже лихо было. Как вспомнишь окоп с водой стылой осенью, грязь вонючую, со ржавчиной, или морозный день с позёмкой вертячей, обжигающей – тут, брат, сто граммов, а может, и побольше – в самый раз. Иногда перед атакой не успевал старшина разлить норму, а после боя шептал, скрипя зубами:

– Делите её, ребята, в душу и бога мать, для себя – свою и мёртвых...

И делили, пили, не морщились, из кружек, чтоб живым жилось и пилось, а тем, кто до чарки этой не пришёл, не дотянул – чтоб земля пухом была. Да ещё за немецкую скорую погибель. Тост такой гвардейский был: «За нас с вами, и хрен с ними!» Может быть, и попрямее чуть-чуть выражались, пояснее – для прочности...

Сейчас в деревне с водкой туго, всё больше самогон, а «очищенная» – вроде денег, за всякие услуги, работу тяжкую. Вот и Ольга, видать, припасла на всякий случай.

Глухов разлил водку в три стакана, но Ольга замахала руками, и Андрей усмехнулся: что он, в самом деле, по себе женщин мерит?

Водка обожгла, опалила, покатила по телу тугой волной, размягчая натруженные руки и ноги, свет от лампы стал матовее, закачался плавно. Бабка Таня тоже выпила полстакана, по-мужски крякнула, потянулась к солёным огурцам, захрумкала редкими своими зубами. Показалась Андрею необычно вкусной картошка с маслом, вроде пряной, во рту тающей, и он припал к тарелке, ел, не стесняясь уже.

Они с бабушкой ещё выпили по половинке, и Андрей почувствовал, что, не уйди он сейчас, не выберись на воздух – разморит окончательно водка, и он грохнется на пол, блаженно вытянется и захрапит.

Он поднялся, стряхнув ладонью пот со лба, поблагодарил Ольгу за ужин, пошёл нетвёрдым шагом к двери. Ольга вышла за ним проводить и закрыть дверь, и Глухов, выбравшись на крыльцо, постоял несколько секунд, вглядываясь в темноту, привыкая к тусклому свету.

– Спасибо, Андрей Фёдорович, – Ольга стояла рядом.

– Слушай, Ольга, не зови ты меня по отчеству, не надо, не обижай, – махнул рукой Андрей и вдруг сказал твёрдо, не пьяным заплетающимся языком, а бодро и уверенно: – Выходи за меня замуж, Оля!

Сказал – и сам удивился своей смелости, решительности, с какой произнёс эти слова, и словно просторнее, как в широкой необъятной степи, стало в груди. Нет, он не думал раньше об этом предложении, оно пришло неожиданно, налетело, как шквальный ветер. Тряхнуло душу, но каким-то особым чувством Андрей уловил, что оно зрело в нём все эти дни.

– Ой, что вы, Андрей Фёдорович, – пробормотала Ольга. – Да вы идите, отдыхайте.

– Ладно, – опять твёрдо сказал Андрей и повторил: – Ладно.

Он постоял, устремив взор вперёд на дорогу и пошёл, покачиваясь, сливаясь с тусклой

Через неделю неожиданно приехал в Парамзино рябоватый, лет тридцати пяти, прораб Мрыхин. Ольга смотрела на него с интересом, когда Бабкин пригласил в контору её и несколько других женщин. Председатель сидел за столом, а Мрыхин разгуливал по кабинету важный и прямой, как сосна. Был прораб высокого роста, жилистый, энергичный, тряс паглами. Что-то было в его фигуре от горделивого лесного богатыря-лося – литой торс, могучие ноги, толстые губы, обветренные и вялые. «Тоже, наверное, как у сохатого» – с улыбкой подумала Ольга.

Прораб, дождавшись, пока все женщины усядутся, заговорил высоким бабьим голосом:

– Вот что, дорогие гражданочки, по очень важному дельцу решили мы вас побеспокоить...

Нужда возникла огромная.

– Нужды у нас своей хватает! – буркнула Нюрка Лосина и мрачно посмотрела на Мрыхина.

– Про вашу нужду я знаю, дорогие бабочки, знаю, не про то разговор. Вот какая нужда у нас – в райцентре детский сад строим, а кирпича нет. А церковь ваша без дела стоит, глаза мозолит. Вот, нужно её разобрать, милые гражданочки, на кирпич расшвырять.

– Пойди попробуй расшвыряй! – скривила рот Шурка Мореева. – Да она, как литая!

– Не горюйте, милые. Ломы я для вас привёз, аккуратные такие, как карандаши.

– Ну и пиши ими сам, – вздохнула Нюрка Лосина.

Мрыхин осмотрел женщин, поморщился, заговорил недовольно:

– Торопитесь вы больно, не поймали, а уж оцципали. Да не бесплатно, бабоньки, не за дорогие трудодни дельце это вершить станете, а за хлебушек, натуральный хлебец, печёный. Полкило за тысячу...

– Сам ломай, – крикнул кто-то.

– Значит, милушки, цена не устраивает? – улыбнулся Мрыхин. – Тогда поднимем – два фунта за тысячу... Ладно! Самую красную цену, дорогуши, называю – килограмм...

Женщины зашущукались, и Ольга поняла, что предложение Мрыхина их заинтересовало. Она подморгнула хитровато подругам, и те продолжили торг. Наконец, Мрыхин заморгал учащённо, захрипел:

– Всё, бабоньки, больше не могу! Полтора килограмма – и баста!

– А колхоз нас отпустит? – спросила Ольга.

– Вот разлюбезный товарищ Бабкин даёт согласие, – Мрыхин указал пальцем на развалившегося Бабкина.

– Ладно, бабы, давайте соглашаться! – крикнула Нюрка, и Мрыхин расцвёл в улыбке.

Эх, не знали бабоньки, на что соглашались! Церковь в Парамзино построена лет сто назад – говорят, специально проектировали её итальянские инженеры по заказу барина, и кирпич готовили недалеко, в буераке на Сорочьей горе. Глина там вязкая, что смола, и получился кирпич прочный, как гранит. Клади церковь на известковом растворе, а он будто прикипел к шершавой поверхности, приварился, и сейчас только искры летят из-под мрыхинских «карандашей».

К церкви Ольга взяла с собой Витьку – не всё же время ему на соседкиной шее сидеть, и поначалу он даже стал помогать ей – обтюкивал выломанные кирпичи молотком, сбивал известковый слой. Но нудная работа быстро наскучила сыну, надоела, и он сначала гонял голубей камнями в церкви, а потом убежал к бабке. Ольга тоже бы убежала – провались она пропадом, эта морока – только нужда великая заставила зубы сцепить, энергично шуровать

ломом, и вскоре пот заструился по телу, защищал неприятно.

Она проработала до вечера, посчитала кирпичи – не густо получилось, всего полтысячи, а пот ручьём бежит. И у других женщин – не лучше, только Нюрка похвалялась:

– Берите пример со стахановки – почти тысяча, бабоньки.

– Врёшь ты, Нюрка, – вскипела Шурка Мореева, – как можно! Стена-то, как чугунная, не расшибёшь...

– Бить с умом надо, – Нюрка постучала пальцем по лбу. – Надо ломом поддевать кирпич, деревяху подложить под «карандаш» – рычаг получается. Ты физику учила в школе, Шурка?

– Учила... – буркнула Шурка.

– Ну и применяй знания на практике... – засмеялась Нюрка.

Попробовала Ольга – и удивилась: права Нюрка! И легче, и – самое главное – результативно, крошится извёстка, иногда даже два кирпича можно ломом поддеть.

Но уже внизу, на Моховом озере, закурился туман, пополз белёсыми космами над берегами, начал окутывать ольхи. Пора домой идти, а вот завтра с утра Нюркин способ освоить...

Появился Мрыхин, начал обмерять штабеля с кирпичом.

– Не обманешь, миленький? – спросила Нюрка с ухмылкой.

– Нужна ты мне... – буркнул Мрыхин.

– А может быть, и потребуюсь, – засмеялась Нюрка.

К штабелю Ольги Мрыхин подошёл в последнюю очередь, когда другие женщины уже побрели домой. Он бесцеремонно оглядел Ольгу, глаза загорелись, засверкали, как у кошки ночью, он хмыкнул удовлетворённо.

– Сколько? – спросил.

– Пятьсот.

– Не шибко много, милая...

– Сколько есть...

– А записать сколько?

– Столько и пиши...

– Видать, не поняла ты меня, – округлил глаза Мрыхин. – Для тебя я хоть тысячу запишу.

– За что такая щедрость?

– Да просто так... Хочу к тебе вечером в гости зайти.

– А тебя кирпичом давно не гладили? – улыбнулась Ольга.

– Это как?

– А по физиономии... Гляжу я – она лоснится у тебя. Кирпичом протру – потускнеет.

– Играешь, милая. Не потужи, я ведь только для некоторых щедрый, не для всех.

Уходила Ольга с чувством брезгливости, будто вывалили её в грязи, в коровьем навозе, в липкой вонючей моче. Ну, ничего, завтра она его отбреет – будет до пят горячо. Найдёт такие слова Ольга, что собьёт с него спесь, самодовольство. Ухажёр несчастный!

И вдруг пришёл на память Андрей, побелевший, с непослушными губами от выпитой водки. Что он сказал тогда, что? Почему возникла в голове эта нелепая мысль? Кто она ему, Ольга, с какой стати в жёны идти предлагает? Да он и не знает её вовсе, так, шапочное знакомство, и если бы не случилась с ней беда, наверняка бы проходил мимо, как в городской толпе, не задерживался взглядом. Нет, только от выпитой водки голова у парня закружилась. Ведь он не женился, хоть и была у него любовь. Ольга это знает. Она помогала хоронить внучку Ивана Тихоновича во время войны, готовила стол для поминок...

Думала так Ольга, а внутри жёг крутой жар. Ну, а если не спьяну сказал об этом Андрей, а может быть, выстраданную, из глубины сердца вынутую тайну ей поведал, желанное высказал?



Тогда как? Ох, Господи, туман какой-то в голове и жизни! Что ждёт её завтра, послезавтра, впереди?

За годы войны Ольга лишь однажды чуть не сделала опрометчивый шаг, но вовремя одёрнула, приструнила себя. Набивался к ней в ухажёры Николай Боровков, капитан, приехавший в отпуск по ранению. Дрогнуло сердце: ладный, красивый Николай приходил к ней домой, и сухой жар запылал в Ольге. Наверное, ещё миг, ещё какой-то короткий кусочек жизни – и она бы махнула на всё, пошла бы на зов, вечный зов любви, распахнула бы створки души. Но женским своим чутьём угадала она – нет, не угадала, а даже увидела, поняла: не то...

А Николай остался жив, приезжал опять в отпуск в сорок пятом, когда Ольга ещё была председателем. Но к ней больше не заходил, и Ольга в душе благодарила его. Дурь слетела, развеялась, угасла, ей захотелось тишины и покоя. Николай же прилип к Настёне Панфёрычевой, и недавно та родила сына – копию капитана, и в душе Ольга даже испытала радость.

Дома Ольга с трудом отмыла будто вкипевшую в руки грязь и ржавчину от лома, привела в порядок разлетевшиеся волосы и только хотела заняться ужином, как в дверь постучали. Она не успела ответить, дверь распахнулась без скрипа, и на пороге вырос Андрей, немного смущённый и растерянный:

– Вот, Ольга, молока принёс...

– Ну зачем вы, Андрей Фёдорович?

– А мы вроде договорились прошлый раз, чтоб без этого обходиться... без отчества...

Словно молния сверкнула в сознании – оказывается, он помнит тот вечерний разговор! Значит, и про предложение жениться помнит? А вдруг сейчас ещё раз спросит? Как отвечать, как поступить? О-ох, не готова, не готова!

Наверное, испуг или удивление вспыхнуло у неё в глазах, короткий такой высверк получился, и Андрей посмотрел на неё с тревогой.

– Что-нибудь случилось?

– Нет-нет, ничего...

– А-а, – махнул рукой Андрей, – а я подумал... Говорят, что самый страшный тиран в жизни – тонкое попискивание собственной совести. Где-то внутри, в сердце, в печёнке, во всех внутренностях Андрея этот писк вызывал жжение, горячечный озноб: почему он тогда своим бесцеремонным вопросом, как неожиданным выстрелом, оглушил Ольгу? Наверное, не так поступают люди, уважающие мнение и желание другого человека, – не в упор и не в лоб.

А у Ольги, хоть и открещивалась она сейчас от Андрея, хоть и жило в голове, как мольба, как стон, желание не возвращаться к старому разговору, может быть, родившемуся в минуту слабости или размягчённости, вызванной водкой, всё-таки, как тоненький лучик света, скользнула мысль: «А если это не случайно? А если это серьёзно?»

За долгие годы одиночества знала Ольга, как тяжело оставаться наедине с собой, оставаться надолго, постоянно ощущать гнёт тишины и роковой безысходности. Для неё самое страшное время – ночь, когда кажется, что темнота не только поглощает предметы, но и растворяет тебя целиком, без остатка, как кусок сахара в кипятке, только воспалённый, испуганный мозг лихорадочно ищет успокоение, будто лекарство от страха и тоски одиночества.

Между тем Андрей потоптался у порога, взял горшок, опорожнённый Ольгой, спросил без внешнего интереса:

– Говорят, вы на заработки подались?

– Да, – усмехнулась Ольга, и внутреннее напряжение в ней ослабло.

– Ну и как работёнка? Не пыльная, но денежная, так?

– Да уж не приведи лихому лиходею...

– Зато начальник ваш на высоте!

– Какой начальник?

– Да прораб, Мрыхин... Сейчас шёл к тебе, а он навстречу с буханкой хлеба под мышкой. Как журавль длинноногий шагает, шеей крутит, будто от оводов. К Насте Панфёрычевой подался...

– А зачем к Насте?

– Зачем? – усмехнулся Андрей.

Он цепко посмотрел на Ольгу, как насквозь прожёт раскалёнными лучами, и отвернул взгляд. И Ольга смутилась, наверное, побагровела, вспомнив нахальный нажим Мрыхина, отвела глаза, спрятав растерянность и смущение.

– Завтра и я церковь крушить буду, – усмехнулся Андрей. Сквозь толщу смущения вернулось к Ольге ощущение реального, и она с удивлением уставилась на Андрея.

– Пахота кончилась... – Андрей говорил с удовлетворением в голосе. – Пары одни остались. Но Бабкин сказал – попозже заняться этим, надо тяглу роздых дать. Как-никак, всю весну мылились лошадки и быки, холки понабили. Вот и стал я вроде безработный. Так что пойду на кирпич.

Он кивнул на прощанье головой и скрылся за порогом, а Ольга почувствовала, как из груди кто-то вышиб тугой клапан удушья, в нос, в лёгкие, во все поры ворвался свежий воздух облегчения, и даже мозоли на руках от лома перестали ныть.

Но в это ощущение приятного вмешивался тонкий оттенок грусти – почему промолчал Андрей, почему же не вспомнил о прошлом разговоре? А может быть, само время, тяжкое, страдальческое, извечный дух природы должны сейчас объединить их, потому что вместе – значит надёжнее и прочнее, вроде стального каната, который трудно разорвать и взять на излом?

Движением души поняла Ольга, что нет, не кончился их разговор с Андреем. Он будет продолжен, и томительное ожидание предстоящего снова сдавило грудь.

\* \* \*

Церковь в Парамзине стоит на высоком холме, прилепилась на самом краешке порыжевшего взгорка, голого, как череп, а дальше местность обрывисто спускается к Моховому болоту, затянутому сейчас сизым облаком осоки. Андрей всегда удивлялся счётке русских: находили они для храмов самое высокое место в округе. И откуда бы ни двигался человек – взгляд в первую очередь натывается на церковь, на её золотистые головки-маковки, плывущие в летнем мареве среди зелени хлебов и трав. Давно не действует церковь в Парамзине, а горделивый вид сохранила, возвышается, как стройная красавица, в безликом окружении похилившихся домишек, будто ликует и радуется солнцу.

Власть не раз покушалась на парамзинскую церковь. И перед войной даже пытались развалить её тракторами. Андрей помнит, как протарахтели два могучих «челябинца», и его крёстный отец, первый колхозный тракторист Егор Кукишев крикнул собравшейся деревенской малышне:

– А ну, пескари, разбегайся. Иначе может грех быть. Ещё придавит кого-нибудь!

Мелкота убежала на выгон и оттуда наблюдала, как заводили трактористы толстые (кто-то сказал: «танковые») тросы за маковки, а потом взревели машины, вздыбливая землю, исчезли в клубах пыли, как растворились, и только рёв сокрушал тишину. Грохнула одна из маковок, как срубленная голова одуванчика, закрутилась в пыли, но больше ничего не произошло. Несколько

раз трактористы пытались завести по новой трос, по-медвежьей рычали дизеля, но церковь, как кряжистый дуб, даже не колыхнулась. Поняв тщетность своих потуг, трактористы поругались для порядка матом и уехали по дороге, оставляя за собой клубы пыли и ароматный запах горючки.

Жалко было и сейчас Андрею рушить красоту. То, что не сломали трактористы, сделают люди. Но нет ничего в мире беспощаднее голода, он начинает человека могучим динамитом, голодный способен зубами, как речной бобр, грызть стены, деревья. Вон как лихо орудуют ломами парамзинские бабёнки, будто ярость движет их поступками.

Глухов пришёл к церкви попозже – пока подоил корову да процедил молоко, солнце поднялось уже на два дуба. Бабы встретили его недовольно, молчаливо, наверное, им нравилось кромсать церковь одним, а тут ещё мужик в компании, даже по нужде теперь надо бегать к болоту. Только Ольга глянула на него приветливо, улыбнулась краешком губ. Андрей взобрался на стену, принялся за лом довольный – кажется, Ольга не сердится на него, эта улыбка – как слабый намёк на доброе отношение.

С работой Андрей освоился быстро, влезал с силой в лом, грыз куски стены. А вскоре пришла ещё одна рациональная мысль – он будет ломать стены, а женщины пусть внизу очищают кирпичи от известкового раствора. Так и скорее, и лучше получится. Он предложил Ольге спуститься вниз, вооружиться молотком, но та неожиданно отказалась.

– Почему? – удивился Андрей.

– Да... так... – отмахнулась неопределённо Ольга.

Была она сегодня низко покрыта ситцевым платком, только глаза да нос открыты. Но на Ольгу зашипела Нюрка:

– Тебе что, особое приглашение нужно, да?

Нехотя спустилась Ольга со стены и до обеда молчком стучала молотком, укладывала штабеля. Только изредка поглядывала на Андрея.

Наверное, у каждой работы есть свой азарт, своё вдохновение, и Андрей словно начинил себя силой, начал крушить стену с ожесточением, будто так, как на фронте, когда надо было окапываться, в мёрзлом карельском грунте готовить для себя окоп. Там, на войне, над солдатом не надо было иметь бригадира: отрыл окоп в полный профиль – глядишь, останешься жив, хоть и слабая защита, а всё-таки какая-то надежда. Недаром говорят, худа борона, да всё тише за ней. А поленишься – пеняй на себя, любой осколок тебя достанет.

К обеду навалил Андрей груды обломков, и теперь уже Нюрке Лосиной пришлось спуститься вниз на помощь Ольге. Та спускалась вниз весёлая:

– Ты как комбайн, Андрюха, за тобой не угонишься.

Мрыхин появился перед обедом, приволок с собой мешок, и даже те, кто был на стене, уловили неповторимый кисловатый запах хлеба. Был прораб лукав, светел лицом, будто электрическая лампочка светилась, и Дашуха не выдержала первой, спросила глухо, как ударила в бубен:

– Видать, Алексей Семёнович ночевал сладко?

Прораб расплылся в улыбке, ещё не улавливая подвоха, лениво ответил:

– Поспал, поспал, бабоньки!

– На белой ручке самое милое дело отоспаться, – подхватила Нюрка.

– Это на какой такой белой? – Мрыхин закрутил головой, сытой своей физиономией. Кажется, на разморённом лице, каком-то полудрёмном, холёном, царит само благодущие и самодовольство. Он и спрашивал с артистической надменностью, картинной жеманностью.

– Да у хозяйки твоей, Настёны, у ней руки белые. Только конопушки, правда... лицо вроде яйца куропаткина...

– Ну-ну, вы играйте, бабочки, – опять блаженно растягивал рот Мрыхин, – да не заигрывайтесь. Знаете, как учёные люди говорят: «Каждый судит в меру своей испорченности».

– Уж не Настёна тебе эти премудрости сообщила?

У Дашухи щёки в румянце, по верхней губе плыла светлая струйка пота.

Эта перепалка, наверное, продолжалась бы, но Мрыхин заметил на стене Андрея и словно замер: не ожидал увидеть здесь мужика. А мужик – не бабе чета, при нём не разговоришься, да и присутствие его женщинам силы добавит, облают, сконфузят так, как им хочется. Тут надо выбрать верное направление в разговоре, и Мрыхин начал обходить штабели, нарочно громко считая кирпичи, сосредоточенно жевал губами.

– Ты хлеб давай, не тяни! – крикнула Дашуха.

– Успеешь, бабонька, – ответил Мрыхин и, примостившись на штабеле, начал что-то писать в блокноте.

Пришлось и Андрею соскочить со стены, и он вместе с Ольгой прикинул: работнули они на славу, около тысячи есть кирпича, да ещё Нюркины триста. Теперь придётся на троих делить, но впереди ещё целых полдня, и тут можно развернуться.

Не глядел сегодня жадным взглядом Мрыхин на Ольгу, будто отпредило, воротил масляный, котячий взгляд в сторону. И только хмыкнул удивлённо:

– Одна, что ли, управилась, Силина?

– А твоё какое дело? Принимай лучше кирпич...

– Понятно, понятно. Что ж это я помощника твоего не разглядел. Так бы и сказала вчера, что подмога у тебя молодая да надёжная.

Что-то взметнулось в душе Андрея, словно фонтан от взрыва получился внутри, ещё секунда – и накроется Мрыхин этим фонтаном с головой. Но надо сдержатъ недовольство, не спустить тормоза, иначе этой самодовольной физиономии придётся в скором времени играть синяками. Торопливость – не лучший судья в любом деле.

Мрыхин с достоинством обошёл штабель, достал из мешка четырёхугольную буханку хлеба, протянул Ольге.

– Можешь не взвешивать – ровно два килограмма. С авансом даю. До конца дня отработаешь.

И опять не удержался, подмигнул:

– Вон у тебя какой помощник!

Пошёл, покачиваясь, по пыльной штукатурке, громко дав сапогами мусор. Вороны, на время оседлавшие маковки церкви, дружно взлетели, наполнили воздух свистом крыльев. Андрей проводил его взглядом, предложил Ольге:

– Домой сходи, сына покорми.

В какую-то секунду уловил он жёсткость во взгляде Силиной, оттенок гнева, но сказал ещё раз мягко, хоть и с нажимом:

– Да-да, отнеси хлеб сыну... А мы свою долю с Нюркой ещё заработаем... Правда, Нюра?

Нюрка сглотнула слюну, она, как и все в деревне, давно голодует, впалый живот и худые, выпирающие острыми ключицами плечи напряжены, но Андрею она перечить не может, и молча кивнула головой. Несколько минут Ольга стояла в нерешительности, сверкала готовыми вот-вот пролить слёзы глазами. Что она испытывала, Андрей примерно догадывался: ощущение стыда за свою бедность мучает её, а с другой стороны – страшное желание спасти сына, удержать рядом с собой это маленькое существо, во имя которого она готова жить и испытывать любые муки.

Наконец она двинулась с места, и Нюрка начала оттаивать лицом, напряжение её спало на глазах, и в словах зазвучало не бессмысленное, а осознанное приказание:

– Да иди ж ты быстрее, дура! Иди и возвращайся!

## Глава восьмая

Почту Сталину за долгие годы приносил один и тот же человек – Поскребышев. Он бесшумно вырастал на пороге, казавшийся огромным, с головой, напоминающей шар, и выставив вперёд красную папку, шёл к столу.

Сталин не любил работать за широким письменным столом с множеством телефонов, а обычно усаживался на один из стульев к столу для заседаний, вооружался цветными карандашами и начинал читать официальные докладные записки, сообщения послов и наркомов, телеграммы партийных комитетов и другие бумаги. Бумаг обычно было немного. Не случайно Поскребышев столько лет прослужил, а скорее прожил рядом со Сталиным. Он давно знал, какие письма и донесения важны шефу, какие он ждёт и радуется, а какие, наоборот, вызывают в нём раздражение и гнев. Жизнеспособность этой системы отрабатывалась десятилетиями, она казалась Поскребышеву идеальной и неуязвимой, и даже капризы грозного Сталина, его повелительность редко касались помощника. О педантичности, о вышколенности помощника ходили анекдоты, которые иногда доходили до уха Поскребышева, и он только усмехался над «злыми языками» – слишком жалкими и нудными, похожими на укусы мухи, были эти шутки... Для него главное – дело, личное доверие товарища Сталина.

Порядок посещения Сталина для любого человека мог показаться унижительным и обидным: независимо от ранга и титула он должен был подвергаться обыску его личной охраной, проверяться и перепроверяться. Только Поскребышев мог бесшумной мышью скользнуть в кабинет, оказаться рядом с вождём, неторопливо изложить суть документов, заложенных в папки. Впрочем, Сталин редко выслушивал Поскребышева, он чаще всего читал бумаги сам, накладывал резолюции, давал команду вызвать нужных людей. И ещё одна привычка сложилась за долгие годы: наряду с официальными просьбами, шифровками, донесениями, меморандумами Сталин требовал от своего помощника доставлять иногда письма низовых партийных и советских работников, директоров крупных предприятий.

В почте таких посланий было великое множество, они с трудом прочитывались многочисленными работниками аппарата секретариата и рассылались по нужным исполнителям. Но иногда письма прочитывал и сам Сталин, и на них появлялись то грозные, то ласковые резолюции, написанные отточенным синим карандашом с характерной пометкой: «И. Ст.».

Поскребышев не мог объяснить даже для себя – зачем нужно было вождю читать эти письма, тратить на них драгоценное государственное время. Ведь о любом событии или факте, линии поведения государственных деятелей или политическом курсе ему могли предоставить самую исчерпывающую информацию с детальными комментариями и обстоятельными характеристиками. Но Сталин требовал такие письма, и Поскребышев всякий раз, закладывая в папку какое-нибудь послание (в мыслях он называл эти письма «челобитными» – армейский фельдшер ещё с дореволюционных времён любил это слово), внутренне сжимался: а не вызовет ли это гнев Сталина, не взорвёт ли вождя яростью, не причинит ли вреда самому Поскребышеву?

Он не считал себя трусливым человеком, мнительным тоже, но не подвергать себя опасности, ставить под удар личную безопасность его научила долголетняя служба в коридорах власти. И сегодня он тысячу раз прикидывал в голове: вложить ли в папку с документами по-женски пронзительное и страшное письмо секретаря райкома ВКП(б) из какой-то далёкой Хворостинки или отправить его в обком, как обычно делается в таких случаях? И всё-таки какой-то внутренний голос советовал ему – пусть Сталин знает о бедах народа, о голоде и

страшной гибели людей. Вождь должен жить интересами своих подданных, знать их настроения и заботы.

Вспомнил Поскребышев, как перед самой войной пришло необычное письмо из одного областного центра Черноземья. Писала жена молодого двадцатидевятилетнего секретаря обкома. Обвинения были серьёзными – секретарь увлёкся молодой девицей, бросил ночевать дома. В обычное время Сталин сурово карал за такие проступки, и Поскребышев понимал – над молодым секретарём вознеслась карающая десница. Но Сталин очень часто был непредсказуем. Тогда, вызвав председателя комитета партийного контроля Матвея Фёдоровича Шкирятова, Сталин молча протянул ему письмо. Старый, чопорный Шкирятов долго читал, а потом подобострастно уставился на Сталина.

«Скажите, – неожиданно спросил Сталин, – а как работает этот товарищ?»

Шкирятов ответил не задумываясь, сказал, что секретарь энергичен и молод, пользуется авторитетом, за короткое время сумел поправить дела в области, но...

Сталин не дослушал до конца, постучал трубкой по столу и сказал неожиданно тихо:

«Тогда напишите этой дуре, пусть не мешает человеку хорошо работать».

Поскребышев мог бы посчитать этот разговор анекдотом, выдумкой, но он был его невольным свидетелем и долго потом размышлял: что это – великодержавная причуда или понимание сущности человека, восприятие его со всеми ошибками и пороками? Да, непредсказуем товарищ Сталин, непредсказуем и непонятен. Кажется, в нём в равной степени уживается цепкий ум, кавказская мудрость и страшное, циничное коварство.

Сейчас Поскребышев разложил почту на столе, и Сталин неожиданно спросил:

– А это что такое? – он указал на письмо Сидоровой.

– Секретарь райкома пишет вам, товарищ Сталин, что народ сильно голодает. В некоторых деревнях даже собак едят, не считая лебеды и крапивы.

– Так и написано? – Сталин спросил с некоторой тревогой и с заметным акцентом. Заметил Поскребышев – когда Сталин волновался, его гортанный грузинский акцент был заметен сильнее.

– Так и написано...

– Да, – Сталин пошёл по кабинету, – все от меня ждут хлеба. Микоян просит добавить хлеба немцам, ему об этом сообщил Жуков, Хрущёв для Украины поблажки требует. Понимаешь, всем хлеб нужен.

– Что ответить этой женщине, товарищ Сталин?

– Ничего не надо отвечать. Просто пошлите письмо товарищу...

Сталин на секунду задумался, и Поскребышев поспешно спросил:

– Товарищу Жуку, вы хотели сказать?

– Какой Жук, какой Жук? Жук бывает навозный, вот какой жук.

Вспомнил Поскребышев, что несколько недель назад Сталин принимал будущего секретаря обкома этой чернозёмной области. Сталин долго крутил его объективку и вдруг раздражённо сказал:

– Кто такую фамилию вам придумал?

Сорокалетний коренастый крепыш, украинец из Сталино, не растерялся, ответил спокойно:

– Такую родители подарили...

– Сын за родителей не отвечает, товарищ Жуков. Вы меня поняли?

– Понял, товарищ Сталин...

– Ну и хорошо. Такой в России фамилии быть не должно...

Тогда были срочно оформлены партбилет и паспорт на фамилию «Жуков», и инцидент был исчерпан, но Сталин не забыл это и сейчас. Размашисто, с правым наклоном он написал: «Тов.

Жукову. Разберитесь», – и расписался.

Снова тихо, как и вошёл, Поскребышев выскользнул из кабинета, оставив Сталина один на один с бумагами.

\* \* \*

Три недели прошло, как была Евдокия Павловна в Товаркове, а всё болела и болела душа. Ей снились все эти дни одни и те же сны: земля, разверзнувшаяся, в глубоких трещинах, как в морщинах, пугающая темнота, белобрысые мальчишки верхом на огромной рыжей собаке и непременно с острым, похожим на штык, ножом, подмаргивающего председателя Степана Егоровича.

Она кричала от страха, просыпалась, мысли её начинали путаться от ужаса снов, непривычный спазм возникал в груди, в затылке и давил, давил без конца. В подступающей к глазам темноте она пыталась разглядеть предметы, увидеть землю, мальчишек, хитроватого Степана Егоровича, но только через некоторое время осознавала, что это сон, не больше, что рядом тихонько посапывает её муж, и ничего не следует бояться, наоборот, надо гнать прочь от себя пугливость.

Потом к ней возвращалась логика мышления, она снова начинала перебирать в памяти события последнего времени, вспоминала о своём письме Сталину, о резком выступлении на бюро и снова вздрагивала. Да, наверное, не надо ей было торопиться с этим письмом, у Сталина хватает забот и без неё, а о том, что люди голодают, ему, конечно же, докладывают каждый день. По крайней мере – есть кому доложить и без неё. Но в душе всё-таки теплилась надежда, хоть маленькая, но определённая, что её письмо не пройдёт бесследно, должен же быть ответ.

Каждое утро она шла на работу с подъёмом, с тревожным ожиданием чего-то светлого, доброго, хорошего. Но дни проходили в обычных заботах, в совещаниях и заседаниях, во встречах с людьми и поездках в колхозы, а то, чего ждала душа, мозг – не происходило.

В то утро Евдокия Павловна задержалась дома дольше обычного – опять плохо стало Николаю, всю ночь его бил противный сухой кашель, похожий на треск разрываемого полотна, удушье сдавило грудь, и она распахнула все окна, двери, но сквозняк не облегчил его страданий. Наоборот, он начал мёрзнуть, тело задёргалось под одеялом, на лице проступили сизые тени.

Только к утру кашель улёгся, как залегает под утро метель зимой. Николай уснул расслабленно, по-детски засунув руки под подушку. Евдокия Павловна порадовалась за него, за то, что эта тягостная ночь кончилась и, может быть, даст Бог, и болезнь мужа исчезнет, источится без остатка.

Она приготовила завтрак, но будить Николая не стала: сон – лучший лекарь, полезнее любого бальзама, только посидела около кровати в надежде, что муж проснётся. Но, видно, крепко сморил сон больного человека, и Евдокия Павловна с тихой радостью и надеждой на будущее выбралась на улицу.

Который день подряд над Хворостинкой чистое, как голубое льняное полотно, небо, солнце плывёт в желтовато-масляном овале, раскалённое и яркое, будто металл в горне. На берёзах, как осенью, появились крапинки желтизны. Видно, и у деревьев не хватает сил бороться с жарой. На станции протяжно режут паровозные гудки.

Евдокия Павловна давно живёт в Хворостинке, знает практически каждого и, пока добралась до райкома, пришлось несколько раз останавливаться со встречными, поговорить о житье-бытье. Впрочем, любой разговор сводился к погоде, к изнуряющей жаре, от которой сохнут деревья и картошка на огороде. А Сашка Коротков, инструктор райкома комсомола,



белобрысый парень в вельветовой куртке и широченных, похожих на морские клёши брюках (говорят, такая нынче мода), догнав Евдокию Павловну, спросил с ходу, без обиняков:

– Евдокия Павловна, вы хоть знаете, когда дождь пойдёт?

Эх, святая душа этот рыжий, красивый парень! Да откуда ей знать, она что, Бог или его заместитель на земле? А прогнозы, которые шлют в райком синоптики, как гадания на картах, – ни один не сбывается.

Она уже подходила к райкому и неожиданно нос к носу столкнулась с Егором Степановичем Емельяновым. Показалось удивительным, что товарковский председатель оказался в такой ранний час в райцентре. Насколько знает Сидорова, на сегодня никаких сборов не планировалось. Уж если вызывают руководителей по каким-нибудь хозяйственным делам, то заранее шлют телеграммы или по телефону обзванивают. Да и вид у Егора Степановича не для совещаний. На рубашке оторванные пуговицы, китель затёрт, замызган, на сапогах на добрый вершок слой рыжей грязи и пыли. Обычно Егор – сама опрятность и аккуратность, в вычищенные ваксой сапоги можно смотреться, как в зеркало, гимнастёрка поблёскивает пуговицами.

Сейчас Егор Степанович шёл в райком с хомутом на плече, и Евдокия Павловна тихо засмеялась про себя – чудную привычку взяли мужики-председатели. Отпрягают лошадей около райкома, а сбрую – хомуты, седёлки, вожжи – с собой в здание. Получается не официальная контора, а конный двор, по коридору от сбруи пройти нельзя. Бюро заседает, и мужики вповалку лежат на хомутах, а когда пригласят в кабинет первого секретаря с отчётом, просят соседа: «Ты последи за сбруей», – на полном серьёзе просят.

Поначалу Сидорова возмущалась такими порядками – дикость какая-то, превратили райком в свалку хомутов и брезентовых плащей, но однажды, когда у Ольги Силиной в бытность её председателем украли седёлку, она смирилась, махнула рукой. Чёрт с ними, с хомутами, грязи и так хватает в здании, зато воровства меньше будет.

Егор Степанович поравнялся с Сидоровой, попытался улыбнуться, но улыбка получилась похожей на гримасу.

– Никак вызвали в райком, Егор Степанович? – спросила Евдокия Павловна.

– Считай, что вызвали... Только не в райком, а дальше. Жизнь научила не спешить Егора Степановича, и сейчас он внимательно всматривался в Сидорову, буравил её взглядом, прожигал насквозь. Почему так спрашивает, неужели не знает? У них здесь в районе – одна шайка-лейка, одни думки-действия. Небось ещё несколько дней назад всё обсудили. Но, посмотрев внимательно, заметил Егор рассеянный взгляд у Сидоровой, лицо измученное, с ниточками морщин, и другая мысль пришла в голову: а может, и не знает ничего бабочка, как-никак к его делу тоже причастность имеет... Небось, ей не шибко доверяют в таких случаях.

Он ещё раз пристально взгляделся в Евдокию Павловну, отпустил взгляд, сказал глухо:

– В милицию вызывают...

– А почему в милицию?

– Эх, Евдокия Павловна, втравили вы меня в грязное дело. А ведь сам не первый год траву топчу, мог догадаться... Говорят, хитёр бобёр, да на него тоже силок вяжут.

– Подожди, подожди, Егор Степанович? Что-то не пойму тебя никак. Что случилось?

– Да уж случилось-стряслось... За просо семенное, которое, помнишь, людям дали, – уголовное дело хотят завести.

И наверное, заметив, как вспыхнуло пунцовым заревом лицо у Сидоровой, сказал успокаивающе:

– Да вы не пугайтесь, Евдокия Павловна. Я в стукачах никогда не был. Я суворовскую заповедь всегда помню: «Сам погибай, а товарища выручай». И какое оно там семенное!

– О чём вы, Егор Степанович?

– Не сказал я Острецову, кто мне разрешил просо людям раздать. Всё на себя принял. И вам советую молчать об этом.

Тёмное облако поплыло перед глазами Евдокии Павловны. Значит, и до Товаркова добрались, значит, и там ищут без вины виноватых. Да разве виноваты люди, что они каждый день хотят есть, что они, отстоявшие войну, лихолетье, сегодня вынуждены хоронить своих родных и близких, мучиться и унижаться? Испокон веков на селе люди думали о хлебе, всё делали во имя его... И в Товаркове, и в других деревнях разве не этим наполнен каждый день человеческой жизни, весь смысл дел и поступков? Так почему же эти люди сегодня должны страдать и мучиться, если кому-то потребовалось выместить дочиста колхозные сусеки, не оставив им, производителям, ни крошки зерна?

Егор Степанович пристально глядел на Евдокию Павловну, наткнулся на её поблекший взор и всё ждал, что она скажет. Но она молча пошла от него, сначала медленно, а потом стремительно, по-птичь, будто во внутренности закачали воздух, и тело стало невесомым, лёгким как перо.

Она вбежала на второй этаж, не раздумывая пошла в приёмную первого и, наверное, ворвалась бы, как сквозной ветер, в его кабинет, если бы не преградил ей дорогу заведующий общим отделом, плотненький, в запоясанной армейской гимнастёрке, Сергей Андреевич Мокшин. Мокшин хром на одну ногу – в войну осколок раздробил ему колено, и сейчас нога не гнулась, – но лёгкости и стремительности, с которой он преградил дорогу, Евдокия Павловна даже поразилась, а потом притиснула ладонь ко рту, прыснула как школьница.

– Что случилось, Сергей Андреевич?

– Нельзя сейчас к товарищу Волкову. Сам первый секретарь Пётр Савельевич Жуков у него...

Сидорова звучно вздохнула, опустилась на стул в приёмной. Жукова она практически не знала, только видела один раз на пленуме, когда его избирали первым секретарём. Он показался ей хмурым, с невзрачным лицом, на котором выделялся только длинный красноватый с пупырышками нос (тогда у Евдокии Павловны возникло дерзкое сравнение – «как у молодого огурца») да кустистые брови.

Разные думы теснились сейчас в голове Евдокии Павловны. Ей стало жалко Егора Степановича, землистый цвет лица которого сейчас удивил и напугал.

Пенилась злорада на себя за то, что не сказала товарковскому председателю: уж если и винить кого, то её, женщину, напуганную народным бедствием. Мелькнула мысль и о Николае – как он там, проснулся или нет, и как его проклятый кашель? Говорят, что люди, которые любят друг друга, излучают таинственные импульсы, передают на расстояние чувства и ощущения. Хорошо было бы, если сейчас Николай почувствовал, как рвётся к нему её душа, как стучит, кувыркается в тесной груди сердце.

Дверь кабинета первого была закрыта плотно, и даже глухого голоса, шёпота, скрипа не было слышно. Наверное, там, за дверью, шла неторопливая беседа, и Евдокия Павловна решила уйти к себе. Надо было успокоиться, обдумать встречу с Егором Степановичем, а главное – начинать работать. Эмоции эмоциями, а жизнь продолжается. Даже в самую отчаянную минуту, например, у гроба матери или другого близкого человека (это Евдокия Павловна пережила сама), человеческий мозг не отключается, он лихорадочно, как полая вода, пенится и бушует, ищет оправдания или выхода.

Сидорова пришла в кабинет, и резкий звонок телефона, как колокольный звон, прозвучал в тиши кабинета. Как ни странно, звонил начальник милиции Острецов, взволнованно докладывал о том, что нашли убийцу Шальнева.

– Кто он? – тревожно спросила Сидорова.

– Да вот передо мной сидит, председатель товарковский, Егор Степанович.

– Не может быть! – ужаснулась Евдокия Павловна.

– Очень даже может быть... Он сам признался. Сидорова с трудом опустила трубку. Её оцепенение было настолько велико, что ей показалось, будто небо, чистое, бирюзовое небо вдруг стало серо-скорбным, покрытым толстым слоем пепла, а на плечи обрушилась огромная гранитная глыба, и больно стало от этого обвала.

Она начала лихорадочно припоминать весь тот день приезда Шальнева в Товарково, свою встречу с ним в правлении, разговор с Егором Степановичем, и во всей этой цепочке воспоминаний не было никакого намёка на неприязнь и недовольство. Она хотела ещё раз позвонить начальнику милиции, высказать своё мнение о прожитых днях в Товаркове, но дверь кабинета распахнулась, и Мокшин, прихрамывая, вошёл, плотно прикрыл дверь и прохрипел:

– Вас товарищ Жуков вызывает.

Шла Евдокия Павловна по гулкому райкомовскому коридору и горько кривила рот: наверняка первый секретарь обкома будет спрашивать о делах в районе, о настроении людей, а что она ответит? Слишком много бед и несчастий обрушила засуха на людей, сделала их суетливыми и раздражёнными и, кажется, даже их волю засушила. Видела Евдокия Павловна в свои поездки в деревни, как холодны и апатичны стали колхозники, как впали, ввалились глаза, в которых застыла сквозная пустота.

А ведь ещё совсем недавно ликовали и пели деревни, радовались светлой звезде Победы, стряхивали с себя прошлое, маету и тяжесть прошедшего, наливались янтарным соком новой жизни, как наливается весенним буйством природа.

Она вошла в кабинет уверенно, подала руку Жукову, потом Константину Ивановичу, и почувствовала, что ни смущения, ни подобострастия при виде высокого начальства у неё не возникло. Вблизи Жуков не казался таким серым и мрачным, наоборот, глаза у него были острыми, как шильца, подвижными, два чёрных шарика округлились при виде Сидоровой, замерли, точно пытались просветить изнутри.

Спокойно, деловито Жуков раскрыл папку и, когда Сидорова увидела своё письмо Сталину – четыре странички, написанные на казённой бумаге, – она поняла, что визит первого секретаря вызван как раз этим письмом. Нет, у неё не возникло ни гнетущего страха, ни внутреннего озноба или радости – просто интерес, один интерес: что же будет, о чём пойдёт разговор?

Жуков каким-то шуршащим высушенным (так показалось) голосом сказал:

– Вы писали письмо товарищу Сталину.

Не успела ответить Евдокия Павловна, как вскочил Константин Иванович, спешно раздвинул свои тонкие губы:

– Писала, писала, Пётр Савельевич! Это её рук дело! Но прошу вас запомнить – с нами она не советовалась, как говорится: сам с усам!

По тому, как закрутился, заверещал испуганной сорокой первый, Евдокия Павловна поняла, что ничего хорошего предстоящий разговор не сулит. Но как это часто бывает в жизни, она почувствовала, как к ней пришло спокойствие, какое-то рациональное самообладание, словно организм превратился в упругую стальную пружину, и она сказала подчёркнуто спокойно:

– Да, писала!

Зыркнул Жуков глазами на первого секретаря – и тот моментально сник, ещё минута, и заскулит, как щенок-сосунок. Он пробежал в угол своего кабинета, опустился на диван, картинно подпёр руками голову.

– Ну и о чём же вы писали, Евдокия Павловна? – спросил Жуков.

Спросил тихо, вроде даже располагающе-ласково, но внутренним чутьём уловила

Сидорова, что копится в глубине его головы взрывчатка, готовая прогреметь взрывом, полыхнуть огнём обиды, а может, и ненависти.

– Там всё написано! – выпалила Сидорова.

– Всё ли? – Жуков хмыкнул, дёрнулся лицом, и Сидорова заметила, что вместе с вопросом у него неприятно перекошилось лицо, кожа натянулась, и на щеке получилось вроде белёсого шрама. – А о том, что вы несёте ответственность за судьбу народа, об этом забыли написать?

– А это само собой разумеется, – Сидорова старалась говорить ровно и с достоинством. – Я никогда за чужие спины не пряталась.

– Тогда почему вы считаете, что надо винить кого-то другого?

– Винить надо того, кто в прошлом году выгреб в колхозах всё до зёрнышка, даже воробьям на поклёв не оставил...

– Но вы и в то время были членом бюро и секретарём райкома. Разве не так? – спросил Жуков.

– А кто меня слушал в то время? Вы поднимите протоколы бюро, прочитайте, что я говорила... Проверьте у того же нашего начальника милиции или у прокурора, каких трудов мне стоило отвести от суда бывшего председателя колхоза Силину только за то, что она в период уборки выдала колхозникам по пуду зерна.

Опять вскочил со стула Константин Иванович, костлявый, высокий, сжал руки в кулаки:

– Да она форменный вредитель, ваша Силина! Мне рассказывал товарищ Ларин перед отъездом, какую аферу затеяла в колхозе. Её по закону за разбазаривание колхозного добра надо судить! Пощадили только человека – как-никак, офицерская вдова, ребёнок-малолетка...

– Силину не судить, а орденом награждать надо за то, что в трудные годы колхоз на свои женские плечи взвалила...

Опять хотел что-то прокричать Волков, но Жуков громко хлопнул ладонью по столу, грубо оборвал:

– Ладно, хватит. Вот что, уважаемая Евдокия Павловна, на вашем письме есть резолюция товарища Сталина: «Разобраться». А разбираться, собственно, нечего. Ваше упадническое, деморализующее настроение налицо. Вместо того, чтоб заниматься делом, поднимать народ на великую задачу подъёма народного хозяйства, вы, как сопливый юнец, плачетесь в жилетку. Так вести себя коммунисту, тем более секретарю райкома – преступно вредно.

– Я уже и преступник? – жёстко спросила Сидорова и почувствовала, как перед глазами качнулся стол с графином, телефон, запрыгало окно. У беды, у тревоги серый цвет, и сейчас он, как саваном, накрыл всю обстановку в кабинете.

Только мельком взглянул Жуков на неё и продолжил свою речь, резкую, отрывистую, будто вколачивал гвозди в тугую стену.

– Да, утверждаю – преступно. И об этом сегодня же скажу коммунистам. Товарищ Сталин нас учит быть собранными, решительными, не раскисать, не распускать нюни. Только слабые люди прячутся на дно лодки. Помните, как об этом написано у товарища Сталина? А сильные гребут, не прячутся от грозы и шторма...

Собравшись с духом, овладев волнением, Сидорова спросила:

– А разве товарищ Сталин не должен знать правду? Наверное, наступил предел выдержки Жукова. Он подскочил на стуле, глаза его полезли вверх, будто и в самом деле могли вывалиться из орбит.

– Да понимаете вы, что говорите? О какой правде идёт речь? Товарищ Сталин – вождь, и он лучше любого из нас разбирается, какая правда нужна народу...

– Правда может быть только одна, – глухо сказала Сидорова и поднялась со стула, пошатываясь. Больше сил говорить и спорить не было. Она чувствовала, что внутри что-то

щёлкнуло, будто отключили силу, питающую её, дрожь колыхнулась во всём теле, сосущий холодок потянул по спине.

– Выходит, надо собирать пленум, – Жуков резко хлопнул папкой, – распорядитесь, товарищ Волков.

\* \* \*

Домой возвращалась Сидорова уже в темноте, густой, как дёготь. Ночь легла над притихшим посёлком обвальная, мягкая, точно поглотила дома и деревья, и только на железнодорожных путях настороженно мелькали возбуждённые красные огоньки стрелок.

Евдокия Павловна шла медленно, с трудом отрывала отяжелевшие, ставшие похожими на дубовые увесистые чурбаки, ноги от земли, морщилась и даже тихонько стонала. Ей казалось, что сегодня её растерзали, раскатали могучим прессом в плюшку, в бесформенное пятно, в бесцветную пыль. Оказывается, можно прожить всю жизнь и не столкнуться с людской подлостью и мерзостью, разминуться с нею, обойти стороной и, наоборот, сойтись один на один, впритык, как в рукопашном бою.

Сегодня Евдокии Павловне судьба преподнесла последнее, показала, чего стоит мелкая трусость, жалкая подлость, отвесила фунт лиха. Нет, она не наивная идеалистка, давно живёт на земле, и это значит, что видела всяких людей: смелых и трусов, отважных и не очень, праведников и грешников. Но вот таких, пожалуй, впервые. Где-то читала Евдокия Павловна, что только с молчаливого согласия равнодушных людей царят на земле предательство и убийство, и в правоте этих слов она убедилась на нынешнем пленуме.

Двадцать два человека сидели в зале и как замерли, как набрали в рот воды, как провалились в тартарары... Слово не пленум это был, а поле боя, простреливаемое со всех концов, над которым нельзя поднять голову, и лучшая изведанная тактика – вдавиться вниз, пригнуть голову, сплющиться, в лепёшку раздавиться.

Говорят, коммунисты – мужественные люди. Нет, не увидела этого мужества сегодня Евдокия Павловна, даже элементарной человеческой порядочности не различила. Более того, некоторые пытались её ложью облить, как грязными помоями. Она вспомнила выступление начальника милиции Острецова – и даже сейчас взяла оторопь. И это называется партийное товарищество? А что же тогда называется клеветой и грязной ложью?

Он выскочил на трибуну, взъерошенный, как голубь после купания, заговорил быстро и невнятно о том, что Сидорова, по всей видимости, причастна к организации убийства товарища Шальнева потому, что произошло это именно в те дни, когда она была в Товаркове. Сейчас, кажется, становится ясным, кто убил уполномоченного. Председатель колхоза Емельянов дал сегодня первые показания. «Нет, – заявил Острецов, – я больше чем уверен – ниточка потянется к товарищу Сидоровой, как тянется она к факту разбазаривания семенного зерна».

Нет, Острецов больше ничего не сказал, видимо, Егор Степанович пока принял всё на себя, а заявление начальника милиции – домысел, не больше, но и эти слова прозвучали, как маленький взрыв. К речи Жукова о политической близорукости и беспринципности, паникёрстве и трусости Евдокии Павловны это был солидный довесок, тяжёлый камень, пущенный безжалостной рукой. Напряглась, заглотнула побольше воздуха Евдокия Павловна, словно собиралась нырнуть на большую глубину. Только когда Суровцев, председатель райисполкома, крикнул с места: «Ты, Острецов, факты, факты приводи!» – немного обмягло душу.

Что расскажет она сегодня Николаю? Как сняли её с работы с обидной формулировкой о

политической трусости и близорукости, – сняли единогласно при тихом, равнодушном зале? А может быть, о том, что нет предела человеческому равнодушию и предательству? Ведь, если трезво оценить ситуацию, то люди, сидевшие в зале, знают её давно, практически всю трудовую жизнь, с того самого момента, когда она приехала в Хворостинку после института. Неужели у них не нашлось ни одного доброго слова в её защиту, неужели все её дела были ничтожны и пусты? А может, прав Паскаль, сказавший когда-то, что ветвь никогда не сможет постичь смысла всего дерева?

Но в жизни всё слито взаимно. Брошенное в землю зерно прорастает тугим проростком, а потом нальётся тугим колосом, если прольётся дождь, а влага придёт, если горячий зной выпарит её из почвы. И добро, сотворённое однажды, может прорасти не скоро, не вот сейчас, но обязательно взойдёт, и не злом, не корыстью, не кровавой мезью, а именно добродетелью. Значит, и её дела не должны исчезнуть, кануть без следа, значит, и они, растоптанные сегодня, как кованым каблуком, должны взять верх в будущем, дать кучерявые побеги, как прорастает весной шелковистый ковыль.

А может быть, корни сегодняшнего людского молчания надо искать в страхе? Страх – сущность противная, мерзкая, он, как спрут, может поразить волю и мозг. А сколько лет людей держали в страхе, в раболепном преклонении перед Сталиным, перед партией, перед любым начальником? Разве сама Евдокия Павловна не воспитывала это чувство покорности долгие годы?

Где-то читала Сидорова, что величие жизни может быть измерено величию момента. Не хватило сегодня людям этого величия, слишком простым и правильным показалось им желание Евдокии Павловны сделать их жизнь чуть проще, чуть светлее и радостнее...

Она дошла до железнодорожного полотна и теперь, чтобы попасть домой, ей предстояло пересечь линию. Конечно, можно это сделать через перекидной мост, так безопаснее, но сейчас у неё исчезло ощущение страха. Вдруг захотелось лечь на стылые рельсы – и пусть совершится самое страшное. Жизнь тогда имеет смысл, если она имеет цель. Нет теперь этой цели у Евдокии Павловны, а значит, и жизнь её равна пустому звуку, круглой копейке.

Но подумала об этом Сидорова, и внутри всё похолодело. Чего не померещится человеку, если он оскорблён и напуган! А Николай, а её любимый человек? Как могла она забыть о нём? Любовь его – это не только милость к ней природы, это волшебство. Для неё любовь – это огромный мир ценностей, и этим миром надо дорожить, корпеть над ним, как корпит скупой человек над бриллиантами или другим богатством.

Она пересекла магистраль, прошла мимо мрачно темнеющих железнодорожных пакгаузов, за которыми открылась улица посёлка. Чернели макушки неподвижных деревьев, и только редкие огоньки дрожали в зарослях палисадников. И в окнах их квартиры желтело робкое отражение света. Значит, не спит Николай, дожидается её.

Неизвестно откуда пришли силы, подтолкнули в спину, и она сделала несколько поспешных шагов, выровняла дыхание, набрала полным ртом воздух и почти побежала, оступаясь и прихрамывая. Свет родного жилища стал для неё маяком, добрым ориентиром, указателем тихой бухты, где можно отдышаться, сбросить, как шаль, давящие горести и печали, набраться сил для будущей жизни, пусть пока туманной и неопределённой, но всё-таки жизни, данной самой природой.

# Глава девятая

Сенокос в Парамзине начался недели на две раньше обычного. Традиционно заготовку сена начинали с выгона за деревней, как раз за домом Андрюхи Зуева, где на взгорках быстрее всего подходил мятлик, овсяница и другое злаковое разнотравье. Во влажные полетки морем колыхались травы на этом лугу, и валы получались высокие, как волны.

Но засуха спалила выгон раньше времени, мятлик вытянулся, прожарился, стал похож на стальную проволоку, и поэтому Бабкин принял решение запустить на луг деревенское стадо – авось, чего-нибудь наберётся скотина, а сенокос начать с окладен, где хоть и низкорослая трава, да густая, как щётка.

Испокон веков сенокос в Парамзине – праздник, а сейчас люди выходили на покос, как на похороны. Вроде ко всему должен привыкнуть человек – к радости и горю, к тяжкой работе и отдыху, к неудачам и недородам, а вот защемила, засушила людские души засуха, и любая, даже любимая работа кажется в тягость.

На покос вышли рано, часа в четыре, когда только начинал брезжить рассвет, и Ольга с трудом будила Витьку. Он садился на кровать, кулаками начинал растирать закрытые глаза, ревел и хныкал, и у Ольги обливалось сердце кровью – так ей жалко было будить сына. От этого рёва начинала болеть голова, во рту было солёно от слёз, произвольно катившихся из глаз, но, как говорится, нужда денежку куёт... Не разбуди сейчас Витьку – проснётся малыш среди дня один-одинёшенек и ещё пуще зальётся плачем.

Она поднимала Витьку на руки, усаживала на широкую лавку к столу, и сын стихал, только тёр и тёр кулаками глаза. Он делал несколько глотков молока – дай Бог доброго здоровья Андрею, носит каждый вечер по махотке, лениво жевал холодные картофелины с хлебом и к бабке Татьяне уже шёл повеселевший, высоко поднимая ноги.

Хлеб у Ольги теперь был – хоть за две недели, пока ломали церковь, несколько раз сошли с рук кровавые мозоли, и если бы не Андрей, силой и ловкостью которого невольно любовалась Ольга, она бы давно бросила этот адский труд. Но семь килограммов хлеба, которые она заработала, сейчас вроде конфетки для сына. На глазах окреп Витька, ушла пухлота с лица, исчезла мутность взгляда.

В первый день Ольга косила вместе с мужиками и изрядно вымоталась. Казалось, чужими, неподъёмными стали руки, хорошо, что старик Василий Андреевич Боровков, тоже пришедший на сенокос, заметив, как тяжело ей угнаться за мужиками, придумал маленькую хитрость. Суть её заключалась в простом: ему Бабкин доверил отбивать косы для работников, а специально для Ольги Василий Андреевич это делал почаше. Кажется, небольшая премудрость – сбить косу с кося, отстучать на остром отбое, наточить брусом. Времени на это требуется немного, Василий Андреевич установил в тень под раскидистую ракиту в Жидковом болоте пенёк с отбоем, делал всё неторопливо, приятно посмеиваясь. В первый раз Ольга не выдержала, попросила:

– Дядя Вася, нельзя ли поскорее?

– Не торопись, девка. Ещё наворочаешься, – и медленно тюкал молотком по жалу косы.

Коса у Ольги – давнишняя девятка с оборванной и заклёпанной пяткой, косить ею сложно. Про такую косу мужики говорили, что ею работать – надо сало с салом есть, тогда потянешь маленько, но Боровков точил долго, старательно, от души, и Ольге косьба не казалась такой нудной.

Несколько раз приходилось Ольге становиться на ряд вслед за Андреем, и опять уловила она маленькую хитрость специально для себя – Глухов часто останавливался, беспрерывно

точил косу, и однажды Ольга пошутила:

– Смотри, пятки подрежу!

– Ты бы не спешила прытко, – ответил Андрей, и в голосе его почудились теплота и ласка.

Может быть, впервые оценила Ольга его милость и внимание. Кажется, приливом благодарности наполнилась её душа.

На другой день Ольге косить не пришлось – валки, уложенные в первый день, надо было ворошить. Ольге, Нюрке Лосиной, бабке Мореевой доверил это Бабкин. Работать было полегче, хоть и лезла в рот и нос сенная пыль, засохшая стерня колола ноги. День был знойный, застойный воздух обжигал крутым жаром. Но работа спорилась, и за полдня женщины только один раз присели отдохнуть. Нюрка подмигнула с лукавством Ольге, увлекла за собой в ракитовые кусты и там сказала с раздражением:

– Ты что, дура, Ольга?

– О чём ты, подруга?

– Вроде не знаешь! Ты хоть видела, как Андрюха Глухов с тебя глаз не сводил вчера целый день?

– Ну и что?

– Вот пустая баба, – Нюрка в сердцах ударила руками себя по телу, – что да почему, одно на языке. Да влюбился он в тебя, вот что...

– Зачем я ему? – усмехнулась Ольга. – Он парень холостой, войну прошёл, жив остался. Теперь за него любая девка с радостью выскочит. А я что – одни кости!

– А если ему девки не по нутру? Если он тебя любит, тогда как?

– Да что ты пристала – «как да как». От ворот поворот – вот как! У меня своя судьба, Нюра. Вон Витька растёт, его поднимать надо. А Андрею от меня, может, только того хочется, что всем мужикам от баб, ты об этом не думала?

Нюрка дёрнулась, словно от удара, подняла обиженное лицо на Ольгу, крутанула пальцем у виска. Слишком красноречивым оказался этот жест – ну, чего непонятно дурёхе? Зачем тень на ясный день наводить? Да разве можно бабе век одной куковать, как неприкаянной? Мужиков всех поубивало на войне, тут такое счастье плывёт в руки, а она, как молодой ягнёнок, ножками стучит, упирается, оправдания ищет. Да знаешь ли ты хоть, что нужно для счастья, какие ворота раскрывать надо?

Последние слова Нюрка произнесла вслух, и Ольга ответила:

– Знаю, знаю, Нюра. Испытала со своим Фёдором. Нужна любовь и нежность... А Андрей что? Не нужен он мне пока...

Фыркнула Нюрка, тяжело вздохнула, пошла, громко продираясь через кусты. До вечера она работала молча – не поймёшь даже: обиделась что ли? Если обиделась – то напрасно, нет в том вины Ольги, всё сказано от души было. Впрочем, странная встревоженность вселилась и в Ольгу, и она помимо своей воли чаще глядела в ту сторону, где мужики докашивали болото, искала взглядом Андрея. Нет, отсюда не разглядеть, куда он сейчас смотрит, но словно негласный приказ вселился в Ольгу, как приковало взгляд.

К вечеру случилось у Силиной маленькое несчастье, словно судьба злую шутку сыграла. В самый неподходящий момент, зацепив за кочку, сломала несколько зубьев на граблях, и она горестно закрутила головой. Немудрёный инструмент – грабли, только разве обойдёшься без них теперь?

Нюрка осмотрела беззубую колодочку, засмеялась:

– Не горюй, подруга, найдём выход!

– Да какой же ты выход найдёшь?

– Починим – и вся недолга. Есть у меня один специалист на примете. Сейчас ему и снесу.



И Нюрка запрыгала с грабельником через валы, побежала к косцам. Только сейчас поняла Ольга – наверняка, к Андрею Глухову, и почувствовала, как румянцем полыхнули щёки. И задохнулась от тоски – зачем она, Нюра, это делает, ведь стыдно и неудобно обременять чужого человека лишними заботами, которых у него своих полон рот.

Но подумала так и замерла – а совсем ли чужой человек ей Андрей? После совместной работы на церкви разве не стал ей сниться Андрей, явь из яви, худощавый, загорелый, усталый? Да, нелёгкая судьба у Андрея сложилась в последнее время – похоронил мать, проводы брата, но он, кажется, не раскис, – только скулы выдвинулись, отяжелели, да натянулась кожа на щеках, а так – красивый парень с тёмными глазами, с волнистым чубом. И самое главное – заботится он об Ольге. Искренне, без грязных намёков и пошлостей. А такая забота дорого стоит.

До вечера они работали с Нюркой на пару – бабушку Морееву, ослабшую и раскисшую окончательно, пришлось усадить на пахучую копёшку сена. Сделали, пожалуй, не меньше. Нюрка даже выговорила:

- Ну и оглашенная ты, Ольга! Как трактор ворочаешь! Завтра с тобой не пойду в паре...
- Куда ты денешься! – засмеялась Ольга.
- Куда? К мужикам на косьбу. Они оскоминку сбили в первый день, а сегодня больше курят, чем работают. Кстати, грабли твои к утру готовы будут...
- Небось Андрею поручила?
- А ты откуда догадалась?
- Да понятны мне все твои хитрости...
- А ты сильна, подруга, тебя на мякине не проведёшь. Впрочем, я и скрывать не стала, а как приказ отдала, говорю: «Сделаешь к утру, Андрюша, и сам Ольге Силиной отнесёшь». А он рад-радёшенек...

Нюрка заразительно смеялась, махала оживлённо руками, и Ольга даже позавидовала ей: неистребимой энергии человек, любое дело в руках горит. Ольга снова вспомнила, как работали они на разборке церкви. И хоть не одолели старушку до конца, но кирпича заготовили много, даже прораб Мрыхин взмолился:

- Ой, бабоньки, голубушки, дай Бог мне всё в Хворостинку перевести.

Они ушли с поля затемно, и Ольга даже не стала переносить уснувшего Витьку домой – пусть у бабки Татьяны ночует. Она на короткое время зажгла лампу и, пока ела, успела заглянуть в районную газету «За большевистские колхозы». Заглянула и затаила дыхание: на первой полосе сообщалось о пленуме райкома и о том, что «Е. П. Сидорова освобождена от обязанностей секретаря райкома ВКП(б) за капитулянтскую позицию и антипартийные настроения». Резкий вскрик сорвался с губ у Ольги, пугливый озноб затряс плечи. Бедная, голубушка Евдокия Павловна, единственная надежда и опора Ольги в трудные дни, больше не работает? В голове мелькнула испуганная мысль: что случилось? О какой капитулянтской позиции идёт речь, если Ольга знает эту женщину как искреннего, кремнёвого коммуниста? Неужели не рассмотрели, не оценили по достоинству?

Знала Ольга: есть в ней какой-то тонкий механизм, способный выдавить слёзы, но сейчас словно заколенела душа, как на стылом январском морозе, сжались внутренности, начинились полынной горечью. На загнётке варилась картошка, и Ольга долго глядела на огонь, вспоминала свои встречи с Евдокией Павловной. Обычно огонь успокаивает, делает человека умиротворённым, но сейчас кипели в душе штормовые страсти, и мысли были комканые, путанные.

Она уснула поздно и пробудилась только от дробного стука в окно. Выглянула из-за занавески и отпрянула назад от неожиданности: у окна стоял улыбающийся Андрей. Ольга быстро натянула платье, выбежала на порог, улыбнулась приветливо-извиняюще Андрею –

дескать, что делать с дурёхой, поспала всласть.

Утро только начиналось на земле, лёгкий белёсый туман ещё клубился на улице и в Криушинском буераке, на востоке разгоралась заря.

Андрей усмехнулся, протянул грабли:

– Долго спишь, соседка!

– Легла поздно и как в бездну канула, – Ольга тоже виновато улыбнулась.

– А у тебя ничего не случилось? – с тревогой спросил Андрей.

– Нет, – торопливо ответила Ольга.

– А почему дверь была колом подпёрта?

Тревогой опалило тело, и Ольга суетливо сбежала с порожек. Воровать у неё было нечего – ни в доме, ни во дворе – всего две овцы, но почему-то сразу подумалось о воровстве. Она обежала дом, заглянула в сарай и ахнула – ягнёнка не было, только старая овца хрумкала сеном в углу.

– Андрей, Андрей! – позвала Ольга и, когда он подошёл, сказала плача, – ягнёнка украли...

– Эх, сволочи, – крикнул Андрей. – Найти бы сейчас да ноги обломать подлецу... Кто нищих обижает?

В мозгу у Ольги шевельнулась колючая, недобрая мысль: а может, мстят ей за её председательство? Может быть, кто и сейчас, как камень за пазухой, держит на неё зло и обиду? Но подумала и, как рукой, отвела сомнение: не за что на неё людям обижаться, не заслуживает она людского презрения и недовольства. Скорее всего, лихой человек польстился на её призрачное имущество. Надо было бежать в контору, заявить председателю, чтоб сообщили в милицию, и Ольга попросила Андрея:

– Подскажи Филатову, что я задержусь на час-другой...

– Ладно, – ответил Андрей и добавил неожиданно: – А я сегодня собирался в гости к тебе придти...

– Какие там гости, – горькими получились слова Ольги.

– Да ты не волнуйся, – искренне сказал Андрей. – На этом баране жизнь не кончилась. Есть дела поважнее.

Она побежала в контору, проклиная всё на свете, и ноги будто вязли в земле, вроде не торная, набитая телегами дорога лежала по деревенской улице, а тонкая трясина, такая, как на Сорочьем болоте, где при каждом шаге вырывается фонтан грязно-жёлтой воды с тиной. Уже солнце бордовое, огромное, выкатилось над землёй, начало слепить глаза. А может быть, это пелена от слёз?

Вчера не заплакала Ольга – кажется, как пчелиные соты, запечатаны глаза, оттуда ни одна тонкая капелька не выжимается, а вот поди же ты, сегодня не выдержала, ползут по щекам обжигающие, как кипятки, ручейки. Нет, не жалко ей этого барана, пропади он пропадом, а обидно за то, что не щадят друг друга люди, мстят и наказывают, нет сострадания и уважения. Вот что самое страшное!

Бабкина Ольга встретила по дороге, уже без слёз рассказала о случившемся и, кажется, ещё раз удивилась – длинный и чёрный, ни дать ни взять грач на пашне – он не возмутился, не крикнул, а вроде даже самодовольно сказал:

– Ладно, что-нибудь придумаем... Ты не пори горячку, может быть, найдётся твой баран...

Когда возвращалась Ольга домой, пришло в голову одно открытие: нет, правду говорят, что беда всегда кучно ходит, как дробовой заряд бьёт. Вот и она вчера про Евдокию Павловну прочитала, а сегодня это несчастье. Ещё пожара не хватает.

Она снова подумала о Сидоровой, и только сейчас пришла горькая мысль раскаяния: а может быть, зря она тогда отказалась от предложения перейти в райцентр? Не нарывала бы

сейчас вот так душа, не натягивалось тело, как серая льняная холстина? Одно твёрдое решение пришло к Ольге – в ближайшие дни, как только предоставится возможность, сходит она в Хворостинку, найдёт Сидорову, утешит, как может. Да и пенсию заодно получит. Кажется, с помощью той же Евдокии Павловны всё образумилось – свёкру пенсию назначили, но Витюшкину не уменьшили, пришла такая бумага из военкомата.

На работу Ольга шла уже успокоившаяся. Бывает такое состояние у человека: пробьётся злым пламенем внутренний пожар, рванёт порохом, брызнет языкастыми клочьями огня и отступит, заляжет, как зверь. Вот и у неё сейчас постепенно сжималась обида, уменьшилась до размеров горошины, и какой-то здравый философский смысл вселялся в душу: помимо бед, каждодневных тревог и забот есть у Ольги одно совершенно непостижимое существо – Витька, полный таинства и неповторимости, её жизненный компас и ориентир. И пусть небо обрушится на землю, сотрёт в порошок твердь и воду, спалит леса и высушит влагу – пока есть Витька – она сама, как скала, как исполинский монолит, будет подпирать это небо...

\* \* \*

Лёнька появился в доме перед самым закатом, и Андрей даже удивился: нежданно-негаданно, как снег в июньскую пору, возник братец. Глухов осмотрел Лёньку с ног до головы и подумал про себя: «А брат ничего, почти не изменился, только, кажется, ещё немного подрос за это время. Ишь – как молодой клён кучерявится. А может быть, это одежда его подтянула?»

Брат был одет в длинную чёрную гимнастёрку с блестящими пуговицами, на которых сверкали перекрещенные молоточки, серые фланелевые брюки, довольно широкие, а ботинки на ногах, как две сомовьи головы – тупорылые, из яловой кожи.

– Ну как житуха, братка? – воскликнул Лёнька и обнял Андрея, прижал сильно к груди. – Не ждал в гости?

– Признаться, не ждал...

– Выходит, совсем про брата забыл. А я всё время о тебе помнил. Думаю, как там братка жисть свою крестьянскую коротаает?

Обрадовался Андрей Лёньке, как ребёнок красивой игрушке, и потащил его к лавке, словно самого дорогого гостя, усадил и уставился ласковыми глазами. Никогда не был Андрей сентиментальным, сентиментальность – это удел людей мягких, а Глухов прошёл фронт, видел огонь и смерть, кровь и страдания, его не удивишь ни пулемётным яростным огнём или противным минным поросычьим визгом, а вот сейчас при виде брата готов был разреветься, смеяться готов и говорить глупости. Даже губы дрогнули, стали непослушными, и влага застелила глаза.

А Лёнька, опустившись на лавку, кажется, не разглядел состояние брата, спросил:

– Всё плужишь, братка?

– А что делать? – горько усмехнулся Андрей.

– Что делать? В город надо подаваться. Эх, гляжу я на наших деревенских сейчас и думаю: да какие ж все пни дубовые! Никакого соображения нет. Одна дурацкая работа в голове, вроде не душа человеческая, а железяка дядей Проней кузнецом откована. Ни хрена нет понятия! Да они, горожане, куда хошь взяли и поехали!

– Подожди, подожди, – сказал Андрей, – ты что-то разговорчивым стал необычно. А кто из колхоза отпустит? Разве неизвестно тебе – чтобы колхоз покинуть, справка нужна об отходничестве...

– Справка, справка... А то тебе б не дали?

В Андрее шевельнулось что-то недоброе, протестующее – почему так разговаривает брат? Это когда он осмелел, телёнок нелизанный? А может быть, уже хватил, как всякий городской, некоторой чванливой пренебрежительности, вот и отрывает её сейчас? Но спорить с братом не хотелось, и он перевёл разговор на другую тему:

– Ты расскажи, как устроился?

– Как устроился? Неплохо, братка, неплохо.

Кажется, начал спадать с Лёньки налёт бравады, мальчишеского превосходства, и он заговорил спокойно, обстоятельно:

– Ну, первое время, конечно, трудно было. Вроде в клетку тебя засадили. Нас с Серёгой Егоровым в одну группу определили, а это лучше, всё-таки земляки, друг дружку поддерживаем. Правда, пытаются на нас наскочить некоторые, но получают по сопатке...

– Дерётесь, что ль?

– А ты как думал? Хочешь жить – умей вертеться. Ты про велосипед когда-нибудь слышал?

– Какой велосипед?

– Как видишь... А вроде в армии служил... К примеру, ты лежишься спать, а тебе между пальцев на ноге бумажки вставляют, потом спичкой поджигают. Ты не знаешь, что с тобой происходит! Начинаешь ногами дёргаться, вроде на велосипеде едешь, а братва животы рвёт от смеха. Мне тоже один раз попробовали сделать, но теперь не будут...

– Дрался, да?

– Да уж сделал двум аперкот с выходом, красной юшкой умылись.

– Я тебе запрещаю драться, – твёрдо сказал Андрей. Но моментально в нём вспыхнул стыд, появилась внутри жалостная интонация. Какую власть теперь он имеет над Лёнькой? Хочешь – не хочешь, а брат волен жить, как ему диктует обстановка, сам волен принимать решение.

– А я и не дерусь, – воскликнул Лёнька, – но за себя постоять могу. Ты знаешь, какой я вывод для себя сделал? Только сильные должны управлять миром. У нас там так...

– А кормят как?

– Тут тоже не будь недоумком. Чуть дашь маху – без баланды останешься. Ты в свинарнике видел, как поросята питаются? Каждый норовит друг друга от корыта оттолкнуть. Вот мы с Серёгой Егоровым первыми стремимся.

На минуту оставив брата, Андрей полез в погреб за молоком. И пока в темноте искал махотку, пока поднимался, думалось вот о чём. На глазах меняется брат, и неизвестно, радоваться или огорчаться этому. С одной стороны, хорошо, что брат становится самостоятельным, умеет постоять за себя, а с другой – не граничит ли это с нахальством, с воробьиной психологией? Сейчас вспомнил Андрей эпизод из своей фронтовой жизни, когда прислали к ним во взвод молоденького лейтенанта, щеголеватого, в хромовых сапогах. И начал тот с того, что чуть ли не каждого норовил по стойке «смирно» поставить. И при каждом случае подчёркивал: «Офицер всегда остаётся офицером». Однажды он ударил рязанского парнишку, писклявого, тонкошеего, за то, что тот отказался подшивать ему воротничок на гимнастёрке. Видел Андрей, как вспыхнули щёки паренька, как он зарделся, словно невеста, а потом неожиданно всунул винтовку в рот, дотянулся до спускового крючка – и выстрел всех как громом опалил. Лейтенанта того судили трибуналом, а в роте после этого неделю царил тягостный траур, и всем казалось, что они виноваты в смерти рязанского парня. Опасность, близость смерти, перипетии войны всегда сближали людей, в единый комок сжимали, спрессовывали судьбы, а тут такой случай.

Любил Андрей людей скромных, ненахальных, ему всю жизнь претила эта воробьиная взъерошенность, диковатость и самодовольство. Об этом он и сказал Лёньке, когда достал молоко, сказал тихо, без нажима:

– Ты, Лёня, поскромней держись.

Но то, что услышал, заставило вздрогнуть:

– Не учи учёного, – скрипнул зубами Лёнька, – съешь г... печёного.

Если бы хоть на секунду потерял Андрей самообладание, он вмазал бы в Лёнькино рыло резкий удар. Но гулко колотилось сердце в груди, отозвалось колокольным звоном в ушах, и Андрей только сжал кулаки. Чёрт с ним, с лопухом этим вислоухим! Сам поймёт, что обидную глупость сморозил.

Видать, и до Лёньки дошла его пошлость, и он закрутил головой, затрепал по-сорочьи:

– Ты, прости, братка, с языка сорвалось... Ведь не хотел я тебя обидеть, не хотел...

Наверное, с голодухи это. Знаешь, как мне плохо...

Он захлюпал носом, готов был разреветься, и Андрею пришлось крикнуть:

– Замолчи и успокойся!

Но ничто не исчезает в жизни бесследно, ни одно слово, даже обронённое вгорячах. Андрей долго не мог успокоиться, и как ни пытался настроиться на миролюбивый разговор с братом, тяжесть в душе оставалась. Лёнька объявил, что их отпустили на два дня на выходные и, выпив молока, ушёл из дома на «мотаню». Можно было возразить Лёньке, что сейчас в период сенокоса не до гуляний ни молодым, ни старым, но промолчал – пусть в этом молчании поймёт его рассерженность и оценит свой поступок, прочувствует, что за каждое слово надо отвечать.

Он вспомнил, что ещё утром обещал придти к Ольге и, прихватив горшок с молоком, тоже выбрался за порог. На улице помрачнело, кажется, впервые за лето затеснились на западе тучи, мрачные лохмы поползли по небу. Может быть, наконец, соберётся дождь, так безжалостно забывший свою дорогу на землю? Кажется, ни в Бога, ни в чёрта не верит Андрей, а готов сейчас упасть на колени, неистово креститься и молиться неведомому Богу, лишь бы пошёл дождь. Ему вдруг осознанно ясно стали понятны те крёстные ходы, которые проводились в его детстве, когда люди вслед за сельским попом Василием с хоругвями и иконами, с гнусавым пением двигались от деревни к деревне с мольбой о целительной влаге. Липкая духота охватила тело, когда поднимался Глухов на крыльцо дома Силиных.

Жидкий свет от лампы пробивался в окна сквозь занавески, притягивал, манил, звал к уюту. Глубоко внутри родилось сначала робкое, а потом твёрдое желание – не уходить сегодня из этого дома. Людей объединяют общая судьба, работа, жизнь, чувства и переживания. Есть это у них с Ольгой? Кажется, есть, и нечего надрывать душу, маяться и страдать.

С этим твёрдым намерением он постучал, и, когда послышалось: «Да, войдите», – Андрей решительно раскрыл дверь. Знал Андрей из своей фронтовой практики, что самое страшное в бою – это ожидание боя, его первые минуты. Вот и ему сейчас надо вынести, пережить эти первые минуты, а там... Он поклонился Ольге, возившейся возле стола, спросил о ягнёнке, не нашёлся ли, и, заметив отрицательный кивок головы, вдруг сказал:

– Ну, Ольга, собирайся!

– Куда? – она встрепенулась птицей, и даже при тусклом свете увидел Андрей, как испуганно вспыхнули её округлые, ввалившиеся глаза.

– Ко мне, дорогая, ко мне... Люблю я тебя, Ольга...

Он положил ей на плечи свои узловатые, в мозолях, руки, притянул к себе, и Ольга не оттолкнула, не отодвинулась, наоборот – обмякла, подалась вперёд. Андрей поцеловал её в горячие волнующие губы и сам, кажется, на секунду потерял сознание, ему почудилось, что ещё мгновение – и сердце разорвётся на мелкие кусочки от любви к этой женщине. Он приоткрыл глаза, поймал растерянный взгляд Ольги и ещё раз поцеловал её. Кажется, сердце грохотало внутри громовыми раскатами, сотрясало тело взрывами, крушило сердце, память, сознание, и только грезилась ему колдовская, сказочная жизнь впереди...

...Всю ночь полыхали над Парамзиным яркие зарницы, впивались острыми горящими зубьями в землю, но дождь так и не пошёл. С каждой яркой вспышкой маленький домик Ольги наполнялся ярким раскалённым светом, и она теснее прижималась к Андрею. Глухову казалось, что сама природа салютует фейерверком их тревожному счастью.

\* \* \*

Утром, когда посветлело, когда обозначились метёлки деревьев, проступили контуры домов из темноты, возвращался Андрей домой. Он шёл торопливо, хоть и прятаться не от кого, шёл счастливый, и кажется, загляни ему сейчас вовнутрь, просвети, а там крупным планом, как в кино, его ликующая сущность. Чудную ночь, неповторимую, неистребимую из памяти подарила ему Ольга, она словно зарядила таким светом, что, кажется, и сейчас он светится изнутри. Только сегодня он понял великий смысл прочитанных когда-то слов о том, что любовь – это переживание другого человека во всём его своеобразии и неповторимости, что любимый человек становится незаменимым существом, без которого невозможно обойтись... Именно таким человеком стала для него Ольга.

Стараясь не разбудить Лёньку, Андрей взял ведро, пошёл доить корову. Всё пело и звенело в его душе, и даже корова уловила его настроение, лизнула шершавым языком в плечо. Он привычно подоил корову – и в самом деле, не Боги горшки обжигают, – процедил молоко в глиняные горшки, спустил в погреб и, уже когда собрался уходить на покос, неожиданно наткнулся на острый взгляд Лёньки. Тот смотрел на него, натянув к подбородку одеяло.

– Ты чего, братка, тоже дома не ночуешь? – спросил он с нескрываемой иронией.

– Почему?

– Да я вернулся, а тебя Ванькой звали. Зазноба появилась?

– Появилась...

– И кто же она, твоя пассия?

– Интересно, да? Сейчас отвечу... Ольга Силина.

Словно кипятком ошпарили Лёньку, он вскочил на кровать, смешно подтягивая подштанники:

– Да ты что, братка, с ума сошёл? Тебе что, девки не хватило? Вон их сколько сейчас, только успевай подолы поднимать.

– Не можешь ты, Лёнька, без пошлостей... А мне не надо подолы поднимать, я жениться хочу.

Лёнька присвистнул, раскрыл удивлённо рот, оголил прокуренные жёлтые зубы. Брат давно научился смолить самосад, и в комнате ещё при матери всегда дурно пахло табаком.

– Ну, и когда свадьба? – спросил Лёнька.

– О какой свадьбе ты толкуешь? Разве сейчас, в засуху, можно о свадьбе думать? Но вот хозяйкой в этот дом я Ольгу сегодня приведу...

– Значит, будешь отец-героинь, так понимать...

– Ты на что намекаешь?

– На самое простое – ведь у Ольги сын растёт... Чужой, не твой сын, понимаешь?

– Да уж понимаю, – сморщился Андрей, – только не помеха мне сын Ольги, не помеха.

Надо сейчас Лёньку убедить, чтобы понял он: эти перемены очень важны для него – и он, подавив в себе некоторую озлобленность на брата, заговорил об одиночестве, об этом страшном уделе, который можно только придумать для человека, когда гложет и гложет душу чёрная

маятная тоска, кромсает голову на части. А Ольгу он любит, и вместе им будет спокойно и радостно. Разве не хочет он добра и счастья старшему брату?

Лёнька ничего не ответил, только спросил через некоторое время:

– Говорят, у Силиной овец украли?

– Да, нашёлся подлец, который на последнее позарился.

– Говорят, завтра участковый Кузьмин приедет? У него нюх на такие дела.

Андрей презрительно сплюнул и отвернулся к окну. Но если бы он взглянул сейчас на брата, то заметил бы, как запыльхали щёки у Лёньки, быстро-быстро забегали чёрные глазки-точечки, испуганные и беспокойные.

# Глава десятая

Про участкового Кузьмина в деревне ходило немало анекдотов. Один из них, про кобеля, Лёнька любил рассказывать в лицах, картинно вскидывая руки.

Кузьмин в жизни человек молчаливый, скромный. Наверное, эти качества профессия в нём воспитала.

Дома у Кузьмина – тоже не до разговоров. Жена прибалывает часто – одолел проклятый радикулит, а на его плечах забота о скотине – корове, овцах, подсвинке. А там и ребятишкам-школьникам поесть сготовить надо, другие домашние заботы одолевают.

Но осенью, правда, не часто, выпадают дни, когда Кузьмин чувствует себя как в праздник. Эти дни – на охоте. Он отвязывает большого рыжего гончака Трубача, отправляется в поля. Большой добычей похвастаться Кузьмин не может, так, иногда попадёт какой-нибудь косой под ружейный выстрел, или Трубач выпугнет в лесной полосе пару куропаток.

Вот в такие дни Кузьмина прорывает, и он в кругу своих товарищей-охотников, собравшись после загона, начинает говорить, не умолкая. Чаще всего речь идёт о Трубаче, ленивой, малоподвижной и, тем не менее, самой знаменитой и «доблестной», по оценке Кузьмина, собаке.

– Ты моего Трубача знаешь? – начинает Кузьмин, обратившись к кому-нибудь из охотников. – Ты видел, как он сегодня гонял?

Охотники начинают хихикать, перемаргиваться. Каждый из них видел, что Трубач целый день не отходил от хозяина, тёрся около ног. Но Кузьмина это не смущает, он вовсю расписывает собачьи доблести.

– Ты знаешь, какой у Трубача слух? – спрашивает Кузьмин и на минуту задумывается, подыскивая подходящее слово. – Бывает, лист с дерева лететь начинает, так он ухо наостряет, слушает. Вот какой кобель у меня.

Охотники терпеливо слушают, знают, что у участкового это самый радостный день. Но когда болтовня надоедает, начинается товарищеская подначка.

– Вот ты, Михаил, про слух Трубача рассказывал, – спрашивает Сергей Воротков. – Правильно?

Михаил утвердительно кивает головой.

– А скажи, где у тебя Трубач привязан?

– Как где? В конуре, рядом с сараем.

– Так как же у тебя в прошлом году ребятишки колёса с велосипеда отвинтили?

Михаил оживлённо, точно зная наперёд об этом вопросе, хлопает себе по колену, восклицает:

– Да проспал он, гад! – и с торжествующим видом обводит взглядом своих товарищей. В его понятии такая собачья слабость вполне объяснима.

Но услышав про его приезд, Лёнька не на шутку взволновался и, дождавшись, пока Андрей уйдёт на работу, стремительно сорвался из дома, рванул в поле. Было почему волноваться Лёньке – барана-то у Ольги украл он с Серёгой Егоровым.

Не на шутку испугался Лёнька и, когда выскочил на свой огород, перемахнул канаву и оказался на полевой меже, показалось ему, что мир над ним сделался маленьким и тесным, чёрным до жгучести, и захотелось взвыть по-волчьи, протяжно и долго. Они с Серёгой в самом деле в последнее время стали похожи на волков, скорее даже не на волков, а на волчат-перяреков, злобных и враждебных по своей сущности.

Идея убежать из ФЗО первому пришла в голову Серёге. Перед этим его крепко избили



ребята из группы каменщиков, – сломали палец, наставили синяков под глаза, ботинком содрали кожу на ноге, сейчас она иссиня-красная, с подтёками, покрылась гнойными струпьями.

Ночью в общежитии Серёга, кряхтя и постанывая, подкрался к койке Лёньки, зашептал страстно:

- Слышь, Лёнька, пойдём на Маринку...
- Да ты что, в своём уме – ночь на дворе!
- Струсил, да?

Закряхтел Лёнька, цепляясь за спинку койки, поднялся, в темноте бесшумно натянул штаны и гимнастёрку и тихо, как мышь, выскользнул из комнаты. Вместе с Серёгой они незаметно прошмыгнули мимо задремавшей старухи-дежурной, выскочили во двор, перемахнули через забор. И всё это молча, без лишней суеты.

За забором Серёга притянул Лёньку к себе, зашептал на ухо, обдавая горячим дыханием:

- Понимаешь, Лёнька, пистолет нужен.
- Да зачем он тебе?

– Перестрелять гадов! Пошли! – Серёга затрясся мелко. Лёньке показалось, что даже в темноте у него вспыхнули багровым всполохом глаза.

Егоров потащил ещё ничего не понимающего Лёньку за собой, и, хотя тот мычал и кряхтел – видно, ещё не сбросил с себя сон, шёл уверенно, громко бухал ботинками о мостовую. Около одного из зданий, что сейчас высилось в темноте мрачной тёмной громадой, и только светилось несколько окон, Серёга остановился и приказал Лёньке:

- Стой здесь, а я на разведку! Да смотри не смойся, сынок!

От здания тянуло приятным неповторимым запахом печёного хлеба, и Лёнька догадался, что это, скорее всего, городской хлебозавод. Около здания тархтела машина, переговаривались люди. Лёнька присел на корточки, снял ботинок – надо было поправить наскоро надетый носок. Что-то нехорошее было на душе у него, внутренним чутьём понимал он, что Серёга задумал злое, недоброе, но уйти сейчас отсюда – значит струсить, подвести товарища, а это в понятии Лёньки – сродни предательству.

Лёнька любил книжки про войну, про смелых и отважных разведчиков и моряков, которые попадали в сложные жизненные переплёты и выходили героями, будто не люди, а чудо-богатыри с семью головами, сражались они с врагами, крушили и побеждали. В книжках встречались такие зигзаги судьбы, что, кажется, ещё мгновенье, и пропал человек, канул в вечность, но копится вера, вызревает отвага и злость, – и он на коне удачи. В последней книжке читал Лёнька про отважного матроса, который из-под носа у немцев увёл паровоз, и ему и сейчас слышится ликующий голос моряка: «Жми, Федя, дави, Федя!» Это он так к паровозу «ФД» обращался.

Вот и сейчас Лёнька чувствовал себя таким же геройским парнем, который остался в засаде, ждёт товарища, ушедшего на задание. Серёга появился скоро, что-то тащил под мышкой, и по запаху Лёнька определил: хлеб принёс его дружок. Серёга тихо свистнул, и Лёнька подал слабый голос. Опять зашептал Серёга на ухо:

- Три буханки смолотил. Держи!

Он протянул одну аппетитно пахнущую, ещё горячую буханку, и у Лёньки потекли слюнки. Но Серёга прохрипел:

- Есть не моги! Терпи! Потом поедим...

Он опять подтолкнул Лёньку, они побежали в тени домов. Теперь, как понял Глухов, на Маринку. Улица с таким названием была самая знаменитая в городке, воровская и разбойная, с хулиганистыми обитателями, славившимися постоянными драками и дебошами. В Лёньке

начинала вспухать, вырастать в осязаемый клубок злость на Серёгу – и чего это он темнит, не может сразу объяснить другу, куда и зачем они шагают, от одной неизвестности околеешь. Но не успел. Егоров, подойдя к калитке одного дома, на секунду замер, прислушался, подняв вверх палец, а потом шмыгнул в неё, снова шепнув:

– Жди!

Догадался Лёнька, что пришли они к дому Славки Догаева, учившегося в их группе. В отличие от «иногородних», как числились ребята, подобные Глухову и Егорову, Славке и другим местным разрешалось ночевать дома. Для них была неплохая житуха – день в ФЗО, а на ночь – домой, под мамкино крыло. Лёнька, тяжело переживающий разлуку с домом (ему казалось, что из груди у него вытащили сердце, и там теперь образовался широкий, как сусличья нора, свищ), искренне завидовал горожанам. У Славки они дважды были дома, и Лёньку поразили чистота и порядок, а самое главное, мать Догаева – лёгкая, стремительная хлопотунья, которая обрадовалась ребятам, как самым дорогим гостям, усадила за стол пить чай.

Между тем, заметил Лёнька, как подкрался Серёга к самому дальнему окну, тихо стукнул раз-другой в стекло. Оно задзинькало, словно под ветром, а потом противно закрипели петли. Видимо, Славка или кто другой открывал створки, потом послышался тихий разговор, шорох, а затем на тропинке снова появился Серёга. Был он уже без хлеба, и Лёнька вздрогнул – будет ему на орехи от друга, ведь он не удержался, щипал по маленькому, как ему казалось, воробьиному кусочку от ароматной буханки, забрасывал в рот и аппетитно сосал. Но Серёга не обратил на это внимания, наоборот, был он сейчас какой-то радостный, возбуждённый, будто ему выпал крупный выигрыш в заём или орлянку и, схватив Лёньку за руку, шепнул:

– А ну, пощупай!

Лёнька ощупал карман брюк, и под пальцами явственно проступил пистолет.

– За две буханки? – спросил Лёнька.

– А ты как думаешь, голова садовая! Да это ещё дорого. У Славки этого оружия – как в арсенале. Вот он им и торгует.

О том, что у Догаева было много всякого военного барахла, в том числе и оружия, Лёнька знал. В военные годы грязинская ребятня открыла для себя рискованный промысел – забираться в военные эшелоны, а там находилась и жратва, и одежда, а оружия – хоть пруд пруди. Да и за буханку хлеба нетрудно выменять любой пистолет. Конечно, особым расположением ребятни пользовался трофейный «парабеллум», но стоил он или банку тушёнки, или, как минимум, две буханки «чернушки».

По ребятне не раз стреляла охрана, один из них так и остался лежать на стылых путях – наповал, но Славке везло. Да и не могло не везти ему – вихлявому, юркому, начинённому энергией и выдумкой. В школу ребяташки не ходили, каждый день собирались за рекой, там, где железная дорога поднималась в гору. Обычно здесь поезда сбрасывали скорость, а некоторые составы шли даже с толкачом, и их спокойно можно было догнать черепашим шагом. Вот тут и не зевай, рвани на платформу, а потом – в открытый полувагон, где под брезентом могло быть всё. В одну зиму стало особым шиком доставать из составов чёрные головастые валенки, дублёные полушубки, вскоре вся Маринка щеголяла в этих нарядах. Многих и замели потом за эти дела, так ведь кто об этом тогда думал!

Со Славкой Лёнька с Серёгой подружились сразу. Им понравился этот неглупый парень, его независимость и в поступках, и в суждениях. Тот многое знал и испытал, но не кичился этим, а только смотрел снисходительно на ребят-деревенщиков, как смотрит мудрый учитель на глупых пострелят-мальшню, только переступивших школьный порог. Однажды Славка увлёк ребят за собой, потащил за город, по крутому распадку-буераку довёл до старых выработок, где до войны добывали камень-известняк для сахарного завода.

– Ну, что, братва, посоревнуемся? Устроим рыцарский турнир?

Непонятно пока говорил Славка, но когда он смотался за косогор и вернулся с тремя револьверами, ребята поняли, о чём идёт речь. Лёнька ни разу не держал в руках боевого оружия, в доме у них было только старое отцовское ружьё-одностволка, и сейчас он с трепетным волнением взял в руки холодный, как камень-голыш, наган. Вся его сущность потеряла ощущение реальности – сейчас он будет стрелять, сейчас он, как на фронте, заляжет за камень и ударит по неведомым врагам, по тем, кто отнял у него отца и среднего брата.

Славка достал из кармана гимнастёрки газетный лист, красным карандашом начертил круги, напоминающие мишень, спичками прикрепил газету к отвесной глинистой стене.

– Ну, пали, братва! – крикнул он.

Первым отстрелялся Лёнька. Щёлкал барабаном и делался угрюмым, обиженным, оглушённым. Он чувствовал, что не попадал, злился на свою оплошность, но ничего сделать не мог – наган с каждым выстрелом становился всё тяжелее и тяжелее, рука наливалась тяжестью, ломило в глазах. Он опустошил барабан, и Славка сощуренным взглядом, ещё не подходя к мишени, определил:

– Ушли за молочком, Глухов!

Вторым стрелял Егоров, и Лёнька искренне позавидовал ему, позавидовал светлой завистью – Серёга лёг неторопливо за камень, вытянул длинные ноги и начал методично, раз за разом, посылать пули в начавшую пузыриться газету. Но больше всего поразил Лёньку Догаев – как заправский мастер-стрелок он стрелял навскидку, подводя ствол снизу, и вскоре в центре газеты образовалась сплошная чёрная дыра.

Лишний раз убедился Лёнька в нехитрой житейской мудрости – не умеючи вошь не убьёшь, а у Славки – опыт, приобретённый за долгие военные годы. И снова понравился Лёньке Догаев: он не стал издеваться над Глуховым, не подверг унижению, а сказал просто и практично:

– В первый раз и девкам трудно бывает. Научишься, Лёнька!

На это и надеялся Глухов, тем более теперь, когда у Серёги лежал в кармане пистолет. Опыт – дело наживное, было бы желание.

Они вернулись в общежитие на рассвете, но пистолет Серёга не потащил в комнату, а спрятал под мусорный контейнер, предварительно завернув в носовые платки.

Два дня они таились во дворе школы ФЗО, надеясь, что какой-нибудь из Серёгиных обидчиков выглянет вечерком во двор, пробежит в уборную, и тогда бы грохнул выстрел. Но они, словно псы, почувствовали опасность и во двор носа не совали, а стрелять в помещении – значит подвести себя под монастырь на все сто процентов.

На третий день Серёга увлёк опять за собой Лёньку во двор, прошептал:

– Слушай, друг, тебе хавать не хочется?

На Серёгином жаргоне «хавать» значит «есть», а этого Лёньке хотелось всегда. Этот жидкий кулеш да водянистый хлеб не только не утоляли, а наоборот, возбуждали аппетит. Кажется, попадись сейчас любая еда, Лёнька набросился бы на неё с остервенением, с яростью голодного пса. Жестокая, неумёмная страсть к еде нарастала с каждым днём, вздымалась могучим девятым валом.

– Хочу, – простодушно сказал Лёнька.

– Ну и давай отсюда когти рвать, – ухмыльнулся Серёга.

– А куда?

– Закудыкал – добра чуть, так у меня мать говорит. На родину подадимся...

– А там что, еды много?

– Слепой сказал: «посмотрим», немой сказал: «поговорим». Чего раньше времени в панику

вдаваться!

– А когда? – снова спросил Лёнька.

– Любое дело не надо в дальний ящик откладывать, – усмехнулся Егоров. – А эти – хрен с ними, нехай гадами живут.

Понравился Лёньке Егоров. Спокойный, уверенный, с решительным лицом, он сейчас олицетворял человека, который знает, что делать, как поступить, а такие люди всегда нравились Лёньке. Они вышли из школы, направились к мосту через Байгору, пересекли его молчком, а потом вышли в степь. Немая тишина опрокинулась над полями, только звёзды, мириады звёзд, ярких и тусклых, как живые огоньки, колыхались над ними, да степь завораживала, застывшая в сторожкем напряжении.

Часа через два они дошли до Петровки, спустились к речушке, напились успевшей охолонуть за ночь и показавшейся зимней воды, разулись, и стало легче уставшим ногам. К Верхней Лукавке они подходили уже на рассвете, в сером утреннем полумраке.

– Ну, – сказал Серёга, – сейчас будем добывать свой хлеб насущный... Ты знаешь, где тут овечьё стойло?

Глухов знал, но он ещё не осознал, что затеял Серёга. Они не пошли по деревне, а свернули влево, к степным курганам, за которыми располагался пригон для колхозных овец. Снова вперёд выдвинулся Серёга, по-волчьи поджаро и резво он перескочил через прясло, схватил овцу. С этой ношей он побежал в сторону от села, круто забирая на восток, и Лёнька поспешил за ним. Теперь ему стал понятен замысел Серёги – надо добежать до Угольной окладни, а там можно и спрятаться, хоть день, хоть неделю скрываться – не найти.

Угольная окладня – широкая, гектаров в пять впадина на границе двух чернозёмных областей, своего рода пограничная полоса, где испокон веков косили сено воронежские и тамбовские мужики. Говорят, иногда вспыхивали здесь и драки, и поножовщина, но в колхозное время спорить из-за паюшки сена нужда отпала – не густо скотины на деревенских дворах, и люди здесь появлялись редко, только когда требовалось кому-нибудь побелить хату. Уже давно открыли здесь карьер, добывая белую глину, похожую на извёстку.

В один из карьеров и спустились Серёга и Лёнька, свалили свою тяжёлую ношу. Утро дымилось лёгким туманом, пропуская и рассекая первые солнечные лучи, в неведомой выси захлебнулись радостным пением жаворонки, приветствуя рождение нового дня, и это немного успокоило Лёньку. Себе он мог признаться, что трусил всё это время, у него тряслись ноги и руки, страх сковал тело, мышцы, волю, в нём собралась вся горечь, осела тяжким осадком.

Но здесь, в Угольной, Лёнька осмелел. Перочинным ножиком, оказавшимся у запасливого Серёги, они перепилили овечьё горло, спустили кровь, а потом освежевали тушу. Лёнька собрал ракитовый сушняк, притащил целое беремя, и огонь заплясал над костром весело, с треском.

И снова поразился Лёнька практичности Серёги – тот из ракитовых кустов вырезал четыре рогатульки, вбил их в землю, потом положил толстые сучья-перекладыны, из ракитовых веток выстругал длинные острые шампуры.

– Будем варганить шашлык, – блаженно заулыбался Серёга.

Говорят, существует целая наука, как приготовить вкусный шашлык. Об этом не раз говорили городские ребята во время переменок в ФЗО, но тогда Лёнька только усмехнулся – какой там к чёрту шашлык, какое мясо, приготовленное в соусе или окропленное сухим вином! Лёнька в своей жизни не видывал ни разу ни сухое вино, не представлял и соус, какой он там, белый или красный. Дома мать до войны, бывало, подавала кусок варёного мяса, духовитого, дымящегося, и Лёнька сглатывал внезапно возникающие слюнки во рту.

Но Серёга, видать, впитал всю городскую науку, искусно насаживал тонкие куски на острые палки и только вздыхал, что нет перца, соли и хлеба, Лёнькину-то буханку они

смолотили в тот же день.

Играл огонь, плясал острыми языками, отражался на лице Серёги, и оно в этом свете казалось загоревшим и мужественным, обветренным, как у бывалого моряка, продублённого морскими солёными волнами. Лёнька глядел на светлое пламя и размышлял о том, что, наверное, в этом вот и заключается настоящая свобода – любоваться костром, ощущать запах жареного мяса, неторопливо думать. Где-то читал Лёнька, что огонь даёт возможность не только готовить пищу, согревать в стужу, но и рождать уверенность и спокойные мысли, возвышать его над миром. Тот, кто научился управлять огнём, тот обречён судьбой на долгую жизнь и добрые дела.

О минувшей ночи, о бегстве и краже овцы Лёньке тогда думать не хотелось. Когда поспела баранина, тёмно-красные багряные куски, будто впитавшие в себя огонь костра, они ели до изнеможения. И улеглись спать прямо на траве, рядом с угасшим костром. Лёньке снился какой-то героический сон про корабль с белыми парусами, про скалы, белые-белые, как снег, выступающие из лазурной голубизны моря, и ещё лёгкие птицы, похожие на ласточек, но крупные, какие-то неподъёмные, с трудом парящие в голубом безмолвном небе.

Они проснулись перед вечером, доели остывшее мясо, и Серёга изложил свою, как он выразился, «программу-минимум». Оказывается, сегодня ночью непременно надо найти лопату и топор, заняться землянкой или каким-нибудь укрытием. А главное – откопать глубокий погреб, иначе мясо при такой жаре быстро испортится и покроется червями. В разумности Серёге отказать было нельзя, и Лёнька вызвался пойти в Парамзино, взять незаметно эти инструменты дома.

– Нет, – после некоторого раздумья сказал Егоров, – это не годится. А вдруг на Андрюху напорешься? Как ему объяснишь?

Резон был в словах Егорова, и Лёнька ждал, какое предложение внесёт его товарищ по несчастью. А Серёга ещё помолчал – это молчание для Лёньки показалось целой вечностью, и сказал твёрдо:

– Я пойду в деревню. И не куда-нибудь, а к моей мамане. У неё, стервы, небось ещё медовый месяц не кончился, дрыхнут со своим хахалем без задних ног. Одним словом, жди меня на рассвете.

Всё-таки страшно среди степи ночью! Знал Лёнька, что он один здесь, как перст, а всё-таки произошёл в нём какой-то психологический сдвиг. Он напряжённо всматривался в густеющую темноту, вслушивался в тишину, монотонную, давящую на слух, и никак не мог успокоиться, сосредоточиться, наконец, просто уснуть.

На заре вернулся Егоров с лопатой и топором, подошёл бесшумно, как может подойти осторожный человек. Говорят, у охотников вырабатывается такой шаг за долгое время погони за зверем, умеющий не спугнуть тишину. Сам Лёнька несколько раз ходил с Андреем по зайцам и нередко получал выговор от старшего брата – то снег хрустит под ногой, то о морозную комльгу споткнётся, а однажды, когда они находились в засаде в стогу, приключился с Лёнькой чох – противный, беспрестанный, и Андрей, терпеливый, уважительный, не стерпел – матюкнулся в его сторону.

Серёга без раздумий спустился на дно карьера, начал ещё в темноте подрывать отвесную стену, и, когда Лёнька пришёл на помощь, нора, чем-то напоминающая волчье логово, была почти готова. При воспоминании о волках дёрнулось тело у Глухова – не жалуют волков люди, и правду говорят: по волчатам тужить не стоит, их лучше придушить. Недаром, как волка не корми, он всё в лес смотрит. А они с Серёгой тоже чем-то сейчас на волков похожи, отбились от людей, в землю вгрызаются, как кроты-слепыши.

Но долго размышлять не пришлось – приказал Серёга Лёньке глину в другой овраг

перетаскать, чтоб незаметно было свежей копки, и Глухов снял с себя гимнастёрку, рукавами перехватил ворот – получилось вроде мешка, и работа пошла быстрее.

Часам к десяти они закончили «логово» – так это отложилось в сознании Лёньки, и Серёга прорычал:

– Всё, приятель, я больше не могу. Всю ночь на ногах. Понимаешь, притопал домой, а у мамани моей свет горит. С Илюшей своим за столом гулеванят, песни поют. Вот ведь: кому горе, а кому радость. Пришлось долго ждать, пока лампу притушили. А когда койка заскрипела – тут я герой, и лопату, и топор вмиг в сених нашёл. А самое главное – глянь-ка, соли прихватил...

Серёга повернул голову к Лёньке, развязал белую тряпицу, на которой синела крупная щепоть соли, сказал с восторгом:

– Ну, теперь мы с тобой заживём, брат! Ты погреб готовь, а я спать лягу. Встану – сменю.

Погреб Лёнька решил рыть поближе к середине болота и не рассчитал: только на три штыка углубился, как засочилась, побежала тонкой струйкой грунтовая вода. Проклиная всё, пришлось начинать сначала, поближе к глиняному карьере, где глина не такая вязкая, наоборот, сыпучая как песок. Он работал без остановки, желая своим старанием понравиться Серёге, и тот, проснувшись часа четыре спустя, сказал с улыбкой:

– Ну и шахтёр ты, Лёнька! Скоро так до Америки дороешь!

Теперь за погреб взялся Серёга, но запала у него хватило ненамного, только и одолел штыка на два, а потом приказах:

– Всё, тащи сюда тушу!

– Мелковата, Серёжа! – взмолился Лёнька.

– Не скули, в самый раз. Да и ужин пора готовить. Опять у них был духовитый шашлык, но теперь с солью, мясо казалось по-королевски сладким и пряным. Думал Лёнька, с чем сравнить это кушанье, и не мог придумать, не приходилось ему есть ничего более вкусного.

Опять легла огромной чёрной тушей ночь над степью, распахнула звёздное небо, точно раздвинула занавеску, и звёзды заиграли, заискрились, посылая на землю мир и покой. Сегодня вдвоём было надёжнее, смелее, и Лёнька опрокинулся навзничь, несколько минут молчал, а потом уснул бесшабашным молодым сном, без сновидений и тревог.

Ему не мешали ни взбалмошные крики ночных сов, ни писк мышей, ни лёгкий стылый ветерок, поднявшийся к утру.

Но вот с завтраком вышла у них с Серёгой осечка. Сначала увидели они, как тамбовские мужики приехали выкашивать траву на меже, а разводить в таком случае костёр – значит выдать себя, а к вечеру, когда косцы удалились в деревню, Серёга достал из «погреба» тушу и взвизгнул: по белому мясу ползли желтоватые черви.

– Дела, брат, – только и сказал Егоров. И Лёнька понял, что настало его время действовать. Надо успокоиться, и хоть сосёт под ложечкой с голодухи, придумать надёжный вариант. В памяти он перебрал, у кого в деревне есть овцы и безошибочно решил: брать надо у Ольги Силиной. Одна живёт бабёнка, даже если услышит шорох во дворе – побоится выйти. А выйдет – тоже не беда – прикрикнул, и Силиной бельё придётся менять.

Лёнька не стал посвящать друга в свои тайны и исчез из Угольной поближе к полночи, прихватив на всякий случай вырубленный в ольшанике длинный кол. Им он и воспользовался, приткнув на всякий случай дверь дома Силиной. Сложней оказалось во дворе – как угорелые носились овцы по подворку, и Лёнька несколько раз падал в вонючий навоз, прежде чем успел схватить за ногу ягнёнка-летошника. Как волк добычу, взвалил он животину на шею, бегом перескочил Криушинский лог и напрямик по залежи протопал к Угольной. Несколько раз он падал в пыльную траву, и тогда баран предательски блеял.

Серёга, заметив возвращение Глухова, вскочил с какой-то необъяснимой внутренней возбуждённостью и тотчас принялся за дело, не дожидаясь рассвета. И хоть устал Лёнька, хоть от волнения тряслись ноги и руки, голод оказался сильнее утомления. Это потом, когда они наедятся жареного мяса, он ощутимо почувствует, как много пережил за последние часы, как гулко колотится сердце, грозя захлебнуться в крови.

Опять уснули парни до вечера, а потом Лёнька не выдержал. Ему надо было сходить в деревню, обязательно надо. И не только чтоб узнать, не догадались ли люди о его преступлении, но для того, чтоб дохнуть воздухом родного дома, иначе не выдержит сердце, сдавится, и разорвётся этот маленький сосуд в груди, разнесётся в клочья, как от взрыва гранаты. Он не стал об этом говорить Серёге, тот не поймёт таких телячьих нежностей, как он выражается, а Лёньке это надо, как надо человеку каждый день мыться и бриться, чтоб не затянулось тело коростой, и не нарывала кожа от чесотки.

Егорову он сказал, что идёт в деревню поискать хлеба, и тот согласился – оказывается, мясо, даже подсолённое, не самая вкусная еда. Лёнька шёл в Парамзино межой, заросшей травой, в которой пробивалась цветущая медуница, желтела льянка и синими хрупкими цветами маячил шалфей, который в детстве заставляла собирать мать. При воспоминании о матери какой-то тяжёлый жёрнов провернулся в груди, начал давить так, словно перетирал Лёньку в пыль, отключил мозг, и только обжигающая память, как алчный зверь, начала грызть его укором за то, что он сделал, стал жалким вором и преступником, начал покушаться на человеческое добро и доброту. Лёнька в мыслях пытался сопротивляться, найти себе оправдание, искал причины в голоде и проклятой чужбине, но перед глазами появилось грустное лицо матери, как бы приблизилось, укрупнилось, и ему показалось, что от этого взгляда не отвернуться, не раствориться в синеющей мгле закатного поля.

Он, может быть, и дерзил, и хамил брату при встрече потому, что сквозь пелену прошлых переживаний всё время пробивалось лицо матери, вставало немым укором. Нет, Лёнька отлично понимал, что Андрей ни в чём не виноват, просто его безжалостно мяла совесть.

Ночью он опять сходил к Серёге, посудачил с ним о деревенских новостях, о которых успел узнать у встретившихся своих погодков – Кольки, сына Дашихи, и Симки Лосина, но ночевать не остался, сославшись на необходимость завтра помочь брату скосить траву на огороде.

– Ну ладно врать, – грубо оборвал его Серёга, – скажи честнее – в штанишках закапало...

...Тогда Лёнька пытался что-то лепетать невнятное, искать и путаться в объяснениях, и Серёга, строгий и медлительный, кажется, согласился с ним, но сейчас, когда мчит в поле Лёнька, услышавший о приезде Кузьмина, вдруг отчётливо прояснилось в сознании – да не поверил ему Егоров, не мог поверить. Весь его вид, жалкий и растерянный, против него. При неискренности всегда наступает такой момент во взаимоотношениях людей, когда исчезают уверенность, понимание, и друзья могут стать врагами. Лёнька боится этого – потерять сейчас друга – значит потерять себя, но и врать, терзаться тоже нет сил. Видно, и здесь наступил тот предел, за который пойдёт вражда и невосприятие.

В Угольной Лёнька нашёл Серёгу у костра. Тот опять жарил мясо, прутиком шевелил уголья.

– Беда, Серёжа! – вместо приветствия крикнул Лёнька.

– Какая беда?

– Кузьмин приедет в деревню!

Лёнька полагал, что сейчас Егоров вскочит, засуетится, подтягивая штаны, но Серёга взял его руку, прижал к голове, зло сказал:

– Пощупай – не горячая!

– Да ты что, в самом деле? – крикнул Лёнька. – У Кузьмина нюх собачий, он нас быстро найдёт.

– Никогда не знал, Глухов, что ты такой трус.

Егоров говорил с паузами, словно выматывал Лёньку, гасил его возбуждение. Странно, но это подействовало на Лёньку успокаивающе, а когда они закопали мясо в колодец и сверху прикрыли свежеразрытое место дерниной, Глухову показалось, что вместе с мясом погребены страх и ужас, которые его охватили. Он улыбнулся открыто, без прежней жёсткости, Серёге, и тот, пронзив его цепким взглядом, сказал:

– Никогда не надо суетиться, дурень! Знаешь, анекдот есть такой? Называется «Не суетись под клиентом»? Не знаешь. Ладно, потом расскажу. А сейчас слушай меня внимательно. Расходимся по домам, а завтра в ФЗО пойдём. Погулеванили – и хватит пока. Будет время – ещё поспрадуем. Понял, чудик? И без чудачества, а то вот она, дура, может и дырку в башке сделать.

И Серёга вытащил чёрный наган из кармана, спрятал за пазуху.

Когда возвращался Лёнька в Парамзино, он не узнавал себя. Как от радости, кружилась голова, ликовала душа... Мало, ох, мало надо человеку... Ещё несколько минут в душе царили осенняя слякоть и мерзость, мрак и темень, а сейчас в ярком свете качалась и пела земля.

\* \* \*

Конюшня в Парамзине саманная, с соломенной крышей – что деревенский клуб. Любая самая незаметная новость обсуждается здесь с пристрастием и детальным разбором. Ещё вчера тут с жаром говорили о том, что в деревне появились воры, раз у Силиной украли ягнёнка, завелись худые люди, и надо двери на замки закрывать, а сегодня новое известие – Андрюха Глухов жениться начал с Ольгой.

– Никак Андрюше свежатинки захотелось! – Илюха Минай оголил свои прокуренные губы, глядел на Глухова с холодной, ехидной улыбкой, когда тот появился на конюшне.

– Да он по старым бабам пошёл, какая уж тут свежатица, – ухмыльнулся Боровков. – Старые, говорят, слаще!

– Вы помолчать можете? – спросил Андрей.

– А чего же молчать, Андрюша? – опять поддел Боровков.

– Ты сам осмотрительность потерял... Нет, чтоб потихоньку, как порядочные козлы поступают, попозже придти да пораньше смыться, а ты в открытую, у всей деревни на виду шастаешь как мартовский кот...

– А если таиться не надо? – Андрей чувствовал, что в нём закипает кровь, плотно стискиваются губы. Он сверкнул глазами, подошёл к Боровкову.

– Уж не хочешь ли ты сказать, Глухов, – проговорил Боровков, – что женишься на Силиной? Неужели холостяцкую жизнь на вдову променяешь? Она, Силина, небось всех районных начальников обслуживала...

Подкатывала злая волна к горлу, ещё мгновение – и плюнет он этим горячим сгустком в рожу Боровкова. словно удар в поддых нанёс тот, и от этого удара стала бесцветной трава около конюшни, серо-пепельным – небо, поблекла радость, вошедшая в него сегодня ночью.

– А ты в ногах стоял? – зло спросил Андрей.

– Что ты, Андрюша? – ласково прохрипел Боровков. – Не я один так говорю. Да моё какое дело, хоть на нашем колхозном бугае женись или на Настёне Панфёрычевой. Тем более, говорят, она уже с походом, понесла от этого Мрыхина.



Андрей запряг конные грабли, поехал в поле. Но не унималось сердце в груди, взгляд стал пустым и невидящим. Как гвозди вошли в тело слова Боровкова, издёвка про шашни Ольги. А может и правда, кружится с каким-нибудь по старой памяти, ведь она несколько лет председателем работала? Разве упустят районные чины такой сладкий кулич, оттолкнут от себя? Сколько их таких, горячих да ласковых, к рукам прибрали.

Невольно в памяти возникла Ресма, короткая фронтовая любовь. Как это возникло у них там, в опустошённой финской деревне за Выборгом? Разве он думал когда-нибудь о любви в кромешном аду? Но Ресма сама пришла к нему на сеновал, обдала жаром, и покати́лась жизнь в безмятежную даль.

Ресма говорила ему на ломаном русском языке, что женщина сама выбирает своего избранного. Только глупым мужикам кажется, что они влюбляются, страдают, мучаются, добиваются победы, радуются успехам у женщин. А на самом деле – это чистой воды муть. Накидывает женщина аркан на мужика – и баста, попалась птичка в клетку, больше не вынырнешь, не затрепещешь крыльшками, не взлетишь, распарывая тугой воздух. Вроде и цель достигнута, женщина – твоя, а свободы нет.

Может быть, и Ольга так его подловила, как доверчивого комара прихлопнула ладошкой?

Но словно другой человек возник в Андрее и заговорил резко, в упор, как пистолет навёл – а кто ты такой, чтоб других осуждать, подозрениями мучить? Ты что, прокурор, судья, святой пророк на земле? Разве тебе подвластны человеческие судьбы, порывы их души, сомнения и колебания? Может быть, и на тебя засуха подействовала, засушила рассудок, не может рассмотреть любовь?

Говорят, любовь и предательство рядом живут. Вот у него только вызрела, налилась вишневым соком любовь, а он уже дрогнул, попятился назад, как панически напуганный солдат. Как могла возникнуть в нём эта постыдная слабость?

Утренняя, оваянная чистым воздухом степь колыхнулась перед ним, тоской и раскаянием набрякли глаза, сделался невидящим взгляд, и именно в этот момент пришёл ясный и чёткий ответ, надёжный и простой. Он знал, что теперь надо делать, как поступить и не позволить замутить, создать прореху в душе. Хватит выворачивать душу, искать отмычку!

Глухов повернул назад, ударил вожжами лошадь, и Карпетка перешла на рысь. Скрипели, визжали грабли, на жёстком сидении трудно было удержаться, и Андрей упёрся ногами в оглобли. На полной рыси подскочила лошадь к конюшне, и Андрей, резво соскочивший с граблей, крикнул Илюхе Минаю:

– Пусть конюхи лошадь примут!

Через несколько минут он был уже у Ольги и с порога крикнул с придыхом, с тревогой в голосе:

– Собирайся!

Ольга глянула на него растерянно, даже испуганно, попыталась улыбнуться, ведь должен же он отдышаться, рассказать, что произошло, но Андрей схватил её за руку, потащил из комнаты. Словно у норовистой лошади, изо рта Андрея валил пар. Единственное слово «обуйся» он сказал зло, скороговоркой, и Ольга поняла, что сейчас лучше молчать, покориться его воле.

Уже на улице Ольга тревожно спросила:

– Куда идём, милый?

– В сельсовет, вот куда!

– Зачем?

– Ты что, соображения не имеешь? Расписываться...

– Да я... да как же... – залепетала невнятно Ольга, – непричёсанная даже!

– Для меня ты и такая красавица, – буркнул Андрей, и Ольга поняла, что не надо его

больше заводить, перекипит, схлынет с него горячка, спустит пар – сам поймёт, что не прав. Только об одном с усмешкой подумала – и что это ей так везёт в жизни. Второй мужчина, и такой же неукротимый и горячий, как молодой конь. Короткий всплеск памяти напомнил ей о Фёдоре, и она зябко передёрнула плечами. А как он посмотрел бы на неё сейчас? Цепкая вещь – память, как колючка вонзается. Ощутила сейчас Ольга, что наступил предел, за которым останется только память о Фёдоре, а любовь, нежность будут посвящены другому человеку. Но разве может она одна всю жизнь висеть над пропастью, обдирать в кровь пальцы, стараясь поставить на ноги их сына? Слишком сложна и прозаична обыденность, сурова, как голод, засуха. Закалянет совсем, не впустить в сердце любимого человека – значит погибнуть. А этого делать нельзя, слишком высока ответственность за Витьку, за погибших близких, за всё прошлое.

Главное – Фёдора не предать забвению, не отречься, не отмахнуться равнодушно и бессердечно. Этого Ольга не сделает никогда, никогда, как бы сильно ни любила она Андрея.

До сельсовета Андрей молчал, может быть, тоже размышлял о прошлом. И Ольга его не тормозила, семенила сзади. Только после того как зарегистрировали их брак, и они возвращались назад, она проявила любопытство:

– Скажи, пожалуйста, что с тобой случилось сегодня утром? Ты ко мне вбежал – лицо на белый платок похоже! Беда какая?

Рассмеялся Андрей весёлым, искристым смехом, будто сбрасывал с себя тяжкую ношу:

– А я боялся, что тебя у меня украдут. Как овцу перекинет через плечо какой-нибудь волчара и унесёт.

– Честное слово?

– Честное слово, – и Андрей порывисто прижал к себе Ольгу.

А вечером, когда они сидели за столом – Лёнька, тётя Таня, маленький Витюшка, Ольга и Андрей – царил в глуховском доме праздник. Они пили водку, хмельные, много говорили, желали друг другу счастья, хоть каждый понимал – хрупкое может быть их благополучие в это суровое время. Только Лёнька иногда с тревогой смотрел на Ольгу, а потом и вовсе убежал, сославшись на встречу с ребятами.

Первый раз спокойно и тепло, как бывает тепло в радостный майский праздник, было на душе у Ольги. И её не смутила даже слеза, выступившая на глазах Андрея после того, как ушла тётка Таня и уснул Витюшка. Андрей сидел за столом притихший, насупленный, и может быть, думала Ольга, вспомнил о своих рано ушедших родителях, о фронтовых друзьях, не доживших до свадьбы друга. Да мало ли о чём может плакать в России в 1946 году даже мужчина?

## Глава одиннадцатая

Сенокос в Парамзине закончился через неделю. Недоброе лето и здесь наложило свой тяжкий отпечаток – скирд получилось меньше раза в три, чем в обычные годы, и жители все от мала до велика понимали: грядёт ещё более тяжёлая зима. Андрей после сенокоса в колхозе ушёл на два дня косить осоку в Голую окладню. Да, сейчас она как бритва острая, жёсткая и рогатая, а зимой через резку её пропустят, горячей водой обдадут – лучше любого сена пойдёт. Уж не первый раз такое в крестьянской практике было.

К концу второго дня пришла на окладню Ольга, и вдвоём они вытащили накошенное на сухое место, быстро перевернули жёсткую осоку. Радость, ликование, покой вселился в душу Андрея – вот, значит, есть у него теперь жена. Интересный расклад в жизни получается – когда ты один, то рассчитывай на свои силы, вроде бойца, который залёг в окопе, и никого рядом. А вдвоём – пожалуйста, любой фронт держать легче, на дополнительные резервы рассчитывай.

Они вернулись домой с поля как с праздника. Андрей нёс в одной руке косу, а второй обхватил Ольгу за плечи и вроде теплом её проникся. Ему нравилась эта, хоть и скудная, бедная, но размеренная жизнь, в которой всё теперь было подчинено смыслу, клеилось и садилось, носило отпечаток взаимной заботы.

Неожиданно перед домом Глуховых встретили они Кольку Дашухина, и тот, взмыленный, запыхавшийся, крикнул:

– На собрание, Андрей Фёдорович, в контору кличут!

Больше всего не хотелось сейчас Андрею идти куда-то, тратить время, уж лучше бы залечь с вечера, вытянуть уставшее тело, и всласть выспаться, но Ольга глянула на него тревожно, и он спросил:

– Когда собрание-то?

– Да сейчас, – Колька смахнул пот с лица, – сейчас, из района там один приехал.

– Может и ты пойдёшь? – спросил Андрей у Ольги, но та только рассмеялась.

– Нет уж, теперь ты решай.

Он быстро выпил холодного молока и пошёл в контору, недовольный и злой. Но то, что узнал от Илюхи Миная, направлявшегося тоже на собрание, по-иному заставило отнестись к предстоящему сбору. Рассказал Илюха, что будто бы решили сегодня районные власти закрыть школу в Парамзине.

Что такое школа в деревне, даже в такой маленькой? Как сердце у человека. Пока живёт и существует она, отзывается добрым стуком, и деревня остаётся на карте, рождаются и растут дети, звучат их голоса, веселятся отцы и матери. Но случись противное – и угаснет жизнь, разорвётся та чувствительная пуповина, что питает родное Парамзино.

Они опоздали на собрание, и, когда вошли в здание, уже все колхозники были на месте. Как всегда, мрачно возвышался в президиуме Степан Кузьмич, а выступал приземистый мужик с гугуче-красным лицом, с приглаженными на лысине волосами.

– Так что школа ваша, дорогие товарищи, нам сплошной убыток. Тут и топливо, и зарплата учителю, техничке...

– Кто это? – толкнул Андрей Сергея Яковлевича Зуева.

– Заведующий районо Храпов, – шепнул тот на ухо.

– Ну и даёт! – воскликнул Илюха. – Да какое ж топливо для нашей школы они заготовливают?

Илюха был прав. Долгие годы общественные здания в Парамзине – правление колхоза, школу – отапливали торфом, заготовливаемым в Торфяной окладне, километрах в двух от села.

Обычно председатель отряжал двух-трёх мужиков, которые снимали верхний слой грунта, а затем начинали пластовать торф. Тогда Иван Фомич, сельский учитель, собирал ребяташек, и они укладывали влажный торф на землю, а когда подсыхала одна сторона – переворачивали к солнцу другой.

И к концу лета высился в Торфяном огромный штабель, который по осени, когда освобождались люди и лошади от полевых работ, перевозили в деревню.

От торфа в школе стояла жара, и Иван Фомич обычно говорил: «Вот и у нас, ребята, страна Лимпопо». И детишки весело смеялись.

Правда, от торфа шёл противный запах, но ученики привыкли, только чихали, как козлята в душном закуте. И сам Андрей несколько лет подряд сушил торф, а две недели назад, теперь уже с Илюхой, они вымахали огромную яму с залежью торфа на двенадцать штыков. Тогда ещё смеялся Минай: «Гляди, Андрюха, землю с места не стронь, не дай Бог, поменяешь наш север на страну Лимпопо, тогда и торф не потребуется».

Всё это вспомнилось мгновенно, и на душе стало пасмурно. А заведующий районо продолжал:

– Контингент у вас маленький – всего девять ребяташек... Наверное, учёное это слово «контингент» всколыхнуло баб.

Первой сорвалась с места Нюрка Лосина, выскочила на середину избы тётки Дуни, упёрлась кулаками в бёдра – артистка, да и только:

– А кто его даст нам, этот контингент! Вот вы из района и дайте!

Грохнули мужики, начали перемигиваться. Нюрка на секунду смутилась, зыркнула своими жёлтыми глазами, поняв, что врехалась с этим учёным словечком, но дальше уже пошла чесать без тени сомнений:

– А девять человек – это что, щенята? Как они зимой за три километра пойдут, а? Бабы, вас спрашиваю? Да им, миленьким, соплей морозить – не переморозить...

Теперь уже настала пора смутиться Храпову. Он быстро-быстро начал приглаживать волосы, глаза стали круглые, чем-то похожие на яблоки-лесовики с зеленцой, прыщеватый нос задёргался.

– Но поймите, граждане, – Храпов поднял руку, призывая к спокойствию, – что это за школа в девять человек. А если далеко ходить – интернат сделаем, вам же облегчение...

– Ребят мы нарожаем! – крикнула Нюрка. – Правда, бабы?

Улыбнулись бабы, а Илюха прогнусил:

– Ты-то хоть от кого родишь?

Но тут же Нюрка в карман за словом не полезла:

– Не от тебя, грешного, а от мужика нездешнего!

И так это смешно получилось, что снова грохнуло собрание, зазвенело, заойкало, Андрей чуть не свалился на Илюху.

Храпов терпеливо ждал, когда отхохочет и отстонет развеселившееся собрание, а потом, когда приумолк смех, опять замахал руками, поднимал и опускал голову, хоть и понимал, что серьёзного разговора теперь не получится, собрание, вроде речки в половодье, из берегов вышло. А всё эта бабёнка, откуда её чёрт занёс!

Нюрка между тем почувствовала весёлый интерес к её словам, снова начала:

– Это что ж получается, бабы? Вот товарищ нам интернат сулит... Выходит, нарожали мы детишков, в войну с ними голодали-мыкались, а теперь по разным щелям, как кутят слепых раскидаем? Да в интернатах этих их вша источит, клопы заедят!

Вздохали и смеялись люди. Смешно у Нюрки получается, хоть говорит она о делах серьёзных. Кому понять не дано, что ребяташки за глазами – неприкаемые существа. И не

накормят, и вовремя спать не уложат, да ещё гадостей всяких как репьев наберутся.

– В интернате кормят, – вставил Храпов.

– Да, – Нюрка сверкнула своими желтоватыми глазами, – раскормили, держи карман шире!

В завтрак кулеш, а в обед – пузо урежь!

Нет, определённо не было удержу сегодня Нюрке! Словно включили ей самую повышенную скорость, и она шпарит слова, как из автомата. И не чепуху мелет, а в точку, в самую суть, в яблочко метит. Андрей в душе был с ней согласен на сто процентов, вспомнив младшего братана, который сейчас на казённой баланде мается. А ещё подумалось с грустью – если школу закроют, значит, исчезнет из деревни учитель Иван Фомич! Разве можно это допустить!

Иван Фомич жил в Закустовке, каждый день ходил на работу в Парамзино. На войне он потерял руку, правый рукав теперь у него всегда засунут под ремень на гимнастёрке, а пишет он левой всё равно с красивым наклоном. Уже два десятка лет учились парамзинцы у Ивана Фомича и к учителю привыкли, как привыкают к самому близкому родственнику, а в каждой избе был он желанным гостем.

Учитель не баловал ребят, и из поколения в поколение потихоньку передавалось, что когда-то стукнул Фомич (так за глаза звали его ученики) Ильюху Миная линейкой. Правда, Илюха это отрицал, но легенда жила и делала своё дело – на уроках у Ивана Фомича стояла такая тишина, что слышно, как бьётся о стекло и звенит крыльями нудный комар.

Впрочем, на переменах в школе стоял невообразимый гвалт: насколько строг был Иван Фомич в классе, настолько снисходителен к детским шалостям в минуты отдыха. Когда цела была правая рука, даже в лапту играл с ребятами. Может быть, святого извечного правила придерживался Иван Фомич: делу – время, потехе – час, веселье должно сменяться трудом.

Иногда в школе проходили праздничные вечера, на которых пели, плясали ребятишки, а в конце выходил Иван Фомич и начинал читать стихи. Стихи он читал как-то по-своему, чуть нараспев, и Андрею казалось, что не вирши рассказывает учитель, а слагает песни, красивые и звучные. Он замирал от неожиданности, слушал, не пропуская ни одного слова. Однажды учитель прочитал стихотворение, два куплета которого отложились в памяти на всю жизнь.

Никогда я не был на Босфоре,  
Ты меня не спрашивай о нём,  
Я в твоих глазах увидел море,  
Польхающее голубым огнём.

Не ходил в Багдад я с караваном,  
Не возил туда я шёлк и хну,  
Наклонись ко мне красивым станом,  
На коленях дай мне отдохнуть.

В стишке этом было много красивых непонятных слов, но всякое непонятное привлекает больше всего, оно волнует и радует, в груди вскипает какой-то пенный бурун счастья, словно ты сам плывёшь по морю, качаешься на волнах. От этого стихотворения у Андрея появлялась потребность петь, звучно говорить, исчезала грусть и тоска. И даже на фронте в окопе он мурлыкал это стихотворение на собственно придуманный мотив:

Никогда я не был на Босфоре...

Изменения в судьбе, надломы, фронтовые и домашние потери не вытравили это стихотворение, оно, кажется, всё время жило в голове. На фронте Андрею объяснили ребята – был среди них один студент второго курса педагогического института Иван Саталкин, – что стихи эти вроде запрещённых, их написал Есенин, который повесился в ленинградской гостинице, но это только добавило любви к Ивану Фомичу. Значит, учитель их – ещё и мужественный человек, если он не боялся читать запрещённые стихи, хотя нутром понимал Глухов – запрещать, собственно, нечего, просто о красивом и далёком вздыхает умный талантливый человек.

По любому случаю Иван Фомич – первый советчик и, когда заканчивались занятия, в школу нередко приходили мужики – покурить, посудачить. У школьных сараев давно лежали два дубовых бревна – остались от смены перерубов, на которых усаживались, как воробьи на ветки, мужики, кряхтели, дымили, слушали учителя.

Время было бурное, тревожное, радостное, непонятное, и, наверное, ни дня не обходилось, если не собирались мужики у школы. Зимой, правда, Иван Фомич разрешал мужикам заходить в классы, но тогда дымить – ни-ни, хоть пусть уши пухнут.

В тридцать седьмом начали печатать в газетах про врагов народа, и Иван Фомич постарел буквально на глазах, лицо его вытянулось, стало иссиня-жёлтым, глаза потускнели, словно в них не отражался солнечный свет. Мужики пытались его разговорить, но он отмахивался руками: «Ничего я не знаю, мужики, ни-че-го!» От учителя на время отступались, а когда он вернулся с фронта по ранению, снова заседали на пеньках, только теперь не мужики, а деды и подростки, основная «ударная колхозная сила».

...Всё это сейчас сиротливо впилося в память жителей, и не случайно даже молчаливая Дашуха пробубнила:

– Пусть учитель скажет!

Иван Фомич поднялся, отрешённо как-то оглядел собравшихся:

– Что мне говорить? Сами решайте!

– Нет, нет, ты скажи!

Подал голос Храпов:

– Мы обсуждали с Иваном Фомичом ситуацию и пришли к выводу, что ему лучше перебраться в большую школу.

– Да не говорил я вам об этом! – вдруг зло сказал Иван Фомич, и Храпов сузил жёсткие глаза, словно расстреливал взглядом учителя.

– Нет, это что ж получается, – взвизгнула Нюрка Лосина, – вроде обманывают нас, бабы?

Нюрка явилась разнаряженной на собрание в красивый сарафан, на шее у неё повязана ярко-красная косынка, как пионерский галстук, и только сырмятные, с ободранными носами тапки портили вид. С крутого лба свисала чёлка рыжих волос, и Нюрка казалась красивой, какой-то пронзительно-яркой, как звезда, рдела щеками от горячих слов.

Видно, понял Храпов, что собрание ему не придётся убедить, и он выразительно посмотрел на молчавшего, горой возвышающегося над столом Бабкина: дескать, выручай, угомони свою гвардию. И Степан Кузьмич поднялся проворно, но заговорил не в пользу Храпова.

– Насколько я понял, дорогой Владимир Федосеевич, не желает народ школу закрывать. А раз народ против – значит, баста! Народ у нас – хозяин!

Храпов медленно и тяжело брякнулся на стул, смахнул пот со лба тыльной стороной ладони и прокряхтел глухо:

– Народ, народ! А райком зачем?

– Народу служить, – ответила Нюрка.

– Ну и служите, – гаркнул Храпов, – а школу мы всё равно закроем.

Он схватил с вешалки свой кожаный плащ, загремел, вставляя руки в рукава, расталкивая колхозников, шагнул к распахнутой двери и скрылся в темноте сеней.

Ещё несколько минут шумели бабы, и больше всех возмущалась Нюрка:

– Ишь, хозяин какой на наших ребятишек нашёлся! Учи свою жену щи варить!

Андрей выбрался на улицу – больше здесь делать нечего. Он шёл по притихшей перед вечером деревне, вдыхал сладковатый дым печей, затопленных, наверное, для того, чтобы приготовить пищу на ночь. Вечер был тихий, без единого ветерка, и белёдые столбы дыма прямо впивались в небо, пронзали сквозную сизоватую высь, как острым мечом. Высоко-высоко, над самой головой, качался какой-то причудливой ладьёй полумесяц, тоненький серпик в теряющем голубизну небе.

Впечатление от собрания было тягостным, будто шёл сейчас Андрей с деревенского кладбища, где оставили покойника. Кажется, и в этом проявится своего рода засуха – закроют школу, и иссякнет маленький родник деревенской культуры, её притягательный центр, который сплавивал и объединял малых и старых.

Дома Ольга долго сокрушалась, узнав об этом решении, вспоминала – была бы сейчас Евдокия Павловна – завтра бы пошла к ней Ольга, убедила бы, что нельзя закрывать школу. Но вспомнила о горестной судьбе Сидоровой, и стало жутко и мрачно на душе – ей, видать, голубушке, сейчас самой не до себя.

## Глава двенадцатая

Никогда не знала Евдокия Павловна, как длинны, громадны бесцельные дни. Вся её жизнь до освобождения – это порох, который сторел моментально, стремительно, даже для себя не оставалось времени на еду, питьё, на немудрёные женские дела по хозяйству. Всякий раз она разрывалась между домом и работой, между заботой о Николае и тысячью, тысячью мелких и крупных хлопот о школах, собраниях, клубах и библиотеках, о праздниках и буднях, о хлебе для людей и страны.

Последний раз Евдокия Павловна была в отпуске в сороковом году. Тогда у Николая неожиданно плохо стало с печенью, и врачи рекомендовали поехать ему в Железноводск, попить местной водички. До этого муж никогда не болел, хоть и не был великаном, но крепкий, выносливый, закалившийся в деревенских делах Николай чувствовал себя бодро и уверенно.

Судьба у Николая была трудной, сиротской. В гражданскую погиб отец, а потом заболела тифом мать и – словно её сковал стылый мороз, а потом отпустил, но ненадолго – истаяла на глазах, сердешная. И пришлось семнадцатилетнему пареньку податься в Хворостинку, наняться грузчиком на железную дорогу. Он таскал огромные кули с хлебом, грузил бочки со спиртом, и это накачало его мышцы, закалило организм. Даже в стылую зиму ходил с грудью нараспашку, точно ветер не пробивал его, отскакивал как мячик, а тело не сковывал трескучий мороз.

Когда Евдокия Павловна приехала в Хворостинку, Николай работал уже кассиром товарной конторы. Ей сразу понравился этот молчаливый человек, не терпевший пустословия, высокий, подтянутый, который ходил прямо, с худой бронзовой, прокалённой морозом, шеей.

Так он и жил – грудь нараспашку, и в прямом и в переносном смысле. И когда уехал учиться в техникум – ему очень хотелось быть землеустроителем, сказал уже молодой жене:

– Не бойся, Дуся! Со мной ничего не будет! Видишь, какой здоровяк!

Тогда Евдокия Павловна крепко расцеловала мужа и сказала на прощание:

– Смотри, не сглазь сам себя!

– Ничего, упрёмся – разберёмся.

Любимое выражение у Николая, то ли в книжках вычитал, то ли сам придумал, но в жизни он действовал именно так, как в этой присказке. В учёбе ему было трудно – великовозрастный мужик позабыл многое, чему учили когда-то в школе, но бессонные ночи за учебниками да природная смекалка с лихвой компенсировали Николаю этот недостаток, и он вскоре стал лучшим в группе.

В тридцатом Николай мотался по району, нарезал земли вновь созданным колхозам, жил впроголодь, ночевал на столах в сельских советах, но к Евдокии возвращался радостный, открытый, рассказывал басовитым голосом со смехом, как в дальней Ивановке был он на собрании и попал в одну нелепую историю.

В Ивановке жил Потапов, большой любитель выступать, говорить по любому поводу. Кажется, попроси его выступить по звёздному ориентированию, и он, не задумываясь, начнёт молоть такое, что, как говорят, уши завянут. В деревне помнят, как на одном из собраний, когда ему, собственно, и говорить было нечего, он произнёс такую фразу:

– Не важно, что важно, важно – что не важно, вот что важно...

Приехал Николай по нарезке полей, вместе с председателем собрали собрание. Потапов не удержался, минут пятнадцать поучал:

– Дисциплину надо повышать, товарищ председатель. Сам-то он – великий бездельник, работал учётчиком, и даже с этими немудрёными обязанностями справлялся с трудом, прогуливал. Поэтому колхозники слова его о дисциплине встретили с улыбкой.



Потом выступал Николай. Конечно, ему трудно знать, новому человеку, каждого колхозника, так сказать, кто на чём замешан, но Потапова он поддержал:

– Тут правильно говорили – дисциплины нам не хватает. Вот выступал товарищ... – Николай остановился, поглядел на учётчика.

– Ветродуев! – подсказал кто-то из толпы.

– Ага, правильно, товарищ Ветродуев! – продолжал дальше Николай, но люди его уже не слушали, стонали от смеха.

Евдокия смеялась вместе с ним, заражалась его неистребимым оптимизмом.

Они поехали в Железноводск вдвоём – всё-таки хоть и с мукой великой, но достала Сидорова две путёвки через обком в партийный санаторий, называвшийся «Горный воздух». Санаторий прилепился в середине горы Железной, среди колченогих деревьев и птичьего гомона. Его пятиэтажный корпус казался им огромным и приветливым.

Три раза в день они ходили к Славяновскому источнику пить кислотоватую воду, любовались городом. Маленький городок лежал в расщелине между двумя горами – Бештау и Железной, и когда выкатывалось солнце, оно золотило пятиглавый Бештау, разливало в низине искристый блеск, открывало зелёные дали полей на западе. Городок был чистый, опрятный, как старательная хозяйка, на улицах много цветов, и сама растительность, по-южному буйная, ласкала взор.

Всё это создавало в душе праздник какого-то неизведанного восприятия мира, будто шумел вокруг них таинственный карнавал, цветной и многоголосый, ликующий. И в войну часто вспоминала Евдокия Павловна о том счастливом времени. Наверное, не ею придумано, что счастливые минуты продлевают человеческую жизнь, наполняют её особым видением воспринимать красоту, природу, людей. Ей очень хотелось повторить эту поездку после войны, после всего того, что они вынесли и пережили, потому что человеческая память, как крепостные стены, держит в себе и хорошее, и плохое в закупоренном виде, и если поехать на юг, окунуться в атмосферу отдыха, лёгкой беззаботной жизни, эти стены распахнутся, ветер-сквозняк выметет из неё горький осадок, растворит душевный мрак, проколет его острым лучом света откуда-то с высоты пятиглавого Бештау.

Теперь о поездке не могло быть и речи. Но раз получился у Сидоровой отдых поневоле, в первые дни она старалась отвлечься от тяжких дум, часто по вечерам просила Николая прогуляться по посёлку. Иногда они уходили далеко за Хворостинку по дороге рядом с железнодорожной веткой, где в полосе отчуждения цвела запоздалая калина, а в крепях набирали силу соловьиные голоса.

Но Николай от этих вечерних прогулок стал больше кашлять, грудь его ночью словно разрывалась на части, и она смирилась с необходимостью сидеть в доме, заниматься хозяйскими делами. Неожиданно в ней проснулось желание шить, и она на старой зингеровской машинке перешила практически все свои довоенные платья, на исхудавшем теле болтавшиеся как на огородном пугале, перештопала носки, перестирала половики и чехлы с мебели.

Но как-то незаметно, по мере того, как отступали внешние знаки запущенности дома, исчезло и радостное ощущение отдыха, свободы, а нарастало чувство какой-то замкнутости, спёртого воздуха. В мыслях она была уже далеко от своей квартиры, в просторах полей, где сейчас наливаются жидкий колос, где качаются в выси жаворонки. Она рассказала об этом Николаю, тот рассмеялся:

– Живому человеку, мать, никогда не угодишь. Ему то холодно, то жарко, то ветрено, то слишком тихо.

Надо было находить работу, чтоб ощущать усталость, возвращаться домой поздним вечером, вслушиваться в тишину родной квартиры, но Евдокия Павловна всё не спешила, всё не

могла преодолеть барьер, который, точно глухим забором, отделил её от людей изгнанием с должности. Всё казалось, что на улицах вслед долго, с намёками и недомолвками глядят жители посёлка, ухмыляются и перемаргиваются, и ей нестерпимо больно было нести свой тяжкий крест. Но Николай, узнав о её терзаниях, ответил мудро, как-то по-книжному:

– Только тот должен, Дуся, переживать за свою честь и порядочность, а не бороться за неё, у кого этого нет...

Сказал – и вроде острым ножом отсёк всю пресловутую заботу о собственном авторитете. В самом деле, разве она сделала что-либо такое, что может вызвать отвращение у людей? Она что, залезла в карман государства или кого ограбила?

Не раз удивлялась Сидорова мудрости, независимости суждений Николая. И на этот раз он одной фразой разрубил её тяжкие сомнения. А может быть, ей не мучиться надо, а гордиться своим прошлым, тем фундаментом, который ею заложен на этой земле, и на нём строить жизнь дальше? Может быть, ей надо не испытывать пугливый озноб ночью, когда она внезапно просыпается, ощущая холодный пот на лбу, а смело, с достоинством глядеть людям в глаза, доказывать, что она не смущается за своё прошлое, а гордится им?

Для себя Евдокия Павловна находила и другое оправдательное обстоятельство своего уединения: болезнь Николая. Он как-то неожиданно постарел, осел, кашель стал раздражающим, ужасным, от которого у Евдокии трепыхалось сердце. Короткое улучшение после госпиталя быстро прошло, и теперь она каждый день ощущала: здорово исковеркала война мужа, если никак он, здоровяк и крепыш, не наберётся сил. Кажется, словно на танке прокатились по нему, вдавили, вмяли грудь, из которой рвётся сейчас этот неистовый трескучий кашель.

Впрочем, она понимала, что и Николай переживает за неё. Глядя, как она, словно птица, посаженная в клетку, мается и испуганно дёргается, он кривился лицом, взгляд его становился невидящим, словно он от рождения слепец, как их знаменитый Митя-баянист, а лицо – мертвецки бледным.

Наконец, Евдокия Павловна не выдержала, пошла в райком, благо, повод был весьма уважительный – надо было забрать свою трудовую книжку, а из сейфа – партийный билет. И удивилась, с каким тупым любопытством её рассматривали бывшие сослуживцы – вроде незнакомый, неблизкий человек стоял перед ними.

Внутренне содрогнулась Евдокия Павловна от этих взглядов, прошлое будто бы било её кулаком в грудь, в лицо, болезненная скованность пронзила тело. Она устало побрела домой. И снова бессонные терзания, снова опустошённость и тоска схватили за горло.

Через несколько дней пришла повестка на суд. Её приглашали в качестве свидетеля по делу бывшего товарковского председателя Егора Степановича, обвиняемого в убийстве Шальнева, и она решила идти. И Николай, узнав в чём дело, тоже посоветовал: «Надо».

Шла она с тяжёлым чувством и всё надеялась, что на суде Егор Степанович поднимется и скажет что-нибудь такое, что развеет обвинение, оно рассыплется, как карточный домик. В сознании Сидоровой никак не уместилось это страшное слово «убийца» в отношении хитроватого Егора, которого она знала много лет.

Суд проходил в районном Доме культуры, и желающих послушать, посочувствовать в зале собралось много. Свидетелей собрали в отдельной комнате, и здесь Евдокия Павловна услышала обрадовавшее её: не признает Егор своей вины.

Она прошла в зал, когда её пригласили, упёрлась взглядом в сидевшего за барьером Егора Степановича. Его просто было не узнать – вместо волос на стриженной голове – ёжик, две глубокие борозды пролегли по углам рта, тяжёлые веки мрачно нависли над глазами. Видно, яростные бури бушевали в его голове, мяли и комкали мысли, теснили сознание.

Судья Яценко, которого много лет знала Евдокия Павловна, долго задавал ей вопросы, и

пришлось поковыряться в памяти, вспомнить и свою поездку в Товарково, и встречу с Шальневым, и отношение к нему Егора Степановича. В глазах встала картинка их утренней встречи с председателем после убийства, его растерянный, встревоженный взгляд. Пришлось рассказать об этом.

Ощутимо входила в Евдокию Павловну сквозная острая мысль: надо спасти Егора Степановича. И она заговорила резко, торопливо о своём глубоком убеждении, что не виноват Егор Степанович в смерти Шальнева, пусть её четвертуют или на виселицу сведут – не виноват.

Яценко улыбнулся, сказал неторопливо:

– Я понимаю, Евдокия Павловна, что вы человек эмоциональный, а нам факты нужны. Пока факты против подсудимого.

– Какие факты, какие факты? – не удержалась Сидорова, хотя понимала, что сейчас ей задают вопросы, а не она.

– Упрямые факты! – снова усмехнулся Яценко. – Вот хотя бы признание самого подсудимого.

Тяжело, с медвежьей медлительностью и усталостью поднялся Емельянов, исподлобья осмотрел зал и сказал будто в пустоту.

– Не убивал я Шальнева. А признание это мукой добыто!

– Какой мукой? – спросил Яценко.

– А вот если вам пальцы дверью начнут зажимать, вы что скажете?

Охнул зал в едином вздохе, и Евдокия Павловна глянула на Егора с восхищением. Выходит, как не мяла его жизнь, возможно, ни одной клеточки нет, которая бы не почернела, не пропиталась тоской и жестокой несправедливостью, а вот не сник, не переломился, как сучок под увесистым башмаком.

Прокурор Плотникова вскочила со своего места, крикнула:

– Во время предварительного следствия, вы, подсудимый Емельянов, давали другие показания. Вот передо мной протокол допроса...

Не смутился Егор Степанович, спокойно ответил:

– Я давал показания такие, какие начальнику милиции Острцову нужны были. Попробовали бы вы другие дать!

– Вы что, официально отказываетесь от своих показаний? – спросил Яценко.

– Как угодно считайте, официально или неофициально, только я не убивал начальника районной инспекции.

Какой-то жгучий азарт и интерес охватил Евдокию Павловну. Будь её воля, она сейчас бы поднялась со своего места, оттолкнула двух дюжих милиционеров, что стоят за спиной бывшего товарковского председателя, вывела бы за руку Егора из этого душного, пахнущего краской и потом зала, на свободу, на воздух. Она чувствовала, что глаза у неё сделались злыми, огнистыми, наверное, этот свирепый взгляд усмотрел Яценко, попросил:

– Свидетель Сидорова, покиньте зал. Мы вас ещё вызовем.

Она уже уходила, когда заговорила Плотникова:

– Напрасно вы сопротивляетесь, гражданин Емельянов. Только по вашему признанию мы уже имеем право вас привлечь.

Что ещё говорил прокурор, Евдокия Павловна уже не слышала, хоть нетерпеливость, безудержная тяга узнать, что же будет дальше, диктовала ей желание быть в этом зале. Но с другой стороны, неужели сам Егор допустит, чтоб над ним, хитрым и сильным, глумились, пристёгивали к этому унижительному делу? В короткий момент присутствия на суде она поняла, что Егор не сломлен, а это главное!

Целый день проторчала в свидетельской комнате Евдокия Павловна, но её так и не вызвали.

И впервые возникла в голове обжигающая мысль: а может быть, и не нужна она больше суду? Им надо обвинять, уличать, припереть к стенке даже невинного, а Сидорова оправдывала подсудимого. Да, не в почёте нынче честность, куда ценнее предательство и наговор.

Суд в этот день не кончился, а на другое утро стало плохо Николаю. Всю ночь он сотрясался от тяжёлого кашля, похожего на грохот горного обвала, к утру пошла кровь горлом. Евдокия Павловна побежала в амбулаторию, гонимая диким страхом, падая в предутренней темноте, обдирая колени и руки. В мыслях она тешила себя одной ободряющей идеей – добеги она сейчас до дома, где живёт их районный доктор, милый приятный старичок Григорий Францевич Шнейдер, обрусевший немец, ещё задолго до революции закончивший университет, – и Николай будет спасён, отгорожен от смерти непреодолимой стеной. Ругая себя за бессилие, за медленный бег, она лихорадочно семенила ногами, обливалась липким потом.

Почти в беспамятном состоянии Евдокия Павловна дробно стучала в окно дома старого доктора. Тот выскочил на порог быстро, на ходу запахивая халат, размахивал маленьким саквояжем. Ни одного слова не ждал доктор, видимо, прочитал на её лице всё – и смятение, и растерянность, и жуткий страх. Он торопливо семенил за ней, путался в полах длинного халата, чертыхался и тяжело дышал.

Но безжалостна смерть, незряча и зла. Эта единственная сквозная мысль возникла в голове у Евдокии Павловны, когда, возвратившись в квартиру, увидела она, как запрокинул по-птичьи голову Николай, выставил острый кадык, мучительное сипение прорывалось сквозь широко раскрытый рот, а потом и оно исчезло. Хлопотал около Николая старый доктор, торопливо делал инъекцию, но Евдокия приложила руку к холодеющему лбу Николая и поняла: мечтам и надеждам, всей её жизни пришёл конец. И она забилась в отчаянном, раздирающем душу, освобождающем плаче.

Евдокия Павловна три дня жила в каком-то противном липком тумане. Всё забрала у неё смерть Николая – думы, мечты, надежды. Разрушительный огонь ворвался в её квартиру, превратил всё в обуглившиеся головешки, и сама себе она казалась такой же почерневшей, обуглившейся, бесчувственным бревном, которое плывёт по течению. Внутренние спазмы давили её, выжимали слёзы, хоть каменным, застывшим казалось сердце. Даже о том, что Емельянова осудили всё-таки на двенадцать лет за преднамеренное убийство, она не могла узнать.

Приходили люди, друзья и просто знакомые, низко кланялись ей, что-то говорили, сочувствовали и вздыхали, но в тусклой сини дней и ночей она не могла разглядеть их лица, запомнить слова и жесты. Кажется, один раз мелькнуло лицо Ольги Силиной, но тогда Евдокия Павловна содрогалась от слёз и бесцветным взглядом не уловила – тот ли человек был в её доме, а может быть, похожая женщина разрывалась в протяжном плаче.

На третий день Евдокии Павловне помогли подняться со стула около гроба, соседка Федосья Сергеевна сказала «пора», и гроб с телом Николая качнулся, поплыл из дома. Дальше опять наступил провал памяти, она не помнила ни дороги до кладбища, ни прощания, только и осталось в сознании, как громыхнули комья земли о гроб, а потом опять всё слилось и потонуло в незрячем полумраке.

Только дома к ней вернулось сознание. И первый вопрос, который возник в голове: зачем жить? Два самых дорогих человека были у неё в жизни: сын, которого отняла война, и муж Николай, её опора и верный посох, которого тоже приняла земля. Две эти смерти лишили её силы, а без силы нет движения, стремления к чему-то, нет источника света, освещающего путь вперёд.

Сидели за столом в их доме, поминали Николая, а она всё смотрела на наполненный водкой стаканчик, установленный на комод и прикрытый куском хлеба. Она знала давнишнюю

традицию похорон – наливать покойнику со всеми наравне, но сейчас это показалось каким-то кощунственным и бесконечно злым. Разве встанет Николай?

К вечеру, когда разошлись гости, Евдокия Павловна прилегла на койку. Кажется, забылась в тревожном сне. На секунду отступили тревоги, улеглась тишина, даже смолкли раздражающие звуки пролетающих мимо дома поездов.

Она поднялась уже в темноте, перед глазами поплыл густой мрак. Хотелось разогнать, руками раздвинуть эту темноту, и она двинулась к полке, на которой стояла лампа, но свет зажигать передумала, выбралась на улицу, глубоко вдохнула загустевший, набравший холодка воздух.

Прогрохотал мимо поезд, и дрогнуло лицо у Евдокии Павловны. Она пошла по путям, спотыкаясь и падая на скользких шпалах. Сзади надвигался поезд, ревел дико, но Евдокия Павловна шла и шла, пока всё для неё не исчезло навсегда...

\* \* \*

Когда теряешь людей, знакомых лично, с кем делился куском хлеба или получал от них поддержку и помощь, нет восполнимости этим потерям, дырывается грудь как от пули, возникает неведомая страшная тяжесть, натягивает тугой струной нервы.

Ольга узнала о смерти мужа Сидоровой от Степана Кузьмича – тот тоже знал Николая лично – не раздумывая, приняла решение немедленно идти в Хворостинку. Она нашла Андрея в поле, предупредила, что обстоятельства зовут её в райцентр, и Андрей кивнул головой: надо так надо, какой разговор!

За час она дошла до Архисвятки, а тут её подхватила попутная трёхтонка. Тряслась в кузове Ольга, вдыхала горьковатую бензиновую гарь и обречённо думала: ну почему не везёт хорошим людям? Почему так несправедлив мир, что негодьям и проходимцам, подлецам есть место под солнцем, а человек душевный, с чутким сердцем уходит раньше времени?

Она без труда нашла пристанционный домик, оббитый жёлтыми крашеными досками, вошла тихо. И словно ужалили её глаза Евдокии Павловны. В домике толпились люди, тихо переговаривались, на кухне гремели посудой женщины в чёрных платках, и оттуда доносился запах пищи, а Евдокия Павловна сидела скорбная и одинокая, опустошённая, с измученным лицом, на котором залегли сумрачные тени. Ольга поклонилась, положила к гробу букет кипенно-белых таволг и голубых вероничек, которые успела собрать по дороге в Архисвятке. Кажется, даже не узнала её Евдокия Павловна. Погружённая в свои думы, она словно нырнула в незрячий полумрак. Ой, как понятно ей это состояние, сколько перенесла она утрат за последние годы!

Она подошла к Евдокии Павловне, но слёзы сдержала – не нужны они сейчас, не надо надрывать лишний раз душу жене умершего. Слёзы – слабое утешение в любом состоянии, а сейчас только добавят горечи и тоски.

Для Ольги нашлась работа на кухне, и она вместе с другими женщинами готовила пищу для поминок. Готовила и возмущалась – да что за жизнь проклятая, даже похоронить человека нельзя по-людски, обычную кутью сварить не из чего. Неужели они так и будут жить и после войны платить суровую дань голодом и страданиями?

На кладбище Ольга не пошла, накрывала на стол и теперь, уже освоившись в чужом доме, как заправская хозяйка, кормила могильщиков, четырёх здоровых мужиков, а потом усаживала за стол друзей Николая. Снова была безучастной Евдокия Павловна, и вид её вызывал печаль и скорбь.

Она ушла в Парамзино перед вечером, поцеловав на прощание Евдокию Павловну, но та, кажется, снова была где-то далеко в своих мыслях, её тёмные глаза заволокла неподвижная грозная туча...

Сколько потом будет жить Ольга, столько и будет проклинать свою беспечность. Как могла она, как могли другие оставить Евдокию Павловну одну! Неужели равнодушные, чёрствость, наконец, обычная человеческая непредусмотрительность вошли в её сердце, не отвели беды от Евдокии Павловны?

...Снова три дня провела в Хворостинке Ольга, пока хоронили Сидорову. И, казалось, сердце проломит грудь. Так и осталась она в её памяти – лёгкая и стремительная, как птица, не женщина, а само очарование, красота – с плавными манерами, и перед глазами стоит и стоит её лицо, немного тронутое морщинами, роскошные чёрные глаза. Они ещё долго будут сопровождать Ольгу, глядеть ей вслед, и не поймёшь, то ли с тоской, а скорее всего с обидой и осуждением.

А через неделю ещё одна смерть случилась, теперь уже в Парамзине. Умерла от кровотечения Настёна Панфёрычева. Слово злой рок сошёл на землю, думала Ольга.

О том, что Настёна беременна от Мрыхина, разговор шёл давно, а Илюха Минай, как-то завидев Настёну в просторной шерстяной кофте, едко сказал:

– Бабий грех не упрячешь в мех!

Тогда Ольга этим словам не придавала значения: не её воз, не ей и везти, а сейчас поморщилась горько и обречённо. Ещё одна жертва людской несправедливости и тяжкой жизни: разве Настёна пошла бы к бабке Разорёновой исцеляться спицей, если бы были разрешены аборт? Но вот поди ж ты, статью определили, указом аборт запретили, хошь какой позор на себя принимай, а рожай!

Настёну провожали на кладбище всем селом, а когда Ольга с Андреем на обратной дороге свернули к своему дому, она вдруг сказала скорее даже не для мужа, а для себя:

– А ведь, кажется, я тоже беременная!

– Да ты что, милая? – Андрей улыбнулся светло и радостно. Но сама Ольга ещё не определила: радоваться или огорчаться надо ей сейчас. В трудное время ждало её материнство.

## Глава тринадцатая

Сергей Бабкин, по кличке «Рупь-пять» или «хромоногий Юфест», появился в Парамзине в самый канун уборки. Наконец-то пошли дожди, небо стало похоже на сито, из которого постоянно три дня сочилась мелкая, распылённая до мельчайших частиц влага. Нет, пересушенную, изжаждавшуюся землю этот дождь насытить не мог, просто напоил свежестью воздух, стало легче дышать и людям, и зверям, и даже усыхающим деревьям, точно для них, как для ныряльщиков, появился наконец глоток живительного кислорода. Где-то читал Андрей, что японские ныряльщики за жемчугом набирают в лёгкие большое количество воздуха и им кажется, что к ногам привязали увесистый камень, а когда на поверхности моря они с шумом выталкивают переработанный газ, голова наполняется лёгким звоном, длительным и приятным, напоминающим звон церковных колоколов.

Вот так и это ненастье. словно горьковатый дымок костра: сначала освежило, стали осязаемо различимы земные запахи – спелого хлеба, выцветшего пустырника, тонкий аромат полевых ромашек, а потом вселило в голову лёгкий звон, сладкое желание выспаться, отдохнуть от испепеляющей жары.

Может быть, поэтому немногие в деревне видели, как после полудня со стороны Верхней Лукавки вошла в село пара. Если бы не короткий стриженный чуб, о Серёге можно было бы сказать, что этот преуспевший в жизни человек – не иначе, как из Москвы. В руке он нёс светлую фетровую шляпу с загнутыми полями, а его новенький коричневый костюм сверкал и искрился, как новая монета. Был он рыжий с лица, и весь вид его подчёркивал: человек живёт на все сто, ничего его не волнует и не омрачает.

Спутница Серёги была менее яркая – маленького росточка, с волосами-завитушками, грузная, и нетрудно было догадаться, что возрастом она далеко постарше своего кавалера. В отличие от него, она не хромала, но интересно выбрасывала толстые ноги вперёд. Серёга и его спутница шли важно, неторопливо, словно подчёркивали: не глиняные, не развалятся. В другой руке у Серёги поблёскивал внушительный чемодан, а его спутница несла маленький саквояж.

Недавно проснувшийся Андрей прильнул к окну, с интересом понаблюдал эту картину. Сейчас он начинал закипать, в нём вспыхнула злоба и ненависть к этому человеку, который, как новый пятиалтынный, сияет и здравствует, а его родной Анюты больше нет на земле. Первое желание, которое возникло, – раздавить, приплющить, смешать с землёй этого страшного человека. Но говорят, злость тоже бывает созидательной, и Андрей невольно подумал об Ольге: а она при чём? Разве она поймёт его взволнованность, это желание чуть ли не сокрушить мир ради старой любви, ради одного прохвоста, который ещё топчет землю, мнёт траву и даже, кажется, пользуется чьей-то любовью – вон как по-собачьи преданно заглядывает ему в глаза спутница.

Каждая мышца, каждый нерв сейчас напрягся, ощутимо напряглась спина. Ничего, даст Бог встречи, тогда и поговорим, решил про себя Андрей.

На утреннем наряде председатель не удержался, похвастался: вернулся сын досрочно. И, хоть срок оттянул, устроился парень в Павлодаре в больницу, а жена его, Фрида Марковна, работает врачом в той же больнице, так что на время, пока гостюет сын со снохой – милости просим, может быть, болячку какую залечить надо, или зубы проверить. Председатель говорил самодовольно, с оттенком гордости, а Андрей невольно скрипнул зубами. «Ишь, похваляется, сволочь, нашёл, чем хвастаться», – подумал Андрей, но вслух ничего не сказал.

Люди в деревне во время войны забыли про врачей и лекарства, они болели и умирали молча, как деревья в лесу. Уж если и обращались куда, то только к «фершелу» Наташе, у

которой, впрочем, кроме ихтиоловой мази да стрептоцида, никаких лекарств не водилось.

Потянулся народ к дому Бабкина, надеясь на исцеление, и Серёга, облачившись в белый халат, осматривал односельчан, а рыжекудрая Фрида, похожая на заматеревшую корову, выписывала рецепты, объясняла, как легко можно лечиться – травами.

– Может, и мне пойти? – спросила за обедом у Андрея Ольга. Спросила – и как накололась на острый взгляд.

Андрей сказал как отрубил:

– Нечего тебе там делать!

– Ну так сам сходи, раны свои покажи...

– Без врачей обойдусь.

Целый день терзался Андрей мыслью – неужели Ольга и в самом деле не догадывается, что был и остаётся Серёга Бабкин ему смертным врагом, что свирепеет ветер в его душе, прожигает холодом и презрением.

С Серёгой встретился Андрей два дня спустя, когда возвращался с косьбы ржи вместе с Ольгой. Вгляделся в Серёгу и поразился – у того от неожиданной встречи заплясали губы, задёргался подбородок, а глазки забегали. Кажется, и сам он готов был, как бездомный пёс, завилать хвостом, жалостливо лизнуть протянутую Андреем руку.

– Ты иди, Оля, домой, а мне тут поговорить надо, – тихо сказал Андрей и выразительно посмотрел на Серёгу.

Ольга покорно пошла, поминутно оглядываясь, а Серёга немного откинул голову, спросил заискивающе:

– О чём говорить будем, Андрей Фёдорович?

– Значит, пёс шелудивый, и по батюшке вспомнил? А говорить, Серёга, об Анюте Тишкиной будем... О ней самой. Знал такую?

– Знал, – буркнул Серёга, и на лице вспыхнули багровые пятна.

– Ну, так вот и расскажи, как ты её в могилу свёл?

– Зачем старое ворошить, земляк! Было да прошло. Молодо-зелено, сам знаешь...

– Значит, молодо-зелено? Вот ты сейчас живёшь, жизнью наслаждаешься, а её нет.

Расскажи, гад, как на жизнь её позарился...

– А ты кто, божий праведник, чтоб меня об этом спрашивать?

Что-то колыхнулось в груди Андрея, и он схватил Серёгу за рубашку.

– Ты что, ты что? – завопил Серёга. – Дратся хочешь, да? Так вот знай, сама она мне передок подставила.

– И из-за этого повесилась?

– Каждый сам хозяин своей судьбе. Захотела – и петлю накинута. У них это в породе так заведено.

– Ну, про породу ты брось! А ты знаешь, какую она записку перед смертью оставила?

На испуг брал Андрей сейчас Бабкина. И тот и в самом деле затрясся, как осина на открытом ветру.

Наверное, он не всё знал о смерти Анюты и забормотал гнусаво, как дьячок:

– Разве я знал, что она повесится? Думал, мирно всё получится.

Он замолк, умоляюще глядел на Андрея. Глухов мрачно усмехнулся – трус он, Серёга, ещё надавить немного – и штанишки обмарает, у него, кажется, сейчас шок случится. Выругался Андрей, ожесточённо сжал кулаки, тело в один литой мускул превратилось, но какой-то внутренний голос приказал: «Не надо, Андрей, не надо!»

И он отступил на два шага.

– Вот что, Бабкин, – прошептал Андрей, – не буду тебя я бить, не буду. Но приказываю:



завтра же мотай отсюда! В другой раз встречу – придушу. Так что выбирай.

Припадая на ногу больше обычного, уходил Юфест под презрительным взглядом Андрея. И Глухову показалось, что над ним раскрылось небо, пробился свет, даже дышать легче стало в это пасмурное предзакатное время, ни боли, ни горя не осталось в душе – улетучились.

Назавтра, как обычно, потянулись люди к докторам, но старший Бабкин с утра стоял на пороге, хмурился, махал руками и говорил невзрачным голосом:

– Нет, нет, не дожидайтесь! Не будет сегодня приёма! Домой уезжают!

– А чего так скоро? – спросил Илюха Минай.

– Дела, дела... У больших людей на отдых мало времени остаётся. Вызвали их в больницу.

Председатель сам повёз на телеге гостей в Грязи. Андрей видел в окно: мрачнее ночи сидел Серёга на повозке, кривился, вроде ему под рёбра тычут чем-то острым, горбился и крутил головой.

Так и не поняли люди, почему этих докторов хороших словно стужей вымело из деревни, – были, и не стало. Но отцу, видимо, сказал Серёга причину своего отъезда: тот глядел после на Глухова косым, настороженным взглядом. А через несколько дней произошла и крупная ссора.

В тот день по Парамзину прокатился слух: сегодня приедут из школы мебель вывозить. Всё-таки не послушались районные вожди, приняли решение прихлопнуть начальную школу, чтоб глаза не мозолила.

Илюха Минай прибежал к Андрею запыхавшийся, в тапках на босу ногу, набычился:

– Это что ж получается, Андрей Фёдорович?

– О чём ты, Илюша?

– Да школу всё-таки закрыть решили!

– Ну, а мы что сделаем?

– Я придумал! Давай досками двери заколотим! Пока отдирать начнут, люди соберутся!

У Илюхи трое ребятишек довоенных, сейчас им как раз всем в школу идти, да ещё Тонька брюхатая. Понятно Андрею, почему тот сейчас горячится, ёрзает. Что даст это их занятие? Да ровным счётом ничего – с начальством спорить, что чихать на ветру: все брызги на тебя. Но не стал раздражать Илюху, пошёл вместе с ним.

Они прихватили две доски во дворе у Андрея, топор и гвозди-сотки. Крестовину над входной дверью приколотили так, что и в самом деле не вот сразу оторвёшь. За этим занятием и застал их председатель.

– Это что ж получается, Глухов, – Бабкин щурился, словно от удовольствия, мурлыкал, как над вкусной едой, – выходит, властям сопротивление оказываешь?

– А если власть к народу не прислушивается?

– Терпеть надо... Бог терпел, и нам велел...

– Вот и терпи, сам-то ты не больно терпелив!

– На что намекаешь, Глухов?

– А разве забыл случай у Камышового болота?

Не хотел Андрей ссориться, доходить до этой черты, но видел, нутром почувствовал – Бабкин специально на него нажимает, будто не с Илюхой они компаньоны, а Глухов всё один затеял. Хоть и не было сегодня жарко, солнце точно глаза свои разлепить не могло от туч, зевало, но Андрею сейчас душно стало, рубаха начала прилипать к спине.

Бабкин внешне спокойно, но с металлом в голосе проговорил:

– Выходит, правильно мне говорят, что ты, Глухов, человек мстительный, зверь, а не человек.

– Уж не сын ли твой, Сергей, говорит? – подначил Андрей.

Закашлялся Бабкин, будто прочищал глотку от пыли, а потом возвысил голос:

– А что мой сын? Преступник, да? Ну, случись драка, так кто же святой на этой земле. Разве ты один? Уж ты такой праведник, что и сказать трудно. Только вот девку за себя выбрать не мог.

Волчком крутился на месте Глухов, косо глянул на топор в руках Илюхи, и тот словно догадался – не ровён час, выхватит его приятель и запустит в председателя, – отвёл инструмент за спину. Но не думал об этом Глухов, ему главное сейчас – всё сказать Бабкину. Он с силой протолкнул возникший в горле липкий, неприятный до тошноты комок и встряхнул головой:

– А кто девку на тот свет свёл? Не сынок ли твой беспутный, а? Не знаешь об этом? Не знаешь?

– Тебе кто дал право на человека напраслину возводить? – взревел Бабкин.

– Сынок твой. Слабонервный он, хилак, да и только, за собственные штаны боится, сам признался мне.

– Перед судом будешь отвечать за клевету!

– За какую клевету?

– Вот Илюха слышал, за какую! Он и подтвердит! Андрею неожиданно стало противно, словно он находился в одной клетке с хорьком и начал задыхаться от вони. Кажется, ещё мгновение – и он сорвётся, бросится с кулаками на Бабкина, а там пусть хоть тюрьма, хоть сума – он на всё согласен, готов в любую тюрьму... Но встала перед глазами Ольга, жалобная и одновременно призывно-радостная, открытая, вознеслась над землёй, и он понял – во имя этой женщины он не сделает ничего такого, что бы доставило ей новые муки и страдания. Слишком много испытала она мучений на этой земле, в кровь изодрала своё маленькое, но чуткое сердце, и сейчас не выдержит, как Евдокия Павловна, бросится под поезд.

Глухов словно сбил с себя пламя злобы, сказал тихо:

– На суд ты не пойдёшь, Бабкин! Не пойдёшь из-за трусости. Там тебе всё сынок расскажет, а ты огласки этой боишься. Да ещё трясешься за богатство, что в Германии нахапал. Только знай – нечестно нажитое всё равно прахом пойдёт!

Он больше не стал говорить, пошёл от школы. Что-то призывное шевельнулось в нём, словно позвала его Ольга: «Не надо, милый, успокойся». И он пошёл послушно, как телёнок, отгоняя от себя тяжёлые, сродни гольшам-валунам, мысли. Надо жить дальше, старое не возвратится. Хоть и есть желание отомстить за него, во имя будущего надо перебороть в себе горечь и злобу. Теперь у них с Ольгой есть высшая цель, которая ещё только зреет внутри, набирает силу. Но она уже существует, диктует свои права и обязанности, диктует поведение. И этому надо подчиниться.

\* \* \*

После лёгких дождей опять набрала силу жара. В небе снова всё сияло, солнце, как огненный кусок металла, плавилось и дробилось на искрящиеся снопы света, даже робкие облачка, набегающие на светило, казалось, сгорали без остатка в этом пекле. В теплынь быстро подошли хлеба, сначала зажелтели, а потом подёрнулись коричневым налётом.

Уходя утром на работу, с тоской глядел Андрей на стройную берёзу около глуховского дома. Кажется, сморила её засуха окончательно, жара, будто в африканской пустыне, высушила листья, и они стали похожи на шуршащий панцирь, звенели металлическим звоном, протяжным, трескучим.

Иногда Андрей думал, что и людей, как природу, начинает приканчивать засуха. Он вспомнил фронт, весельчака Петьку Хромых, который, смеясь и прижимая палец ко рту, как-то,

отозвав его в сторону, спросил: «Знаешь, какую главную ошибку Сталин совершил?» «Нет, не знаю», – отвечал Андрей. «Нашим солдатам Европу показал». «Ну и что?» – засмеялся Андрей. Он тогда не догадывался о том, какую мысль дальше разовьёт Петька.

А тот глянул на Андрея, мудро сощурившись, вдруг заговорил, что теперь, после того, как посмотрели они на Европу, пошагали по их благоустроенным дорогам – рядом с асфальтовыми трассами яблони растут, и никто яблоки не рвёт! – поглядели, как живут-могут и в деревнях, и в городах, – и по-старому жить не захотят.

В душе Андрей был согласен с Петькой. Даже в северной Финляндии, где, кажется, только три богатства и есть: еловые леса – мрачные, глухие дебри, голубые безбрежные озёра да ещё гиганты-валуны, хаотично разбросанные в самых неподходящих местах, – даже там люди жили спокойно и с достоинством, а во взорах царила доброта и приветливость. Не было в них ни холодной, мёртвой пустоты, того тупого безразличия ко всему – к своей жизни, к стране, к горю, выигравшему этим летом, а наоборот, искрилась жажда жизни, созидания, желание драться за свою судьбу, цепко впиваться пальцами в каждую представившуюся возможность, – вот что увидел Андрей.

Увидел, и теперь поражается – что происходит в его родном Парамзине? Взять ту же школу. Не отстояли парамзинцы своё сердце, слишком слабой оказалась баррикада, возведённая им с Илюхой.

В тот день они – Илюха Минай, Сергей Яковлевич, Андрей и ещё несколько стариков – косили рожь за Золинским прудом. Даже старый Иван Тишкин приплёлся в поле, вызвавшись отбивать косы и ремонтировать крюки.

Правду говорят, что всё гениальное просто. Наверное, талантливым был тот человек, что придумал крюк для косьбы хлебов. По сравнению с серпом – это целая революция, своего рода взрыв технической мысли. К обычной косе перпендикулярно крепился брус с длинными прутьями-пальцами, и при густом или высокостебельном хлебе эти прутья не давали разваливаться кошенине в разные стороны, формировали ровный рядок с колосьями в одну сторону.

Андрей работал в паре с Ольгой – она вязала за ним. Покой и радость жили сейчас в нём – так и пойдут они по жизни рука об руку по трудной дороге, опираясь друг на друга и поддерживая.

Несколько раз порывалась Ольга выхватить у него крюк, смеялась:

– Да я во время войны по гектару косила! Выходит, по-твоему, мы сдуру фронт хлебом кормили?

– Да нет, не об этом я хотел сказать, и если ты меня так поняла, то прошу простить. Но то было в войну. А сейчас? Должны мы вам здоровье сберечь? Во имя наших же детей, будущего...

Не успел Андрей развить свою мысль. Пропылил по дороге верховой, и он испугался – не случилось ли чего? Не пожар ли в деревне? Глянул на дальний горизонт, туда, в сторону Парамзина – слава Богу, не видно дыма. Всё перенёс Андрей – голод, холод, свист пуль и разрыв снарядов, ранения и болячки, неопределённость в судьбе и крутые изломы – всё-всё, а вот пожара боялся больше всего.

Но верховой спешил, это был Колька Дашухин, и раз не закричал, а заговорил спокойно – значит, не самое страшное. Глухов уложил крюк на стерню, бросил Ольге:

– Ты отдохни пока, а я узнаю, в чём дело!

Видно, всё-таки встревожен Колька, хоть и не испуг, а возбуждение горит в глазах. Илюха быстро повернул голову в сторону Андрея, спросил торопливо:

– Слыхал, что Лёнька рассказывает?

– Что?

– Вывозят мебель из школы. Сам Мрыхин командует. Помнишь прораба? И Бабкин с ним. Ну что, погнались?

Напряглись жилы на шее Андрея, а в горле заклокотало, запенилось, но трезвый рассудок одёрнул за руку: а что они могут сделать? Парты отстоять? Баррикады из них соорудить и с ружьём в охранение встать? Да их завтра скрутят, как жеребят-стригунков, ножки стреножат такими путами – не развяжешь.

На память пришёл тракторист Алёшка Елизаров, весельчак и балагур, весёлый балалаечник. Перед самой войной женил он сына Гришку. Свадьба была весёлая, забавная, Алёшка кричал, призывал гостей гулеванить по-настоящему, на вино не скупился и скоро сам набрался, принялся играть на балалайке, на которой мог он виртуозно исполнять любые танцы и припевки. Был Алёшка похож на циркового клоуна – нос в лепёшку, глаза навывкате, рубаха из красного атласа. И когда как-то спел забористую частушку:

Пшаницу – за границу,  
Яйца – в коперацию,  
Большой хрен – на заготовку,  
Дуньку – в облигацию.

– то люди только посмеялись, а больше всех его жена Дуся, кроткая, смиренная баба. Но через два дня приехали к их дому два ражих молодца, Алёшку увезли. Словно в омут канул человек, был – и не стало. Вот такие дела!

Может быть, вовремя вспомнил об этом Андрей и спросил у Илюхи рассудительно:

– А что это нам даст?

– Ну... сам понимаешь... – начал заикаться Илюха. – Может, отстоим школу? Разве... мы-ы не фронтовики с тобой?

– Охолонь трошки, Илюша. Ничего мы с тобой не сделаем, только себе навредим. У немца всего-то танк, а у этих – бу-ма-га! Ре-ше-ние!

Подошедший Сергей Яковлевич, узнав в чём дело, тоже поддержал Андрея.

– Плетью обуха не перешибёшь, – сказал он рассудительно.

Илюха дёрнулся, лицо сделалось мёртвенно-бледным, сказал со злобою:

– Ну, тогда я уеду из Парамзина. Не котята мои дети.

– А куда уедешь, Илюша? – засмеялся Сергей Яковлевич. – От судьбы не убежишь.

– У меня кум в совхозе «Кубань» работает, вот к нему и подамся. Всё-таки не за палочки пашет, а настоящий хлеб получает. Давно меня зовёт, а я всё за свои углы держался.

Они разошлись по своим загонкам, и Андрея охватила тоска. А ведь и в самом деле, развалится Парамзино. Вон уже две семьи – Кольки Ермохина и хромого Боровкова, бывшего дезертира, недавно на Сахалин завербовались, сейчас ждут команду на отправку. Недавно Боровков ходил пьяный, расхристанный по деревне, кричал каждому встречному-поперечному:

– Наглядывайтесь – уезжаю!

Рыжие волосы его поредели на темени, свалялись в причудливый клок, и голос стал ломким, каким-то детским. Вроде и небольшая потеря, а всё-таки исчезнут ещё две семьи, и будут смотреть на мир пустыми глазницами их осиротевшие дома.

Рожь выдалась в этом году низкостебельная, ломкая, а колосок щуплый. И от этого тоже обливалось сердце кровью. Как будут жить люди в предстоящую зиму? Может быть, и ему податься из Парамзина, свет же клином не сошёлся? А как же память предков, родные могилы, тёплый простор, от которого мягче становится на душе? Разве затем на этой земле жило

несколько поколений Глуховых, привыкли к каждому холмику, к каждой былинке в поле, к каждому дереву на улице, чтобы выбросить это сейчас из сердца, как ненужную ветошку?

Ольга, узнав о школе, вздохнула горестно. И снова вспомнила о Евдокии Павловне. В ней словно ожил её высокий волевой голос, зазвучал из небытия призывно и отчётливо. Правду говорят, что хорошие люди, как яркие звёзды – они исчезают, а их свет струится и струится на землю, греет и наполняет решимостью. Может быть, написать об этом произволе районных властей в Москву? Неужели и там не поймут?

Но желание это исчезло быстро, когда через три дня появился в колхозе Дмитрий Ермолаевич Сундеев. С подписной кампании на заём не был он в Парамзине, а тут, как только застучала на току молотилка, явился. И первым долгом собрал собрание.

Он долго разъяснял, как он выразился, текущий момент, говорил о патриотическом письме колхозников и всех работников области дорогому товарищу Сталину, в котором они решили досрочно справиться с заданием по продаже хлеба, а в конце сказал:

– Думаю, и ваши колхозники в долгу не останутся. Как, Степан Кузьмич?

– Да бедный у нас урожай, – крикнул Бабкин. Но Сундеев цепко устоял на него, и у того, видать, возник гнетущий озноб внутри, он поднял голову, посмотрел на потолок, вроде размышляя. – Но мы твёрдо намерены, товарищ Сундеев. Так и передайте районному руководству, это самое наше твёрдое слово. Подсчитав свои возможности.

– Да чего мы считали? А колхозникам как же? – спросил Сергей Яковлевич.

– Ты что, товарищ Зуев, забыл, что существует первая заповедь. Сначала надо о Родине думать, а потом уж о себе.

– Думается плохо, – усмехнулся Сергей Яковлевич. – С голодухи много не надумаешь, одна жратва в башке сидит.

Разозлился Сундеев не на шутку, забубнил:

– Был бы ты Зуев, в моей роте, я бы тебя заставил Родину любить. И что ты за человек такой – как чирей липкий, пристаёшь по пустякам.

И, уже обращаясь к собранию, сказал:

– Вот что значит, товарищи, быть политически беззубым и беспринципным! В час, когда наша Родина напрягает свои усилия на восстановление народного хозяйства, собирается в единый кулак, вот такие люди разлагают общество, своими мещанскими интересами наносят непоправимый вред.

– Да ведь есть хочется, – серьёзно крикнул Зуев. И всё собрание грохнуло, а потом как-то сразу притихло. Понимали люди, что все эти слова, сказанные Сундеевым – демагогия и игра, привычная игра, скрывающая истинные намерения. Значит, и в этом году оставят колхозников без хлеба.

Утром, когда Ольга ушла доить корову, в дом к Андрею влетел Колька Дашухин. Был малец возбуждённый, красное, прогретое утренним солнцем лицо показалось каким-то прокалённым.

– Дядя Андрей, у вас красный материал есть?

– Зачем тебе?

– Председатель послал. Сегодня первый красный обоз с хлебом отправляем.

– Нету, – ответил Андрей и отвернулся. Значит, всё идёт по старой наезжанной колее. Он ушёл в себя, собрал морщины у лба, прозрачные тени залегли под глазами. Нет, и в засуху на первом плане не деревенские люди, не их пухнувшие семьи, плюют на их потуги и усилия. Он стукнул кулаком по столу и, наверное, проломил бы, не будь крышка дубовой.

А председатель, его линия? Только о себе думает Бабкин, как кот сало, стережёт своё благополучие. Чихать он хотел с той самой высокой деревянной вышки на то, что останутся на зиму людям отходы да полова!

## Глава четырнадцатая

Лёнька появился в Парамзине как раз под престольный праздник Успенья. Был такой деревенский праздник в конце августа, обычно шумный до войны, с песнями и хороводами, с праздничными застольями, с соленьями и моченьями, припасёнными на зиму. Ещё Успенье называли третьим Спасом и шутили про себя: пришёл Спас – готовь шубу про запас.

И в самом деле, стало уже холодать, особенно по ночам, хотя днём ещё весело светило солнце, слало на землю слабые сквозные лучи, и тогда округа утопала в засинённой дымке. Но вечером вместе с быстро наступающей темнотой решительно надвигались на низины пухлые туманы, потихоньку проглатывали ольховые кусты в низинах, копёшки сена на лугу.

На Успенье в старые добрые времена шёл по деревне чудный запах печёного из новины хлеба, духмяных блинов, взбитых на молоке и яйцах, а на столе в каждом доме непременно дымились густые наваристые щи из молодой капусты, приготовленные на курином бульоне, на столе красовались пунцовые помидоры и янтарные дыни.

В военные годы деревня словно притаилась, было не до праздников, гнулись и корежились люди от потерь близких, родных людей, и человеческая память не могла смириться с тем, что нет на свете тех, с кем делили хлеб и радость, тревогу и восхищение. Почти в каждом доме в Парамзине на стенах в старых киотах висели фотографии, к которым были прикреплены чёрные ленточки.

Андрей вспомнил, как в Финляндии он неожиданно увидел у некоторых домов привязанные жёлтые ленты и поинтересовался: почему? И ему объяснила Ресма, что такова традиция: если нет человека дома, а его ждут и печалются о его судьбе, вывешивают вот такой знак около дома. В Парамзине надо было у каждого крыльца вывешивать эти ленточки, и не по одной, а по нескольку. Словно частый гребень выгребала война людей, а вот возвратила немногих.

Лёнька готовился к празднику. Они ещё тогда, когда вернулись в ФЗО после нескольких дней отлучки, договорились с Серёгой – всё, ша, затихнем на время, а потом – нагрянем снова в деревню, погулеваем, отдохнём на славу. Впрочем, Лёнька дал себе зарок – больше воровать он не будет, это не только бесчестно, но и страшно стыдно. Он не мог представить, как будет глядеть в глаза Ольге, которая живёт теперь в доме Глуховых, заколотив досками окна своего домишки.

Отвращение к себе возникло в его душе. Мерзко и противно, будто он держал в руках мёртвую крысу. Разные думы теснились в его голове, а вдруг Ольга знает, или вдруг Кузьмин напал на их след и только ждёт, когда они появятся в Парамзине, тогда и спеленают голубчиков – и от этих дум становилось не по себе, создавалось ощущение, что тело и душа раздавлены, не осталось ни клочка живого места.

Он тихо прошёл в дом, низко поклонился Ольге, пощекотал сидевшего за столом Витьку, и тот радостно взвизгнул, даже испугал мать. Вообще Ольга страшно переживала за Витьку, ей он казался случайным семенем, занесённым в чужую почву и неизвестно, прорастет ли оно, не завянет, не заглохнет, не раздавит ли чужой неосторожный сапог.

Но тревожные мысли эти постепенно теряли силу по мере того, как Андрей всё больше становился для Витьки непререкаемым авторитетом. Кажется, всё нравилось сыну в Андрее. И то, что он многое знал и умел, и то, что воевал, и даже то, что был Андрей немногословен и сдержан.

– Дядь Андрей, – канючил по вечерам Витька, – Расскажи про войну...

– Да чего же про неё рассказать, Витёк?

– Ну, как немцев били. Страшно было?

– Страшно.

– Так и расскажи, дядь Андрей, как страшно?

Ольга понимала, что непростые задачи ставил сын перед Андреем. Даже она, пережившая фронт издалека, не видевшая его в упор, иногда просыпалась ночью в жарком поту, ей слышались разрывы, и сердце нещадно колотилось в груди.

Но Андрей находил нужный тон в разговоре с Витькой, умело обходил то страшное, злое, что было постоянным на фронте, больше говорил о смешном, и Витька огромными глазами глядел на отчима, усмехался, как взрослый.

Однажды Андрей рассказал Витьке, как сбили они немецкий самолёт, – сбили случайно, пулемётной очередью, когда тот пикировал над окопами. Дело было весной, в пасмурный день, и, наверное, немецкие лётчики, чтоб лучше разглядеть цели для бомбометания, прижались пониже к земле. И тогда не растерялся его рязанский друг Петро, очередью врезал по самолёту, тот вспыхнул как свечка, со шлейфом чёрного дыма пошёл над лесом, обламывая макушки деревьев, а потом грохот сотряс землю, и тишина, пришедшая после, даже зазвенела в ушах.

– Он герой, этот Петька? – спросил восторженно Витька.

– Герой.

– Герой Советского Союза?

– Нет, до Героя не дотянул, – усмехнулся Андрей, – достойный, но не удостоенный.

– А тебе он пишет письма?

Помрачнел Андрей, потемнел, сумрачные круги легли у глаз. Стоит ли объяснять мальчишке, что в карельской каляной земле нашёл свой последний приют рязанский студент, что чёрный валун вкатили они взводом на его могилу, краской нарисовали на этом гольше звезду, чтоб знали потомки: лежит здесь солдат, не пощадивший живота своего во имя других, не успевший за тот самолёт получить своей Красной Звезды на гимнастёрку...

Теперь в доме появился Лёнька, и Ольга опять насторожилась: как отнесётся деверь к Витьке? И этот визг заставил её встрепенуться. Но, увидев, как блаженно сын растягивал в улыбке рот, поняла: кажется, и с младшим братом Андрея найдёт Витька полное взаимопонимание.

В воскресенье, а Успенье пришлось именно на этот день, пока Лёнька был дома, Витька не отходил от него, некоторая диковатость, обыченность у сына заметна. Они вместе ладили старые лыжи, которые сохранились в семье ещё с довоенной поры и переходили от одного брата к другому. Теперь Лёнька сказал Витьке:

– Будешь ты кататься!

– Честное слово? – вырвалось у сына.

– Честное пионерское, – засмеялся Лёнька, и Ольга поняла: наступил переломный момент, кажется, и Лёньку сын определил в свои верные друзья, и у неё стало спокойно на душе, как, наверное, бывает спокойно у человека, если в его доме, в его очаге горит жаркий огонь, царит радость. Ольга считала, что если Витька смеётся – значит, всё ему по душе.

Сын хотел увязаться с Лёнькой и после обеда, когда тот собрался идти в гости к Серёге Егорову, но тут деликатно вмешался в разговор Андрей, подсел к Витьке и предложил:

– Хочешь на рыбалку пойти?

– На речку, да?

– На речку...

Взвился сын от радости и забыл о своём намерении залишится с Лёнькой в соседнюю деревню. Витька теперь как угорелый бегал по двору, искал лопату, чтобы дядя Андрей накопал червей, а потом натягивал на ноги ссохшиеся за лето сапоги – находиться около реки босиком

мать не разрешала.

А Лёнька бесшумно скользнул за порог и быстро пошёл от родного дома. Он шёл не оглядываясь, не прощаясь. Откуда ему было знать, что судьбой так расписано: сюда он не вернётся ни сегодня, ни завтра, да и неизвестно, вернётся ли когда-нибудь «в обозримом будущем», как любил выражаться Серёга.

Егоров ждал его дома и, как только он появился, предложил:

– Пойдём в низы, а? Там сюрприз для тебя есть!

Любит Серёга говорить загадками, таинственно и непонятно. Он и тогда, ночью, его будто на поводке вёл, не посвящая до поры в свои замыслы.

Дом матери Егорова стоит на бугре, а огород тянется к речушке, за которой зеленеет Загородский сад. В низах жители выращивали огурцы, помидоры, капусту, и сейчас Серёга приказал:

– Давай закуску наберём!

– Выпивать будем? – спросил Лёнька.

– А что для нас, разве не праздник? Будем жить красиво! Хватит нам фезеушную баланду жрать, её и поросята есть не будут.

Они набрали пожелтевших огурцов, красных, как ёлочные игрушки, помидоров, и Серёга долго ходил, щёлкал пальцем по тёмно-зелёным арбузам, греющим свои бока под уходящим солнцем.

День обыгрался, и хотя с утра небо было серое, какое-то неряшливое, будто в чернильных пятнах, сейчас оно очистилось, раздвинулось, засинело до самого горизонта. Наверное, под стать погоде было настроение у Серёги. Он поднимал радостно руки, словно хотел взлететь поптичьи высоко, в парящем полёте, и всё время торопил Лёньку.

Они перескочили через речушку, выбрались на поляну Загородского сада. Говорят, здесь когда-то стояла беседка, а рядом был отсыпан холм, на котором настелили деревянные полы. Вечером здесь веселились и танцевали гости Загородского. Лёнька представил, как вечером, когда воздух становится прозрачным и звучным, играл здесь красивую музыку оркестр, кружились в захватывающем вальсе пары, а в бездонной черноте неба прорезались яркие звёзды, словно подмаргивали собравшимся.

Наверное, и Серёга думал об этом – сказал с восхищением:

– Эх, жили, сволочи! Вот бы нам так, Лёнька!

– Выучимся, начнём работать и тоже заживём. Не всё же такая жизнь будет.

– Ты что тронулся, парень? У тебя крыша поехала, да? Да когда же у нас с тобой такая жизнь будет? Разве во сне только...

– Но ведь должна же жизнь улучшиться. Сам Сталин говорит об этом.

– Ты слушай побольше! Пока это время придёт, мы с тобой стариками станем. Знаешь, как про старость умные люди говорят? Старость – это упадок духа. А какой у нас с тобой дух будет, если мы каждый день баланду кушаем?

Серёга побежал к сосне, задрал голову и, обхватывая ногами ствол, начал взбираться вверх. Что-то обезьянье, резвое и ловкое было в Серёге, его тело извивалось по-змеиному, и ноги с длинными потрескавшимися пальцами вроде прилипали к дереву, шелушили его. На землю тихо струилась, как песок, мелкая кора. Наконец, Серёга добрался до разлатой верхушки, крикнул вниз Лёньке: «Лови». Тяжёлый чёрный пистолет шмякнулся к ногам.

Также ловко и быстро Серёга спустился с дерева, обдул поданный пистолет, сунул за пазуху.

– Зачем? – спросил Лёнька, имея в виду пистолет.

– А вдруг сегодня лукавские драку затеют?



– Неужели стрелять будешь? – испуганно спросил Лёнька.

– Не бойся, мы просто фейерверк праздничный устроим.

В малиннике Серёга отыскал приваленную листвою бутылку «очищенной», складной стаканчик и, сдув пот с губы, крикнул Лёньке радостно:

– Ну садись, трапезничать будем!

Пил Серёга с каким-то лихим размахом, запрокинув голову, кряхтел и фыркал.

– Царский напиток! – говорил он блаженно, – и в нос шибает, и силу придаёт.

От выпитой водки, наверное, и в самом деле прибавилось силы у Серёга, озорства и весёлости. Может быть, почувствовал Егоров снова себя свободным и вольным, как птица. Лёнька знал, что дома у Серёга обстановка сложная, мать его частенько была в измальстве, а постоянные побои эти деформируют человека, делают его колючим, дерзким, способным на дикие выходы.

Сейчас Серёга с восторгом рассказывал Лёньке, какую хохму он придумал на сегодня. У колхозной доярки Соньки Клишиной раздобыл он белый халат, и как только соберётся «матаня», он выскочит на поляну, переполошит девок, да и лукавские парни тоже ретируются. Лёнька смеялся великодушно, наверное, от выпитой водки, спрашивал:

– А зачем тебе это надо?

– Пусть боятся, гады! Могу я на твою поддержку рассчитывать?

– Можешь, – немного нетвёрдо ответил Лёнька.

Они до вечера проспали на поляне, а когда начала густеть темнота, Серёга растолкал Лёньку, налил остаток водки в стакан.

– На, похмелись!

От выпитой водки сейчас у Лёньки кружилась голова, тряслись руки. «Вот дурак, – злился на себя Глухов, – зачем я пил? Сам себе испортил праздник. Вон и руки, как у паралитика, скачут».

Но выпитая с трудом водка, кажется, вернула прежнее состояние – вроде горячим чаем согрело внутренности, размягчило тупую боль в затылке. Ощутил Лёнька, что развинчивается в нём какой-то тугой болт, который сжимал тело. Хотелось петь, цепко, как Серёга, карабкаться по-обезьяньи на дерево. К нему возвращалась острота зрения, восприятие мира, тихого, спокойного вечера, розово светящейся зари на западе.

– Ну, пошли? – спросил Егоров.

– Куда? – вопросом на вопрос ответил Лёнька, хотя ему сейчас хотелось именно действовать, куда-то идти или бежать. Ту энергию, которая согрела и разогнала в нём кровь, надо было выплеснуть, истратить, иначе так и будет распирает грудь. Он ободряюще подмигнул Серёге и, не дожидаясь ответа, сказал:

– Пошли.

Начала густеть темнота, из пронзительно-синего небо становилось мрачным и холодным. Лёнька шёл сзади Егорова, раздвигал влажные кусты, на которых уже застыла робкая вечерняя роса, и без интереса думал: «Куда это направляется Серёга?» А тот привёл его к Соньке Клишиной в дом.

Сонька, полураздетая, в одной ночной сорочке, смущённо юркнула в чулан, только крикнула немного кокетливо «проходите». В доме у Соньки было чисто, как в больнице, на кровати, хоть и в темноте, белизной отливало покрывало, на полу лежали чистые домотканые дорожки.

Видно, Сонька ждала гостей – на столе стояло несколько тарелок и стаканов, и Лёнька догадался, почему они здесь оказались. По деревне давно шёл разговор, что Егоров похаживает к Соньке, и хоть та была старше его, видать, любовь у них была не на шутку.

Хозяйка вынырнула из чулана, и Лёньке она показалась сказочно красивой. Короткие волосы, навощённые какой-то особой помадой, чёрт там разберёт у этих баб, отливали чернотой, чуть припухшие крашенные губы словно призывали, чтоб их поцеловали, и Серёга так и сделал, нежно обхватил Соньку, обнял с силой, громко чмокнул в сочные губы.

– Ой, кости раздавишь! – весело пискнула Сонька, а Серёга блаженно заулыбался.

Сонька одёрнула свою нарядную кофту, сказала кокетливо Серёге:

– Чужую женщину целуешь в открытую, не стыдно?

– Ничего, – усмехнулся Егоров, – Лёнька – человек свой в доску. От него нечего скрывать, что у нас любовь с тобой.

Нет, не заметил Лёнька смущения на лице у Соньки. Та деловито, на правах хозяйки, пригласила их к столу, из чулана принесла бутылку самогона.

– Уж ты сам угощай и меня, и друга. Будь в этом доме хозяин, – обратилась она к Серёге.

Егоров и в самом деле чувствовал себя хозяином, неторопливо разлил мутную жидкость по стаканам, с насмешливой улыбкой сказал:

– Ну, как говорили древние гусары – за баб-с. Это значит за тебя, Соня.

Кое-как собравшись с духом, выпил Ленка противный самогон. А Егоров осушил стакан быстро, как пьют холодную студёную воду в жару. И Сонька выпила, не морщась, только после помахала ладошкой перед ртом, будто ей не хватало воздуха.

Застолье получилось хоть куда, и Лёнька искренне теперь завидовал Егорову – вон какая красивая деваха тает и млеет перед ним, как степная мальва! Не позавидовал бы, да зависть сама душу гложет. У самого-то Лёньки и не было ничего подобного. Правда, пай-мальчиком он себя не считал, было время – похаживал к Настёне Панфёрычевой, она и обучила его премудрости любви, только где теперь та Настёна? Изменила она ему, а кончила плохо.

Сейчас нравится Лёньке Татьяна из Веселовки. Огневая девка, с круглыми, как у птицы глазами. Но кажется, не по сердцу ей Лёнька, иначе бы сказала, она лгать не умеет, не сфальшивит. Ещё весной провожал Лёнька домой Таню, спросил у неё:

– Скажи, Таня, тебе из ребят кто нравится?

А она в ответ – ни слова, ни полслова и даже намёка никакого. Сонными глазами на него посмотрела – и всё. Шёл тогда из Веселовки Лёнька и обет себе дал – больше сюда ни ногой.

И только сейчас где-то в воспалённом мозгу, в каких-то его клеточках шевельнулась мысль, – а не дурак ли ты, Лёнька? Какая же девушка про любовь в первый вечер скажет? Ведь не оттолкнула она тебя, разрешила домой проводить – значит, не отторгла навек. А он сразу всего захотел! Вот если будет сегодня Таня – обязательно подойдёт к ней Лёнька.

Они допили самогон. Серёга подмигнул Лёньке, тихо прошептал, когда Сонька скрылась в чулане...

– Ты меня на улице подожди! Я быстро...

Лёнька всё понял и потихоньку выпорхнул из-за стола. На улице, где уж давно скопилась ночная темнота и противно выли собаки, он закурил и опять почувствовал, что снова вскипела в нём сила, жажда деятельности. Будто с бодрящим ночным воздухом вошла сумятица в голову.

В Загородском саду играли гармони, и в деревню доносились высокие девичьи голоса. Рассмеялся Лёнька – ишь, веселятся, беспечные! Ничего, заготовил им Серёга сюрприз, даже у Лёньки деревенеют руки и ноги от предстоящего страха.

Появился Егоров, и даже в темноте можно было догадаться – наверняка, блуждала сейчас на лице Серёги счастливая улыбка. И снова укол зависти к Егорову возник в Лёньке: вот тебе и «наш брат-кулешник». Видел он в темноте, как закинула Сонька руки за шею Сергея, потянулась на цыпочках, прильнула к нему. «Наверное, как печь горячая», – подумал про себя Лёнька. В какой-то книжке читал Лёнька, что в человека надо верить, в его достоинство,

произрастающее из его сущности и крепнущее в его свободе... Вот и Сонька, видать, здорово верит в Сергея, во всю его сущность.

Он слышал, как Сонька спросила тихо:

– Придёшь сегодня?

– Ага, – глухо ответил Серёга. И торопливо сбежал с крыльца, тихонько позвал: – Ты где, Лёнька?

Лёнька выступил из тени тополя, свистнул, и они пошли торопливо к Загородскому саду. В руках нёс Серёга свёрток, и Глухов догадался: наверное, тот самый белый халат, о котором толковали днём.

Они по росным кустам добрались почти до поляны, и вдруг Серёга обернулся к нему, горячо зашептал:

– Слушай, Лёнька, а может быть, тебя вырядим, а? Пойми правильно: я с оружием, значит, прикрою, если хоть кто возникнет. Пальнём в небеса – все штанишки обмарают.

Резонными показались слова друга, и Лёнька не чувствовал гнетущего страха, внутреннего озноба – надо, так надо, какой разговор, для любимого дружка и серёжку из ушка. И Лёнька начал облачаться в белый шуршащий халат, а Серёга прошептал:

– Надо и лицо, и брюки белым замотать – пусть думают, что ты – приведение, лунатик, с неба свалившийся. Я специально у Соньки марлю прихватил. Кстати, понравилась тебе Сонька?

– Понравилась! Жениться будешь?

– Ну, брат, ты и загнул! Да у меня и женилка ещё не выросла.

Он засмеялся приглушённо, давясь смехом, и у Лёньки тоже легко и радостно стало на душе. Шутник его друг, ей-богу, с таким не соскучишься.

Егоров обмотал марлей брюки Лёньки, завязал бинтом, а потом сделал накидку на голову.

– Ну, беги. Только как демон скачи и визжи, иначе не поверят. А я тебя в этих кустах буду дожидаться.

Луна выскользнула из-за вершин деревьев, тускло осветила поляну, гуляющую молодёжь. «Тем лучше», – подумал Лёнька и с визгом выскочил на поляну, заплясал в какой-то полудикой пляске, напоминающей то ли галоп лошади, то ли танец ведьм. Взвизгнули девки протяжно, моментально сникли гармони, и вот уже треск, похожий на ломовой бег могучих зверей, послышался из кустов. Словно неведомой силы ураган пронёсся над землёй, смерч, возникший из ничего, и на поляне не осталось никого, кроме белого чудища, размахивающего похожими на птичьи крылья руками. Под маской у Лёньки лицо расплзлось в блаженной улыбке – в нём возникло чувство ликования, шальной радости, что так получилось. Как испуганные овцы, шарахнулись, смехота да и только!

Ещё несколько минут праздновал свою победу Лёнька, визжал и махал руками. Это потом, после, он будет проклинать себя за всё, что случилось с ним, а сейчас жил в нём радостный школяр, весёлый Буратино, Мальчик-с-Пальчик, злой Бармалей или ещё какой сказочный герой, жил и потешался, смеялся над презренной толпой.

Две тени метнулись из кустов, и Лёнька не успел улизнуть к Серёге, его дёрнули за ногу, и он покатился в жёсткую траву. Какой-то сильный человек схватил его за халат, поставил на ноги, крепко держа руки.

– Ага, попался, сукин сын, – прохрипел напавший на него. И по голосу Лёнька понял – лукавский гармонист Иван Климанов, необычной силы человек. «Сейчас бить начнёт», – мелькнуло в голове у Лёньки. И он почувствовал, как загнанно, будто у взмыленной лошади, застучало сердце в груди.

Но бить его не стали, а Иван крикнул тому, не узанному Лёнькой:

– Поведём в борцовскую контору. Там разберёмся, что за человек.

Уже когда переводили Лёньку через речушку, и он зачерпнул ботинками обжигающе холодной воды, по голосу узнал Лёнька, что второй человек – Симка Боровков, племянник того военного дезертира.

– Отпустите меня, ребята, – захрипел Лёнька.

– Да это никак молодой Глухов! – крикнул обрадованно Симка.

Теперь Лёнька отчётливо понимал – напрасны его просьбы. Уж кто-кто, а Симка, как и вся их родня, с презрением относились к Глуховым, никак не могли простить проступок среднего брата Лёньки.

Они вели Лёньку напрямик через молоканскую усадьбу, и что-то оборвалось в душе, даже чёрной кошкой мелькнула мысль: ну и чёрт с ней, не всё ли равно, когда кончится жизнь – сейчас или через несколько лет? Всё равно у человеческой жизни есть один конец – смерть, и к этому надо готовиться. Но мысль эта заставила вздрогнуть – да что это он, Лёнька, страх на себя нагоняет? Ему ещё жить да жить, любоваться вот этими звёздами и луной, криворотой и лукавой, что освещала сейчас их тускло.

Возникла в душе злоба на Серёгу: вот сволочь, говорил, что прикроет, как боец в засаде остался, а где он? Уснул спяну или струсил? Так не поступают настоящие друзья. Если бы стрельнул Серёга, не осмелели бы эти двое из толпы, разбежались бы... Эх-х, нет, наверное, предела человеческой подлости!

Лёньку привели в контору, и Симка начал срывать с него маску, стаскивать халат, и когда при свете лампы, зажжённой сторожем, увидел лицо Лёньки, сказал злорадно:

– Да он пьяный, сосунок!

Давно выветрился хмель из Лёнькиной головы, сразу, как только его схватили, и он сказал с презреньем:

– А ты меня поил?

– Тогда зачем так вырядился?

– Девочек хотел попугать.

Они усадили Лёньку на лавку, рядом сел Иван, и Симка приказал сторожу:

– Беги за председателем!

Бабкин появился через несколько минут, прибежал запыхавшийся, рвался светлый парок изо рта, на лбу блестели, как стылая роса, капельки пота. Он молча подскочил к Лёньке, начал молотить его тяжеленными кулаками в лицо. Противная сладковатая сукровица образовалась во рту, из глаз посыпались искры, на секунду плотной пеленой заволгло зрение, в груди возник ледяной ком.

Выстрел, сухой, как щелчок, как звук сломанной ветки, раздался за окном, и Лёнька с трудом разодрал глаза, увидев, как, неестественно выкинув руки, валился Бабкин. Стукнуло в голову: да это Серёга стреляет, его выручает друг! Надо было бежать, пока суматоха царит в правлении, пока охранники Лёньки склонились над упавшим и закатившим глаза председателем. Но от побоев Лёнька не мог даже шевельнуться и тоже бесчувственно повалился на пол.

Серёгу нашли на третий день в той же Угольной окладне. Несколько милиционеров обложили его как волка, сквозь могучий бурьян пробирались, пригнув головы. Егоров поднялся на взгорок, бросил наган в сторону, хрипло пробасил:

– Не стреляйте, ребята! Я сам сдаюсь.

Впрочем, ничего этого не видел Лёнька. Его, избитого и связанного, ещё в первое утро увезли в Хворостинку.

## Вместо эпилога

В середине октября в Хворостинке должен был состояться суд над Егоровым и Лёнкой. Андрей, тяжело переживший всю эту трагедию, не хотел ехать на суд, но Ольга кинулась в плач: да разве так можно? Ну, совершил Лёнька проступок по молодости, но ведь не он убивал человека! Рвался её высокий голос, слёзы текли по щекам, горячие, светлые, и Андрею стало жалко жену до боли.

Словно прозрение наступило в голове после этой домашней сцены: а ведь в чём-то она права, Ольга! Всё смешалось в Лёнкиной судьбе: и бесшабашная его молодая жизнь, и это проклятое ФЗО, против которого так выступал Андрей, и неизвестно как окрутивший, задурманивший его молодую голову туманом Серёга, Симка, попытавшийся на младшем Глухове выместить свою родовую неприязнь. А Бабкин? Почему он-то набросился на Лёнку с кулаками? Смертным ведь боем лупил парнишку! Может быть, из-за него, Андрея, из-за того холодного и злого разговора о сыне-докторе?

Сложна и запутана жизнь, она, как клубок с нитями, всё мешает в одну кучу – доброе и злое, смешное и драматическое, грусть и безмятежную радость. Но в этом клубке надо выбирать нужную нить: чтоб меньше было душевных ран и рубцов в сознании. Разве не права Ольга, что оборви сейчас Андрей связь с Лёнкой и, как знать: надорвётся душа от тяжести, лопнет, как натянутая струна – и выйдет из человека в будущем затравленный зверь, матерый волчище, который с рёвом будет бросаться на людей. И наоборот, поддержи веру, помоги больше не оступиться – и из призрачных надежд вырастет у человека вера, окрепнут крылья. Он молодой, Лёнька, у него вся жизнь впереди.

Они взяли телегу в колхозе, поехали в райцентр. Целых два дня хлопотала Ольга у плиты, приготовила курицу, засушила сухарей, в банки наложила варёной картошки, пареной тыквы – чем богаты, тем и рады. Ехали они в дождь, мелкий, нудный, и Ольга сказала, что это к хорошему исходу – самая удачная примета – уезжать в дождь из родного дома.

У Ольги за последнее время округлился живот, немного подурнело лицо, но глаза светились каким-то неистребимым светом. И вообще, Ольга сильно изменилась – стала ровнее, спокойнее (последние слёзы про Лёнку в расчёт брать не надо), будто наливалась соками жизни, как наливаются осенью яблоки в саду. В походке её появились замедленная плавность, величавость и достоинство. Впервые открывал для себя Андрей таинство женской души, готовящейся к материнству, и поразился высокому смыслу природы, на глазах удивительно преобразующей женщину, наполняющей её силой и глубокой нежностью.

Ольга многих знала в райцентре, и уж, конечно, прокурора Любовь Ивановну Плотникову. Через неё она добилась свидания с Лёнкой, тот пришёл в комнату при милиции немного смущённый – слепо, точно со сна, заморгал глазами. Ольга первой бросилась к нему, порывисто обняла, и у Лёньки брызнули слёзы из глаз. Потом подошёл Андрей, хлопнул его по плечу:

– Как ты, Лёня?

– Ничего, держусь!

– Надо держаться. Да и не виноват ты!

Что-то изменилось в Лёнке. Андрею хотелось сейчас проникнуть в его голову, сердце, думы, правильно их настроить, как музыкальный инструмент, только разве это дано? Но кажется, и сам Лёнька много передумал и перечувствовал, иначе бы не запомнил эту мудрую фразу. Значит, понимает брат, что несёт он ответственность за свои дела, раскаивается, скребёт в кровь душу, и не надо ему мешать. Придёт самоочищение, как дождём смоем всю грязь и нечисть!

Суд был на следующий день, и Лёнька спокойно вынес приговор: его, как несовершеннолетнего, приговорили к трём годам пребывания в колонии, а Егорову размотали на всю катушку – пятнадцать лет. За убийство и незаконное хранение оружия.

После суда Лёньке разрешили проститься с родственниками, и он подошёл, грустно склонив голову, а потом упал на колени:

– Прости меня, Ольга!

Андрей и охранник подняли Лёньку с грязного пола, а Ольга смущённо спросила:

– За что ж тебя простить, Леонид?

– Помнишь пропажу свою? Это я сделал. Ты уж прости меня. Мы тогда с ремеслухи сбежали, ну и...

– Ладно, Лёня, не думай об этом.

Только уже при выходе из суда брызнули из глаз Ольги слёзы; справилась и с этим, затихла на время на повозке, и только когда обогнали они высокого, без фуражки, кудлатого мужика, вдруг крикнула Андрею:

– Остановись, пожалуйста!

Натянул вожжи Андрей, и Ольга спрыгнула с повозки, побежала к мужчине. Они о чём-то оживлённо беседовали, кудлатый крепьш размахивал руками.

Ольга прыгнула на телегу, спросила у Андрея:

– Знаешь, кого я встретила?

– Кого?

– Бывшего товарковского председателя Егора Степановича. Ему двенадцать лет за убийство давали, а сейчас выпустили!

– Почему?

– Невинным оказался. Шальнева, оказывается, братья Ёжиковы из их села убили. Сами и признались...

В Парамзино они приехали перед вечером.

Ольги уже не было – она сошла около дома и наверняка теперь хлопчет об обеде и ужине одновременно, развела огонь. Сейчас бы вытянуть над этим огнём посиневшие пальцы, чтоб ощутили руки жар, до боли прогрелись.

Но неизвестно откуда вывернулся Колька Дашухин, задвигал простуженно носом, гундяво сказал:

– Андрей Фёдорович, вас на собрание просят!

«Какое ещё к чёрту собрание, – со злостью подумал Андрей. – Словно разжигает, как чертей к полуночи, всю эту маету вечером затевают».

– О чём собрание?

– Председателя избирать.

После гибели Бабкина председателя в колхозе не было, его обязанности исполнял Филатов. Ну и пусть исполняет, подумалось, ежа на ужа менять – только время терять.

– Иди, Коля, без меня. Скажешь, заболел дядя Андрей, домой пошёл. Ну его к лешему, это собрание.

– Не могу без вас идти, Андрей Фёдорович. Вас народ ждёт.

– А меня зачем?

– Вас обговорили председателем избирать, вот и ждут.

– Ловко придумали, – усмехнулся Андрей. – И кому ж такая мысль в голову пришла?

– Да всем! Сначала хотели тётку Ольгу избрать, да передумали, так как она дитём должна заниматься...

Вечером возвращался Андрей домой. Было ещё не совсем темно, кое-где сквозь мрак

низких туч пробивались светлые пятна.

Зажигались лампы в домах, мягкий свет ложился от окон на пожухлую, омытую дождём траву, на блестящие от влаги деревья. Взглядом отыскал Андрей родной дом, робкий огонёк, который зажгла Ольга, беспокойно дожидаясь мужа.

Под светом блестела приметная берёза – засохшая, жалкая. До боли захотелось Андрею, чтобы не умерло это дерево, а будущей весной снова покрылось зеленью, зашелестело листьями.

Ему казалось, – нет, он знал это, – что так и должно быть: засуха только листья сожгла, а почки, а корни – живы.